

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)

Т. Г. Четверикова (Омск)

Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)

А. В. Кирилин (Барнаул)

Э. И. Русаков (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Н. М. Закусина (Новосибирск)

Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)

А. Ф. Косенков (Новосибирск)

В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов (ответственный секретарь)

Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)

Марина Акимова (зав. отделом поэзии)

Михаил Косарев (зав. отделом критики)

Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

**7/2016**

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

## Содержание

### ПРОЗА

- Виктор ЛИХОНОСОВ. Позднее послесловие. Повесть. ....3**  
**Александр ЛОМТЕВ. Время подумать. Рассказы. ....79**

### ПОЭЗИЯ

- Александр ДЬЯЧКОВ. Про эти светлы. Стихи. ....76**  
**Антон ВАСЕЦКИЙ. «Скорая» возле подъезда. Стихи. ....96**  
**Ингвар ДОНСКОВ. Простая история. Стихи. ....98**

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Всеволод ИВАНОВ. Проспект Ильича. Роман. ....99**  
**Ирина МАХНАНОВА. Неизданный роман Всеволода Иванова**  
**«Проспект Ильича»: к проблеме публикации. .... 125**  
**Мария ВОЛКОВА. Примиряющий запах земли. Стихи. .... 131**  
**Ольга ТАРЛЫКОВА. Жизнь и творческий путь**  
**Марии Волковой. .... 139**

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Анатолий БАЙБОРОДИН. Байки деда Бухтина.**  
**Иллюстрации Фёдора Ясникова. .... 162**

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Издано в Сибири. .... 180**

### Картинная галерея «Сибирских огней»

- Юлия ФЕДОРИЩЕВА. Художник двух дорог. .... 188**

- Авторы номера ..... 191**

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

**Виктор ЛИХОНОСОВ**

## **ПОЗДНЕЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ**

П о в е с т ь

*Некоторые старые произведения дописывает само время, но редкий автор позволяет себе умудриться и ослабеть чувством, чтобы вдруг прибавить к застывшему, забытому читателем тексту свежие последние страницы. Описанные мгновения хочется заключить последними строками.*

*Мне порою казалось, что и заставил меня дописать забытую читателем простенькую повесть «Чалдонки» кто-то неведомый. И рукою моею водил кто-то такой же...*

**Автор**

### **І. Чалдонки**

*Юрию Назарову*

#### **1.**

В городе еще шла гроза, там еще гремело, лилось и вспыхивало над зданиями, над тротуарами и садами окраин, а в вагоне электрички потели от тепла стекла, было шумно от разговоров и песен, все были счастливы и не замечали погоды. Под насыпью сыро чернели дороги, по кромкам полей тяжелыми, темными полосами изгибались перелески.

Мишка молчаливо сидел в стороне, разглядывал светлевшие мало-помалу поля и хотел записывать, какая вокруг осень, какой дождь, дороги, дальнейшее кружение росистых полей, какие женщины на крыльце и какое тихое восхищение у него на душе от всего, от всего... Теперь на целый месяц расставался он с городом, с лекциями в сельхозинституте, где после первых пятнадцати дней ему стало не по себе. Теперь предстанет его глазам глухой уголок с рублеными сибирскими избами, с осенней протяжной тишиной над речкою Тарой, с тамошними жителями, простыми и открытыми. Может быть, он ошибался, но ему казалось, когда глядел на товарищей по курсу, что ведут они себя как-то обыденно, едут по обязанности и вроде бы нету в их думах тайного влечения к деревне. Он сидел сбоку и не проникался компанией, но вскоре оживился, попросил скинуть ему шесть карт и принялся азартно шлепать ими по чемодану, поставленному на попу, отбиваться и принимать, тасовать и подглядывать. Когда

сыграли партий пятнадцать, Мишка совсем разошелся, был крикливым и забавным и девочки чаще, с интересом поглядывали на него, потом хрупкая светлоглазая Нина, бесценно игравшая с Мишкой, достала домашние припасы и, протягивая ему ломтик вкусного пирога, улыбнулась, как близкая, даже тайно-близкая. Такое же желание сближения посверкивало в ее взглядах и на станции, когда до вечера ждали машин из колхоза.

Дождь не переставал. Перрон, желтеющие деревья за привокзальной оградкой, покинутые лотки, рельсы и исписанные вагоны товарного состава на третьем пути блестели. По путям и по перрону изредка проходили рабочие в форме, женщины с ведрами, а с правой стороны станции местные торговки разложили на прилавках огурцы, поставили кастрюли со свежей, дымящейся картошкой — ждали пассажирского поезда, мокли и не уходили. В зале ожидания стало тесно от студентов, надышали, понанесли грязи, завалили углы чемоданами и перевязанными одеялами. Машин из колхоза не подавали, к вечеру развиднелось, перрон оживился, но тучи еще не согнало, и к ночи можно было ждать нового дождя.

Уже отправляли товарный состав, когда кто-то крикнул, что машины стоят за палисадником, в самой грязи.

Сто с лишним километров на север покрыли за ночь. Отраднo было пускаться в такую глушь. И чем дальше отъезжали, чем реже встречались деревеньки с тусклыми огоньками в окнах, с мокрыми стенами, тем затаеннее ждал чего-то чудесного Мишка. Выпроставывая голову из-под одеяла, глотая сырой свежий воздух и ослепляя глаза темнотой, Мишка робко берег в себе смутную грусть, успел наворожить деревенское свидание с Ниной, которая касалась его грудью, коленями и вроде бы отгадывала его мечтания. И оттого эта ночь в дороге казалась ему не просто темна и хороша, а темна и хороша по-особому.

Сидели плотно друг к другу, нечаянно касались плеч, рук девчонок, и это на секунду обжигало, волновало воображение. Мишка лежал на коленях у Нины, она не противилась, изредка неловко шептала: «Тебе удобно?» И уже что-то зарождалось, уже она во время остановок, когда ребята толкали машину в борта, а девчонки покрикивали, подавала руку, берегла ему место, укрывала от капель и ветра. Девчонки пели без усталости, ветер обдувал их. Ночь нескончаемо чернела. Несколько раз шофер тормозил, стучал дверцей, шаркал в кустах и потом кричал:

— Не замерзли?

— Не-ет! — дружно орал из кузова.

За Северным опять полил дождь.

— Много осталось?

— Километров шестьдесят, — беспечно отчитался шофер.

Родился и вырос Мишка в городе и до седьмого-восьмого класса, пока не начитался книг и не свозили его однажды в Верх-Ирмень на свадьбу, таинственного очарования деревни не чувствовал. Но к десятому классу что-то заворошилось в нем. Нимало не думая об агрономии, он поступил в сельхозинститут ради деревни и как-то по-детски представлял, как будет жить среди полей и речек, рано подниматься с постели, слышать пение птиц и наслаждаться своей удачной судьбой. И о любви если он ду-

мал перед сном, то переносился в деревню: вечера, парное молоко, крики голосов по селу, травы, росы...

На место прибыли под утро, остановились на краю, возле крыльца правления.

В стороне, возле леса, одиноко мок большой длинный амбар. Вскоре появился парень на лошади — в просторном плаще, курносый, веселый.

— Вон там и жить будете, — показал он на амбар.

За поляной виднелась улица, село называлось Остяцк.

Село еще только-только просыпалось. Утро, деревня, как в книгах, чего еще не видел, но уже слышал, о чем читал, а теперь сам здесь, на земле, еще чужой и незнакомой. Издалека идет по грязи молодая женщина, невелика и толста, сама себе улыбается, и Мишка невольно задумывался о деревенских: как они поют, хохочут, любят парней.

Объездчик слез с лошади и оказался до смешного мал, и сам признался, что его и в армию не берут из-за роста.

— Чо, чо вы? — напал он на девчонок. — Работать, не куда-нибудь приехали. Отобедаете, в поле погоним.

— У-у! — разом заныли девчонки, потерявшие за дорогу городской лоск. — Мы устали.

— Наше дело маленькое — устали вы или еще чо. А если вам танцы закатить, небось сразу забудете и усталость ваша пройдет.

— А вы кто такой?

— Я? Я младший помощник старшего подметайлы.

— Ха-ха! У вас все такие остроумные? — немножко с претензией сказала Нина, чувствуя, что ее слушает Мишка.

— Все не все, а есть.

— Тогда еще ничего, правда, девочки?

— Ничего, — сказал парень. Звали его Коля. — Ничего, жить можно. Онька! — крикнул он девке, хлюпавшей по грязи от улицы, той самой, к которой только что присматривался Мишка. — Сходи председателя разбуди. Люди ждут. Черт знает как оно у них: когда не надо — они тут, когда надо — их с собаками не поймаешь. Где вот он? Сходи растолкай.

— Ты чо... — спокойно, не глядя сказала девушка и распустила платок, повязалась снова. — Совсем уж, наверно... Со вчерашнего еще не отошел. Сходи ему Онька, тащись в такую даль. Еще жена выгонит, не знаешь ее будто... Сам такой хороший, взял да и позвал, на лошади ж.

— Да и ты бы не прокисла. Вот, девушки, какие у нас люди. Не выспалась.

— Чо это я пойду? Пусть сами как знают.

— Тебя вчера Клавка искала, — сказал он потише. — Где была?

— Дома была, где ж я была.

— Клавка тебя искала, искала...

— Не ври. Сам, поди, искал.

— Ну дак чо ж делать будем?

— А где председатель живет? — спросил Мишка.

— На краю.

— Пойдемте вместе, — предложил он Оньке.



Онька еще посудачила, потом пропустила Мишку вперед и пошла сзади, на кого-то ворча. От земли полз пар, в оградах мелькали заспанные бабы, и Онька перекрикивалась с каждой, не забывала подзадеть словом. Солнце еще не возникло, но в чернеющем в конце улицы леске сквозило уже что-то утреннее, серое. В одном месте лужа разлилась до оград — не обойти. Мишка, цепляясь за жерди, перебрался вперед, а Онька не стала держаться, запускала сапоги по голяшки в воду и приговаривала: «Все равно уж теперь. Все равно чиститься».

Почти на всех подоконниках стояли комнатные цветы, в некоторых домах отодвигали занавески и с деревенской откровенностью всматривались в незнакомого, одновременно сообщая сидевшим в глубине, кто с кем идет. В одном окне занавесок не было совсем, свет еще не горел.

— Клава! — позвала Онька.

Тотчас во двор вынырнула из сеней женщина без платка и в простом коротеньком платьице, в калошах на босу ногу.

— Чо? — спросила она.

Мишка невольно изучал ее. Приметив чужого, она постыдилась своих голых до самых коленок ног, подергала платье. Губастая Онька точно показывала их друг другу.

— Чем занимаешься?

— Ничем, — отвечала Клавка. — Встала, холодно, печку растоплять неохота. Приехали помощники?

— Вот же, видишь, — кивнула Онька на Мишку. — Только слезли — уже спрашивают: «А клуб у вас есть?» Больно много не наработают.

Очень милостивая была Клавка: сероглазая, простая. Онька казалась хуже, зато была бойка и смешлива, и Мишка подумал о ней нехорошее.

Они вели какой-то секретный разговор.

— Чо ж не пришла? — укоряла Онька.

— Сестра ж уехала в Северное. На месяц, а на кого я их брошу?

— Уложила бы, и все.

— Да-а, потом сиди и болей душой.

— Мне чо-то сказать тебе надо.

— Чо такое?

— После уж.

— После забудешь.

— Напомнишь.

— Ну идите, а то я замерзла. Придется топить... ой, трясет всю.

Теперь Мишка шел сзади. Подтягивая пальцами юбку, Онька широко выставляла ноги, вся нагибаясь вперед, тяжело шлепая сапогами. Он представил ее в компании, за столом, когда собираются все свои, как она пьет наравне с мужиками и после во всю мочь затевает простонародные песни, так что на шее вспухают синие жилы.

От председателя Онька повела его к себе. Оказалось, что дом ее чуть наискосок от Клавкиного. В первой комнате была печь, кровать возле двери и стол у окна; в другой, попросторней, с окнами на огород, высоко и мягко стояла другая кровать с пухлыми подушками у спинки. На стене висел плакат и фотокарточки в рамках — на одной карточке она,

какая-то напряженная, в блузке и подкрашенная, с испуганным желанием выйти красивой.

— Вот я молодая, — похвалилась она. — Ничего получилась.

— А сейчас что? Старая, что ли?

— Не девятнадцать же. Тебе, поди, такая не нужна? — сказала она насмешливо. — Сколько тебе?

— Скоро девятнадцать.

— Ну вот. — Она нащупала сквозь платье лифчик и поправила его, не стесняясь Мишки. Потом села и подтянула под юбкой чулок. — С дороги проголодался, поди? У меня ничего и нет, сама с утра перехватила немножко. Молоко будешь? Да ты со мной не стесняйся, у меня все просто делается. Я не студентка.

— Спасибо, меня там покормят.

— Не хочешь — как хочешь. Чо ж я собралась делать?.. Забыла.

Появился в доме мужчина, и я все перезабыла.

— Как тут живете?

— Кому как вздумается. Молодежи мало. Вас вон сколько пригнали, пойдем к председателю, попросим, чтоб прикрепили к нам несколько человек на ночьку.

И довольно захохотала, бесовски испытывая Мишку взглядом.

«Вот девка! — восхищенно поразился Мишка. — Ей все нипочем».

В сенях кто-то затопал, дверь скрипнула, и на пороге появилась Клавка.

— Я знаешь чо к тебе пришла? У тебя нет, случайно?.. Иди сюда! — сбилась она, увидев Мишку. — По секрету.

Они зашептались у порога.

— Нима-ало, — отказывалась Клавка. — Я только то и сказала, так это чтоб он меньше язык распускал.

— Я ему говорю: «Знаешь чо, мало тебе Клавка простила еще. Тебе бы надо голову снести. Не попал ты мне».

— Пусть. Пусть чо хочет, то и мелет. Их слушать! Чтоб ноги его не было.

— ...когда захочу.

— Ну да... Ага... Еще чего... Гляди-ко. Думают, что Клавка совсем уж... Куда там.

— Ты ж смотри...

— Ладно. Пошла я. Ты зайдешь за мной?

— Ага.

— А это чо?

— За председателем вместе ходили.

Небо над селом очистилось, светлей глядели окна; в Клавкином домике, когда Мишка шел мимо от Оньки, белели стены, сама она сидела к нему спиной и что-то делала. Председатель не заставил себя ждать. В мокром длинном плаще, в охотничьих сапогах, до колен заляпанный грязью, он, тяжело вздохнув, пожал руку куратору и повернулся к студентам:

— Здравствуйте, помощнички! А мы вас вчера поджидали. Намаялись?

— Да-а... — притворно заныли девчонки. — В баню бы.

— Будет вам баня, — подсказал Коля. — Как раз. Картошку копать.

— Баню устроим, — сказал председатель. — Вы как намерены — работать или гулять?

— Работать! — разом крикнули девчонки.

— Ну ладно, ладно...

Председатель знаками попросил папироску, Мишка вытряхнул сразу две, чиркнул, прижег и себе, тут задымили другие, тесно обступили председателя. Есть такой сорт людей, которых нетрудно угадать с первых минут. Ребята и девчонки по его виду, по манерам и улыбке с радостью определили: если у него хорошо поработать, он сделает все — и вкусно накормит, и достанет проигрыватель, пластинки, и пустит в выходной, и проведит после уборки на славу.

— Значит, так... Сейчас устроитесь, отдохнете, придут бригадиры, и мы наметим. У нас сенца немножко валяется, подгребем, как обсохнет, хлебушек есть, а в основном картошка. Пока, видно, по дрова отправим. Онь! — позвал председатель. — Покажешь.

— Все Онька, все Онька! — с бловством огрызнулась та. — В каждый след Онька. Без Оньки трава не вырастет.

— Ты ж у меня правая рука, — по-семейному перекрикивался председатель. — За то тебя и ценят. Она у нас такая, — тихо сказал он студентам. — Поворчит-поворчит, но сделает. Сделает, а поворчать все же надо. Такая у нее закваска. С ней не пропадешь. Не попадайтесь ей на язычок. Девка, брат ты мой...

После обеда снарядили за дровами подводу, и Мишка не утерпел, догнал за огородами вязко, со скрипом переваливавшуюся телегу, прыгнул сбоку на подостланное сено. Долго тряслись по мокрому лесу, по нукали, задевали головами ветки и смахивали с лица капли, брызгавшие с листьев. Мимо пней и кочек, полоская в траве сапоги, пробрались в пасмурную глубину леса, где высокими стопками были наложены с лета дрова.

Нескучно начиналась жизнь в деревне, и все приметы ее были новыми и потаенными для Мишки. Тоска уже не сосала сердце, оно радовалось всему с тихим умилением: первым разговорам с девками, вздрагивающему под ветерком лесу, обеду на свежем воздухе, ожиданиям, вечеру в клубе, танцам, взглядам.

Вечером он обошел село, был в одном его конце, был и за речкой. Заводилось знакомство. На сушилке сгребала зерно девушка, на задах в огороде затопили баню, и это тоже нравилось, лишний раз напоминало глухую местность, где в субботу плескают под низким потолком воду на камни, черпают из ведра и задыхаются на лавке под мелким окошечком от резкого пара, сидят с прилипшими к телу листочками березового веника, мечтают после бани перехватить чего-нибудь холодного и острого. А около длинного амбара краснели вокруг костра лица ребят и девчонок, бренчала гитара, под которую напевала Нина с подругой. Ушла к лесу парочка, Нина нежно взглядывала на Мишку, словно вспоминая о прошедшей ночи в кузове, когда он лежал у нее на коленях.

После ужина на стане появилась Онька.



— Председатель просит прислать двоих-троих, — сказала она. —  
 На сушилку на ночь. Зерно прееет.  
 — Мы устали, — ответил староста группы.  
 — Мое какое дело!  
 — Пойдем, — предложил Мишка Нине. — Поворошим зерно.  
 — Под моим руководством будете, — догнала их Онька. — Со мной  
 не пропадете.

## 2.

Через неделю мотали на поляне последнее залежавшееся сено. Перед обедом доканчивали вершить стог. Не по-осеннему жарко светило солнце. Где-то за крайней делянкой леса тарахтел комбайн, ребята шуровали вилами, подставляя под бункер мешки, и грузили на машину, а кухарка раскидывала на полу алюминиевые чашки, резала хлеб и ждала. Рябой, исколотый по рукам и плечам Гошка подносил от копен увесистые навильники сена и подавал наверх, где его подхватывали то вилами, то руками, раскладывали по бочкам и утаптывали Онька и Клавка. Приловчившись, Мишка поддевал так же много, как и Гошка, грузно качаясь, выгибаясь назад, кидал как можно выше, все время стараясь зайти с того края, где принимала Клавка. Освободив вилы, он смотрел снизу на ее руки и лицо под косынкой и ждал ее взгляда, всегда при этом думая что-то горячее и желая сказать ей что-нибудь веселое, как умел Гошка, и чтобы она отвечала без зазрения, что придется.

Коля Агарков сгребал сено граблями, был не в духе. В деревне над ним посмеивались. То веселое настроение, с которым он встречал студентов, было мимолетным. Он был неудачлив в любви. Его жалели, привечали, когда он нужен был в клубе на вечерках — чтобы поиграть, посидеть в уголке с баяном, пока девки зазывали своих парней, выплясывали или мечтали о тех, кто полюбил бы и проводил их. Тогда они прикидывались хорошими, называли его «милый наш Коля», даже танцевали с ним, но большего не позволяли и, едва он выказывал свои чувства, его осторожно, но верно спроваживали. Маленький, стриженный под машинку, он обреченно растягивал свой баян и молчал, терпел, переживал свое, из клуба возвращался последним.

Левый бок выложили косо, и пришлось подправлять.

— Кидай теперь на мой край, — сказала Онька.

— Кинем и на твой, — поддакнул Гошка.

Мишка набрал легкий навильник и кинул, обсыпая Оньку трухой.

— Вот так бы и давно, — похвалила она и весело покривила губами. — Ох, мягко как! — качнула она стог. И что-то добавила Клавке, та ей тихо, без согласия ответила:

— Пря-я-мо...

— Ой, а ты уж тоже... Не прикидывайся.

— Клав! — крикнул Гошка, тыча вилами по остаткам копны.

— Чо?

— Ничо.

— Сдурел ли, чо ли?

— А, вспомнил. Знаешь чо?

— Чо?

— Ха! Не покраснеешь?

— Да ну тебя! Ты сроду такой.

— Чо это ты сеструху свою спровадила?

— Никого я не спровадила, она сама.

— И ты не боишься одна? Обворуют.

— Не все же такие, как ты.

— Угадай, чо я хочу?

— Откуда мне знать, — сказала Клавка и, помедлив, с улыбкой поделилась чем-то с Онькой.

— О-о-ой! — застонала та, валясь в сено и цепляя за собой Клавку.

Они утонули в сене и долго смеялись, каждый раз все громче, особенно Онька.

— Угадали, — сказал Гошка. — Может, нас там не хватает? — спросил он у них. — Чтоб смешнее было.

— Обойдешься, — сказала Онька. — Мишу мы возьмем. А ты зачем нам, надоел и так, нам теперь городские больше нравятся.

Клавка молчала и кусала соломинку. Она, казалось, тосковала.

— Сужайте, сужайте! — командовал Гошка, обдергивая стог. — Крыть-то нечем, чего там, пять навильников. — Он подгрреб, добрал то, что натаскал Коля, и кинул на Оньку.

— Окаянный, полегче не можешь? И так все лицо исцарапала.

— А чо вы там? Залезли — так танцуйте.

— Ох, Гошка, влетит тебе! — замахнулась вилами Клавка. — Как дам вот...

— Все б ты... — не договорил Гошка, нахально уставясь на нее.

Она покраснела.

— Ой, не того, знаешь. Не очень-то... Ага, вот-вот.

— А Коля, чо это Коля у нас молчит? — ехидно сказала Онька. — Коленька, цветочек мой, огурчик малосольный, скажи мне чо-нибудь хоть на ушко, я уж и голосок твой позабыла. Я уж и соскучилась по тебе, не замечаешь меня, да? Знаться со мной не хочешь, другую нашел, а у меня ведь никого нет, хоть бы ты пожалел, а, Коль?

Коля будто не слышал.

— Не хочет. Не хочет он со мной разговаривать. Не такая я ему. Наверно, студенточку нащупал, куда уж мне, я деревенская.

Она закатилась, и Клавка сдержала ее:

— Чо ты говоришь, подумай, студент все слышит.

— Ты там додрыгаешься, — погрозил Коля. — Я тебя стяну с воза.

— Смотри, какой ты сильный, — по-прежнему игралась Онька. — А я и не знала. Знала б — умней была. Понес бы меня до дому, раз такой сильный. Сила есть — ума не надо. Хоть бы ты подрост скорей да в армию ушел. Каблуки надбил бы, чтоб на метр пятьдесят пять хватило.

Сток довершили. Онька и Клавка присели в сено, видны были только их светлые косынки. И запели они в два голоса что-то протяжное, про разлуку.

Пели они в лад, так хорошо, просто, как поют в деревнях, когда найдет на душу томление, и песня льется легко, как вздох в полную грудь, и тех,



кто поет, хочется любить, думать о них нежно. Мишка и думал о них, о вечере, о тусклой комнате и молодых женщинах, словно звавших его к себе.

— Давай-ка снимай нас, — сказала Онька.

— Я сама, — поправила Клавка.

— А мужчины на чо? Им бы только... Снимай, слышь! — крикнула Онька вниз. — У, какой ты робкий, Миша. Я-то думала... А ты-ы...

Гошка первый всадил вилы в стог, подпер руками. Присев, глубоко показывая круглые бедра, Онька скатилась по сену и упала Гошке на руки, вереща и ругаясь. Он придержал ее. Одной рукой она стягивала на коленях подол, другой колотила Гошку изо всех сил по плечам и голове. Мишка отвернулся.

— Ой, мамочки, ой, мамочки! — истошно взывала она. — Подь ты к черту!

— Говори... — требовал Гошка. — Ну? Скажешь — отпущу.

— Пусти! Хоть бы чужих постеснялся. Пусти! Пусти, говорю! О-ой, мамочки, чо он со мной делает! Клавдия! Чо стоишь, зайди сзади, дай ему разок.

Сняв юбку в коленях, Клавка без интереса наблюдала сверху.

— Прыгай, — хрипло сказал Мишка, вытянул руки и зарделся.

— Я уж как-нибудь сама.

Она села, зашуршала сеном и скатилась на Мишку, плотно прижалась и оторвалась, мелькнула по нему серыми глазами и словно опомнилась, притворилась безразличной. Мишка будто обжегся, когда держал ее за мягкую, податливую талию.

Обедать пошли к комбайнерам. На телеге стояли молочные бидоны с супом и картошкой на второе; обвязанная полотенцем повариха разливала по тарелкам и время от времени окликала замешкавшихся возле комбайна мужчин. Гошка, Коля и Мишка расположились на земле. Мишка выбрал чистую ложку и стал есть, послушивая, как вольно обходился с поварихой Гошка. Клавка и Онька отделились в тень под березу. Онька растянулась в траве, Клавка сидела.

— Идите поближе к нам, — сказал Гошка.

— Обойдешься, — ответила Онька. — Миш, пересаживайся к нам, ну их, дураков, они только валять научились, а дела нет.

Она нагло захохотала, подавилась и закашлялась. Гошка привстал, подошел и стукнул ее по спине.

— Дай хоть пообедать! — разозлилась Клавка. — Отвяжись!

— А ты чо? Тебя тоже?

— Только попробуй. Так иогрею.

Гошка намекал Клавке на что-то нехорошее, а Мишка в эти минуты думал, как был бы он счастлив остаться с нею наедине, и говорить ей ласковое, и любоваться ею, надеяться, тревожиться, ждать. Он бы сказал ей такое, чего она еще не слышала и, может быть, не услышит.

После обеда ему выпало сгребать с Клавкой подопревшее сено, в тягостном молчании они шли на поляну. Язык словно отсох. Была бы она Онькой, разговор бы налачился сам. «Чо ты молчишь? — сказала бы Онька. — Не насмелишься?»

— Может, передохнем? — сказала один раз Клавка, опираясь на грабли.

— Поставим еще одну копну — тогда.

Глаза ее несмелы, лицо горячо, губы красивы и мягки.

«Какое, к черту, сено!» — думал Мишка.

В углу полегли прохладные тени. Солнце упало в лес. Покидав в сторонку грабли, они присели рядом возле копны. Клавка постелила фу-файку, расправила на коленях юбку. Мишка повалился на спину, подпер голову руками.

Небо, небо, бесконечное небо.

— Клав... Хорошо здесь зимой?

— Скучно.

— Чем же вы занимаетесь?

— Работы круглый год. Там ферма, там то...

— А вечерами?

— Когда девчата явятся, поболтаем, в карты сыграем. Кино.

— А в праздники?

— В праздники... На то они и праздники, чтоб гулять.

«Вот с ними погулять бы! Посмотреть, как они раскраснеются, два-три стаканчика — запоют, затужат, пляски все в открытую!»

— Клав... Ты давно здесь?

— Родилась.

— И родители чалдоны?

— Чалдоны.

— А ты, значит, чалдонка? — сказал он уже просто так, от удовольствия произнести это слово.

— Значит. А я и не понимаю это слово.

— Чалдоны — это коренные сибиряки. А Онька тоже?

— Онька тоже, кажется, коренная.

— Ах вы, чалдонки, — тихо произнес Мишка и закрыл глаза.

— Клав! Клавдия! — кричали из кустов. Вслед за этим появилась Онька. — Вот пропасти на тебя нету! Все обшарила, куда нашла. Думаю, где ей быть, а они вон они, пригреблись рядышком. Может, и домой не пойдете?

— Да нет, пойдём. Там корова.

— Подоим и без вас, не умрем.

— Нет уж.

— А то оставайтесь тут. Сенца наскребете... Да вдвоем, чо ль, не согреетесь? Ну дак чо? А то я за тебя останусь.

— Оставайся, кто не дает.

— Беда с вами!

Обе они нравились Мишке.

Они отошли. Мишка постоял, спрятал грабли и слышал, как Онька спросила:

— Чо, уже?

— Пря-ям... — уклончиво ответила Клавка.

— Чо ж, он просто так с тобой? Я никому не передам, скажи.



- Да чо ты пристала! Ровно маленькая.
- Подумаешь! Уж и не спроси.
- Хоть бы дело спрашивала, а то такое... черт те чо.
- Шут вас разберет. Вы хитрые.
- Ради бога.
- Было бы желание. Пойдем баб догонять! Миш, не отставай!

Заблудишься!

Идти было километра четыре. За день подсохло, звучней стал шорох желтеющих и уже кое-где падавших листьев, земля пахла грибами. Женщины сперва говорили, а когда расступился простор и завиднелись огороды и крыши, легко и озорно запели. Клавка шла последней. Он глядел на ее спину, обхваченную стеганкой, на косынку, на ноги в сапогах и горячел, выдумывал свидание с ней где-нибудь в снях, когда никого нет, но надо быть осторожным, говорить тихо. И уже дерзил остаться ради нее на месяц, на два, прокрадываться к ней огородами, торкать в окно, зная, что она не спит, ждет, сторожко выскочит в сенки, обрадованная, легкая, вся своя, и скажет что-нибудь по-бабьи простое, и уже не постыдишься ни завтрашнего утра, ни молвы, никого и ничего.

Клавка ни разу не обернулась. Мишке же так хотелось затронуть ее, отозвать, отстать с ней от баб и прийти позже всех.

«В лесу я был в стороне и сейчас сзади, не с ними. Идут женщины, хохочут, и что ж, как же я не узнаю о них, как же это я буду не с ними? Здравствуйтесь и до свидания?..»

Женщины расставались, повернула и Клавка, так и не оглянувшись, только Онька вскинула руку: до вечера или до завтра?

На стане доваривали ужин. Ребята собирались в клуб, Нина составляла программу концерта. Ребята не стали ждать, пока сварится, выпросили у дежурных хлеба и банку консервов, потихоньку сбили сургуч и выпили по очереди из одной кружки. Мишка любил все внезапное, обещающее! Выпив, он сбегал на речку, разделся, нырнул и вымазался в болотистом дне, вышел, сполоснулся, чувствуя, как от воды и выпитого разливается в теле пощипывающая теплота, и от этого, от предстоящего вечера, от воды и тлеющего неба над деревней, от сегодняшнего покоса и песен, Онькиных шуток и бредового головокружения — от всего этого Мишка совсем охмелел и сел на землю. Вот сейчас бы, вот сейчас бы она очутилась здесь — что бы он сделал!

Клуб ему тоже понравился. В темноте, низенький, с бревенчатыми стенами, он тянул в свою распахнутую желто-чадящую от ламп пустоту с недавно вымытыми полами и лавками, где по углам сидели девки в платочках, щелкали семечки и то разом, то по очереди хохотали. Парни курили на улице, задевали проходивших к двери девок, хмуро посматривали на студентов, а тех, кого узнали в поле, подзывали к себе и приглашали выпить. Мишка был хорошо одет, причесан и подобран и даже стеснялся себя — так хорошо он выглядел. Деревенские девки откровенно посматривали на него и почему-то посмеивались.

Все-таки хорошо быть под ночь на приволье, когда работа кончена, а завтра опять поле, воздух, и еще много дней будут они рано вставать,



ездить на лошадях, все лучше и проще знать местных, и до занятий, до того дня, когда их погрузят в машины и повезут назад, еще далеко. Ночь набирает силу, сходятся люди. Коля Агарков настраивается играть, его просят, хлопают в ладошки.

Клуб оказался без окон, на стене и возле сцены чадил керосиновые лампы, и лица девчат по лавкам были притушены желтым отблеском. По кругу ходили под музыку две девки, обе высокие, диковатые, одна полная и в фуфайке, другая излишне накрашенная, как-то однообразно и мелко переступали по досточкам, уже заплеванным у стены семечками. Студентки сбились кучкой возле сцены.

Нина с пренебрежением оглядывала деревенских, заметив Мишку, обрадовалась, но не подала виду. Мишка подошел и заговорил с ней. Она уже надеялась, она приехала в глушь и мнила, что ей нету здесь равных, потому что она интеллигентка, умница, любит стихи и музыку и вообще — девушка с тонким вкусом, как раз, мол, для Мишки.

— Я вижу, у тебя сегодня хорошее настроение, — сказала она ему.

— Настроение ничего.

— Голова кружится?

— Разве заметно?

— Я думаю! Какой ужас, деревенские ребята почти все подвыпившие. И что они в этом находят?

— Это для острого ощущения жизни, — сказал Мишка, вспоминая себя на речке. Все ему сейчас казалось прекрасным. Ему только не нравилось стоять с Ниной, хотелось туда, в кучу, где толкают друг друга ребята, дурачатся и гогочут девки. Вот та, в крапленном платье, с косой, стоит боком к рыжему парню и сердито отчитывает его, и когда парень, наклонившись к уху, что-нибудь сболтнет, она закидывает голову и хохочет, всплескивает руками, а две другие, одна худая, в сапогах и фуфайке, другая посимпатичнее, любопытно трясут ее за плечи, шепча: «Чо, чо он сказал?» Почему так интересны они ему? И все они свои, и есть о чем говорить, а что скажет им он?

Стало совсем шумно, вошла Онька, кинула фуфайку в угол на лавку, в белой блузке и черной юбке, живая, горячая и насмешливая, как хозяйка в своем доме. Но где же Клавка? Неужели не придет? Он припомнил поляну, стог, Гошку, валянье под стогом, и несмелые неодобрительные глаза Клавки, и мысли свои, всегда тайные в ту минуту, когда он заносил навильник с ее краю. Жить бы здесь!

Голова кружилась.

Коля Агарков попробовал баян. Танцы начались с вальса.

Кого было пригласить? Много их, все гудят, все непохожи, и Мишка, красивый, свежий, то уверенный, то застенчивый. Глаза разбегаются. Пока он выбирал, парочки растеклись. Он было намерился выйти и покурить, но увидал пробирающуюся к нему с дальнего угла Оньку.

— Пошли? — сказала она по-свойски. Она никого не боялась, напрасно студентки морщились и шептались.

— Пойдем, — согласился Мишка, тронул ее шершавую ладонь, второй рукой обнял за спину, и она сразу же жарко сошлась с его грудью.

В тесноте он повернул к ней голову, она тоскливо сузила глаза, улыбнулась и еще крепче подалась к нему.

«Вот тебе и встреча. А Клавка не пришла. Клавки-то нет, жаль, очень жаль».

- Давай не будем кружиться, — попросила Онька. — Я падаю.
- Я же держу тебя.
- Я тяжелая. Уронишь — не подынешь.
- Возможно.
- Что это у тебя слова не допросишься?
- Я разговариваю.
- Нет, днем я имею в виду.
- А-а...
- Такой серьезный, куда там! Скучно тебе у нас?
- Наоборот. С такими не соскучишься.
- Подожди, еще не то будет, — как-то тайно пообещала Онька. —

Мы еще не так можем.

- Кто же — «мы»? С Клавкой?
- Чо-чо?
- Ничего.
- Я не глухая.
- Ты такая.
- Да, я такая ли еще, — сказала она и тесно подставила ноги.
- Где ж твоя подруга?
- Зачем тебе?
- Просто.
- Просто так нечего и спрашивать.
- Ну все-таки.
- Клавке здесь делать нечего. Она серьезная.
- Как и ты?
- Я — какая есть, — сказала она и сжала руку.

На них всю смотрели.

- Коля чем-то недоволен, — сказал Мишка.
- Пускай завидует.

После вальса они танцевали танго. Нина с укоризной наблюдала из угла. Заиграли фокстрот, и Мишка пригласил ее. Нежная, хрупкая, она ему тоже нравилась, и он уже не знал, кого сегодня провожать, ее или Оньку.

- Миш... — сказала она. — Наши девочки тебя осуждают.
- За что?
- Подумай.

— Мне скучно с ними. Хоть других послушать. Скучно плести о киноартистах.

— Ты все равно уедешь... — осторожно намекала Нина. — Ну что общего?

- С Онькой, что ли?
- Хотя бы. Тебя уважать перестанут.
- Интересно мне. Нравится.



- О коровах захотелось поговорить?
- О доярках, — съязвил Мишка.
- Глупо.

Лавки от стен с грохотом перетащили к середине, поближе к сцене, задернулся легкий занавес, и объявили о концерте. Двери в клубе не закрывались, на улице курили два парня, и веяло тишиной.

Концерт был большой. Сначала спел хор, потом пела Нина. Голос ее был чист и далек, точно из поля, и она нравилась зрителям, немножко сввысока кланялась и заходила в угол, где стоял и вспоминал слова смешного рассказа Мишка. Он вышел, и зал словно вздохнул, узнал его, зароптал: «О-о-о!..» Мишка увидел луну в двери и Оньку, задравшую голову на последнем ряду, подгонявшую криком: «Давай, не тяни, терпение лопается!» И эта простота реплики, и легкое Мишкино настроение с тех минут, когда он бежал на речку и обратно, когда собирался в клуб под горку, когда ждал Клавку и танцевал с Онькой, и то, как Нина мягко подтолкнула его, объявив номер, — все помогло ему, и он с охотой, не надрываясь, рассказал смешную историю про телушку, ворвавшуюся в церковь во время молитвы. Зал стонал, колыхался, хлопал, а в дверях молочным пятном сияла над деревней луна.

— Ой, Миш, так здорово! — обняла Нина за кулисами, и они прислонились, затихли вместе, следя за выступлением гитаристов.

- Ты останешься после концерта?
- Потолкаюсь, а что?
- Я хочу тебе сказать что-то.
- Ты еще будешь петь? — спросил Мишка. — Спой «Встречай меня», им понравится.
- Ты хочешь, чтоб я спела?
- Хочу.
- Хорошо, я спою. Настоящую деревенскую песню.

Нет, песня была не просто деревенская, и была она для всех на свете, тихо, но тонко задевала за сердце. Пела Нина переживая, чутко и нежно, и необыкновенно хороши, просты и доходчивы до глубин были слова в эту ночь, под луной в распахнутой двери, когда голос звучал точно из поля. И то, что в песне кто-то обещал, что еще не все прошло, еще не вся брошена черемуха, еще будет их время, то, что слова были давным-давно знакомы и здесь вдруг новы и каждый считал их своими, собой сказанными, каждый думал о себе или хотел, чтобы это было о нем, с ним случилось, стряслось, — все было к месту, к этому вечеру, к поляне, к возвращению из леса, к Клавдии... А где она, почему не пришла?

— А ты, оказывается, артист! — сказала ему Онька после концерта. — Тебе в Москву надо. От души посмеялись.

- Песня тебе понравилась?
- Мы ее с Клавкой лучше поем. В компании — так вообще не оторвешься, сразу в кого-нибудь из нас влюбишься.
- Клавка так и не пришла?
- Чо она тебе сегодня далась?
- Могу я спросить, нет?





— Часто больно спрашиваешь. Может, кто ревновать начнет.

— Кто?

— Тебе все знать надо.

— Ей-богу, все.

— У нее сегодня день рождения. Я зашла, поздравила, стаканчик выдула и сюда подалась. Там у нее девки, целый табун, они теперь до ночи засядут. Да мы вот как-нибудь еще соберем, погуляем по всем правилам. Ты ж не придешь, если позовем?

— Обязательно приду! — сказал Мишка.

«Пойду, пойду нынче, провожу ее! — думал он. — Пусть Нина сердится».

Расходились в полночь. Онька ушла с девчатами вперед. Вдали пели, и он по голосу улавливал, где они сейчас: возле сушилки, на мосту, у крайнего дома. Сзади отставали парочки, еще ниже шла, наверное, со студентами Нина и дулась на Мишку.

У дома с изгородью Мишка увидел Оньку. Прошли парни, среди них по росту можно было угадать Колю Агаркова.

— Кого ждешь? — крикнул он Оньке. — Не меня?

— Тебя только и не хватало.

— Чо я, рыжий, чо ли?

— Был бы рыжий, может, и ждала б. Иди просыпайся, как бы мать порки не дала.

— Коро-ова, — тупо обозвал ее Коля.

Мишка заколебался.

— Миш, — ласково позвала Онька, — иди, чо-то скажу.

Он подошел, оперся спиной на изгородь. Она улыбнулась.

— Чо будешь делать? — повернулась она к нему, ткнула плечом в плечо. — А-а? Тебя можно спросить?

— Спрашивай.

— Чо это ты боишься танцевать при городских? Боишься, что засмеют? А мне ваши девчонки, знаешь, не понравились. Воображают много из себя. Вот эта, чо с тобой танцевала, в лыжном костюме, чо, твоя подруга небось?

— Нина? Я ее знаю не лучше тебя.

— Меня узнать недолго, — засмеялась она. — Я заметила, она чо-то к тебе испытывает.

— Может быть.

— Как она номера объявляла! Хм! «Дорогие друзья, — передразнила Онька, — вы простите нас за неформальный наряд, но нам думается, что концерт создаст у вас истинно праздничное настроение». Фи-фи! И чо они так жужжат про тебя: Мишка, Мишка! Ты чо, самый-самый, лучше нет?

— Самый обаятельный.

— Тогда проводи меня. Проводишь? — сказала она, выдавая себя взглядом. — Не торопись, не ждут тебя? Ну не ждут, а мама далеко! Возьми меня за руку.

Они двинулись в конец улицы, куда шли в первый раз за председателем. Вдали за Волосяным озером темным призраком таился лес.

— Коля на тебя обиделся, — сказал Мишка.

— Чо ж такого... Может, и мне еще не раз плакать придется. Толку от этого Коли. Хоть бы ростом был, а то так...

Шли обратно и перед Клавкиным домом услышали песни.

— И-и, полуношники! — повеселела Онька. — Крепенько, видать, загуляли! Интересно, кто ж там у них самый пьяный? Не именинница ли?

Она загородила собой окно. Клавка была рядом с Гошкой! Она нарядилась к своему дню, но по-прежнему была не накрашена, гладко причесана. Привалившись близко к столу, она пела и переживала. Стена скрывала начинавшего первую строчку, но видно было, как, ухватив паузу, передохнув, Клавка вместе с другими надсадно, во всю мочь подтягивала и уже ничего не видела, не слышала вокруг, только себя, свою судьбу, свой голос, готовый порваться и не рвавшийся. И на словах «на нем защитна гимнастерка, она с ума меня свела» вступила в повтор Онька за окном, и голос ее разбудил улицу. В комнате стихли, разом взглянули на окно.

— Подайте несчастной, — подурчилась Онька, — издалека иду, мужика ищу завалашенького...

— Какого тебе? — крикнул кто-то, подыгрывая ей. — Женатого или холостого?

— Любого! Лишь бы понастойчивей.

— У-у, мы таких не водим, у нас все мальчики скромные.

— А вон тот, рябой, у него глаза навывкате, губы бесстыдные — его нельзя?

— Он у нас занят.

— А лишнего вам не надо? Тут один возле меня, не знаю, как отвязаться, кровь с молоком.

— Молодой, старый?

— Молодой, моложе меня.

— Тебе-то сколько?

— Шасят шастой.

— Тогда ничего. Зови его!

— Хватит ерундить! — крикнула Клавка. — Входи!

Мишка стоял сзади, улыбался.

— Миш, пошли. По рюмочке.

— Нет-нет.

— Ну-ну! Еще разговаривать будешь... нечего тут, пошли, да и все! Ты со мной, не с кем-нибудь. Все знакомые, выпьем и уйдем. Вот ты какой! Я не думала. Скромность свою оставь для другого раза. Все мы скромные, пока светло. Ты ведь уже не мальчик, пора. Пойдем, пойдем, — торопливым шепотом попросила она и подцепила за руку.

Мишка нехотя прошел двор и у дверей снова уперся:

— Неудобно. Потом... я совершенно не хочу пить. Иди одна, я подожду.

— Никто тебя и не заставит. Посидишь для приличия, Клавке сегодня двадцать три, она обидится. Можешь и не пить, разочек там про-



пустишь, ничо с тобой не станет. Пойдем, я тебе чо-то скажу потом. Ей-богу.

Мишка и сам себе не понравился. Он не шел от стеснения, боялся оказаться чужим, а идти хотелось: там была Клавка. Там были именинница и кто-то еще, кого она позвала не случайно, его же не позвала, не сказала вечером или еще раньше: приходи.

Онька забежала в комнату, подняла шум и снова высунулась в сени, крикнула Мишке, потом зашептала, опять наговаривая тайное, бесовское. Он не пошел и прислушивался из сеней, что говорили внутри, ощущая себя в глупом положении, когда и уйти уже неудобно, да и не хочется, а войти и подавно.

— Я же не гордая, — шутила там Онька, — я чо, я посмотрела, мне пары нету — и в клуб, на студентов полюбоваться, концерт был, ребята на подбор, еще позавидуете мне. Ну, поздравляю! За тебя, именинница. Расти большая, не болей, деток тебе поменьше, меня не забывай. Ну, чтоб завтра не проспала!

— О-о... без этого... самого...

— Чо, неправду я говорю? Чо я такого сказала, подумаешь! Ничо я и не сказала, какие там намеки. Я режу напрямую.

— Пей уж, пока за воротник не вылила.

— У меня воротников нет, я вся нараспашку.

Все засмеялись.

— Ну, Клавдия моя... подруга моя... счастья тебе, милая. Столько прожить да еще столько... и еще, и еще, и счастья найти. А ты, Гошка, не выдирайся. Давай, милая, чокнемся да поцелуемся. О! — чокнулись и поцеловались они. — По всей! А-а! — крякнула Онька и шумнодохнула. — Она у вас разбавленная, черти. Некрепкая. Чо-то не падаю.

— Где же твой знакомый?

— Миш! — позвала Онька. — Именинница тебя хочет видеть. Влюбилась, чо ли? — добавила она тише. — Обидишь меня.

— Гляди, тебя обидишь.

Онька вышла, посмирнела и стала уговаривать Мишку, как маленького:

— Чо ты, а, Миша? Зашел бы, там так хорошо, все свои — посмеемся, песни попоем. Имеем мы право погулять после работы как хочется?

— Пойду я.

— Я тебе чо-то после скажу. По секрету.

— Ты лучше зайди, извинись и выходи поскорей.

— Не хочет! — сказала она в комнате. — Чо я могу, если не хочет?

— Не умеешь, значит, — сказала Клавка. — Плохо уговаривала.

— Сама попробуй. Я уступаю, если получится. Дайте я ему налью, и мы с ним выпьем в сенках. Раз не хочет, я же за рукав не потащу.

Вышла Клавка. Она сегодня выпила, у нее день рождения, когда бываешь грустнее прежнего. Она взяла его за рукав, приглашая. Он готов был уступить и уже воображал всякое: знакомство с компанией, песни, шутки, все уходит, она глядит на него и задерживает потом в сенях последнего, целует у этих бочек с солеными огурцами, вот такая, не

пьяная и не трезвая, легкая, качающаяся, с милыми, мягкими губами, именинница.

— Выпьешь за меня, у нас все свои. Ради меня, мне сегодня много лет, ох, — вздохнула она, и в этом вздохе было больше, чем в ином слове и взгляде. — Ну?

— Извините, но нет. Я поздравляю вас, может быть, больше, чем другие, но... я пойду.

— Не хотите, чо ж, дело хозяйское. Извините, вам, наверно, с нами неинтересно, у вас повеселее бывает.

«Что ты, милая», — думал Мишка.

— Ми-иш! — опять выбежала Онька, пропустила Клавку и толкнула дверь ногой. Стало темно.

«Дурацкое положение, — сердился Мишка. — Чего я жду?»

— Миш, ты как девочка, честное слово! Аж стыдно за тебя. Никогда не ожидала. На сцене такой бравый был, а тут... Выпьем, держи! Из кружки, мы из кружки пьем. Ну и Клавка обиделась, беда с тобой. Мальчик ты мой.

— Кто-о?

— Мальчик, кто ж еще? Не Гошка же... По всей, по всей.

— Может, пополам?

— Я уже выпила.

Одна ее рука лежала у него на груди, другой она подавала ему кружку. Он выпил и закусил огурцом. Протянул Оньке кружку, та взяла его руки в свои.

— Холодные они у тебя, — сказал Мишка.

— Сердце зато горячее.

— Ты мне что-то хотела сказать.

— После, после...

— Уходим?

— Оньк! — раздалось в комнате. — Где ты, не ушла?

— Тут я, отвяжитесь.

— Пошли.

— Сейчас, я оденусь.

Мишка подождал ее за воротами. Деревня спала и тревожила.

Онька вышла, подхватила его под руку.

— Завтра все знать будут, что я с тобой шла. Ах, да кому какое дело! Думать да переживать. Не мы первые, не мы последние.

Окна сливались с ночью. В воротах, без слов, Онька подтолкнула его вперед. Тихо отворила сенные двери. Говорили они уже шепотом.

— Что ты мне хотела сказать?

— Я-то? — приблизилась она. — Чо бы ты хотел? — все нежней и откровенней говорила она. — Ты тоже мне обещаю что-то...

— Не помню...

— Ладно, не будем. Эх, — почти шепотом сказала Онька, — не красота меня сгубила, меня сгубила простота... Такая я невезучая.

Что-то печальное и хорошее случилось в эту минуту с ними. В молчании, нежно, просяще повернулась она к нему, как-то взглянула на него

томительно долго, сердечно и слабо, попросила глазами поцеловать ее. Ничего не осталось от прежней Оньки, которая недавно дурачилась и плела что попало под Клавкиным окном и в сенках. Стояла перед ним нежная и несчастливая женщина и молчала, грустно просила обнять ее. И, не дождавшись, не вытерпела, сама туго прислонилась к Мишке, сжала руку.

Тогда он поцеловал ее, и она бережно, благодарно, с мудростью своего возраста обняла его голову руками и поглядела опять. Потом, не выпуская его руки, на цыпочках пошла в избу.

В первой комнате кто-то спал у стены.

— Не спотыкнись, — шепнула Онька. — Мать спит... Руку...

В ее комнате чуть-чуть светилось окошко.

— Снимай плащ, у нас душно.

Мишка зашуршал плащом, отдал ей. Он ее почти не видел, она крадучись ходила туда-сюда, наконец села возле него.

Теперь даже и у нее не находилось слов, смелость прошла, как хмель.

— Ой как устала я! — сказала она.

— Отчего?

— Сама не знаю.

Они близко склонили головы и так сидели, перешептываясь.

За окном шумел ветер, хлопала ставня. Дождь плескался в палисаднике и по крыше, сочился в сенях с земляным полом. В это время постукали в огороде в окно.

— Оньк...

Онька сдернула занавеску и взглянула в огород.

— Оньк... Это я...

Мишка узнал Колю Агаркова.

— Выйди на улицу. Что-то скажу.

— Ты чо, пьяный, чо ли? — полушепотом сказала Онька. — Я тебе чо говорила? Нечего шнырять, бесполезно. Иди, а то оденусь и покажу дорогу.

— Ну, Онь...

— Онька! — проснулась мать в кухне. — С кем ты там разговариваешь?

— Спи уж! Заснула — так спи.

— Онь... — молил Коля с огорода. — Я тебе все объясню.

— Ты корову так и не подоила? — спросила мать.

— Подоила, подоила... Вот привязался, — сказала она про Колю, обулась и вышла во двор.

Мишка сидел. Потом тихонько встал, поискал впотьмах плащ, не нашел и, наконец, осторожно пробрался в сенки. Онька как раз накидывала крючок.

— Куда ты?

— Я, пожалуй, пойду.

— Кого ты испугался?

— Ты пьяная.



— Нимало. Тебе бы быть таким пьяным, как я. Ты меня тоже пойми, — как-то робко, обидчиво попросила она и склонилась головой к его губам.

«Отчаянная...» — подумал Мишка.

— Миш, — сказала Онька.

— Ну...

— Ничо. Так просто, — и, вздохнув, поцеловала его, спросила: — Тебе плохо со мной? Я тебе не такая?

### 3.

Утром на сушилке Мишке было совестно встречаться с ней. Она же везде попадалась ему на глаза, отовсюду слышался ее смех, и это было как наказание. Он уже морщился... Все вчерашнее, сокрытое ночью, теперь на людях вспоминалось иначе. Он ходил как потерянный и смотрел вниз.

На стан он вернулся под утро. Рассветало, зябко тянуло с речки, и, наверное, видели его изо всех окошек, и ясно было, от кого он идет, завернувшись в плащ, вялый, ко всему равнодушный. Не он ли еще в первые дни, идя за отстававшей Клавкой, воображал о полуночных свиданиях с шепотом, с волнением от слов и взглядов?

На стане уже проснулись дежурные повара, помешивали и пробовали у костра суп в котле, намеренно и, кажется, презрительно не придавая значения Мишкиному появлению в такую рань. Среди них была Нина. Мишка перетерпел стыд, сначала раскаялся, но все то же, начавшееся еще с вокзала, непоправимое чувство деревни, ее глухая старинность, во всем свое, особое отношение к заманчивой из-за отдаленности жизни тут же успокоили Мишку. Заснул он сразу и видел во сне Оньку, дорожил ею, а проснувшись, вспомнив, поморщился. Ни в комнате, ни на улице никого не осталось — студенты давно отправились в поле, а ведь еще прошлым утром будили его девчонки: «Мишенька, завтрак! Вставай, Ми-иша!»

Наступило отчуждение.

Онька же выглядела как ни в чем не бывало.

Как она довольно оборачивалась к нему, опираясь на деревянную лопату, нашептывала Клаве, словно только того и желая, чтобы все знали о них! Как кричала она на шоферов, как ее шутя валяли на куче зерна и она болтала ногами, прося помощи: «Ой, мамочки, ой, мамочки!» Как противна становилась она ему тогда, и не было спасения от нее, всюду была она, она, она...

«Да не смеется ли она надо мной?» — злился Мишка. — Не притворялась ли она вчера? Не похоже».

— Миш, ты чо это сегодня такой кислый? — обратилась она издалека, улыбаясь широким ртом, и деревенские женщины понимающе сощурились на нее и потом на него. — Чо ты, Миш, — успела она сказать мимоходом в воротах сушилки, — я тебе надоела уже? Ты серчаешь на меня? Недоспал?

И, отдаляясь по улице, лихо запела:

Милый, чо, да милый, чо,  
 Милый, сердисься на чо?  
 Или люди чо сказали,  
 Или сам заметил чо?

Он опять с наслаждением отдался работе: сопровождал на машине зерно, ссыпал на склад картошку, развозил на лошадях обеды по далеким бригадам.

На другой день она подседа на телегу, все еще никак не принимая его хмурого, молчаливого вида, спросила:

— Скажи, чо ты на меня дулся?

— Когда?

— Вспомни.

— Нечего трепаться.

— Надулся как сыч, ходит не разговаривает, не здоровается. Радуйся на него.

— Ну и ведешь ты себя...

— Как?

— Так.

— Уж и посмеяться нельзя? А может, мне хорошо. По крайней мере, не строю из себя...

— С шоферами на зерне валяешься, — будто с обидой сказал Мишка.

— Я виновата, чо они такие? А ты и заметил уже. Ладно, я теперь умней буду. Ты обиделся?

Мишка молчал. Нечего было сказать, и упрекал он ее просто так. Со вчерашнего утра он вдруг растерялся и сам не знал, чего ему хочется, и винил то себя, то Оньку. Хоть садись на попутку и уезжай домой!

— Быстро же ты переменялся, — сказала Онька, спрыгивая с телеги. — Подумаешь! Ну и ладно...

Мишка хлестнул лошадей.

Она забралась в чащу леса. Обида давила ее не оттого, что она любила этого городского парня, она, может, и не любила его так, как могла полюбить, но ее обижал теперь человек, чем-то похожий на выдуманного ею еще девочкой, когда она читала книги и вздыхала в кино. Всегда окруженная ухажерами, всегда веселая и вольная, она скрывала свою тоску, и никто не знал, как она нарочно шла стороной из клуба и будто шептала в темноте губами: «Позови, обними, скажи нежное, не побоюсь, приду куда хочешь». Когда он ушел от нее, она долго лежала с открытыми глазами и сердилась, сердилась то на себя, то на него. И в лесу она сердилась на себя, не смогла она повести себя иначе, открылась вся сразу, с первого вечера, с первых слов и ничего не оставила ему для тайны, хотя самого главного-то он и не увидел.

А Мишка в это время дергал за вожжи и думал обо всем с утренней трезвостью. Было и стыдно, и досадно, но он ничего не мог обещать Оньке. Ничего на будущее. Он считал себя в этой деревне временным, и Онькины надежды были напрасны. Издалека он жалел ее, вспоминал



просящие глаза, вздохи и ласковые руки и несколько раз пытался вернуться, чтобы посадить рядом с собой на телегу. Но рядом с нею он бы еще крепче думал о Клавке. И когда Мишка думал о Клавке, ему казалось, что он не уехал бы из деревни никогда. Был он еще неопытен и горяч, жил мечтами и видел все на свой лад.

Все же он поворотил и повстречал Оньку на дороге. Она шла впереди, уже близка была деревня. И как же печально, одиноко она шла!

«На сколько она старше? — почему-то подумал Мишка. — Наверное, ненамного...»

Онька слышала стук телеги, сошла с колеи на траву, не оборачиваясь.

— Садись, — поравнялся он с нею и придержал лошадь.

Она не показывала глаз и молчала.

— Садись, Онь...

— Ладно, я пешком.

Лошадь нетерпеливо дергалась, телега медленно подавалась вперед.

Онька не догоняла.

— Ну садись, Онь...

— Да чо уж... — глухо выдавила она и поднесла руку ко рту.

#### 4.

Еще утром пересыпал дождь, а к ночи подморозило, похолодало в полях, и остро почувствовалось, что осень кончилась. Наставало прощание с деревней.

С Онькой он больше не встречался. В этот последний вечер он ехал на машине с Клавкой. Они высоко лежали на зерне, повернув лица друг к другу, и Клавка потихоньку пела, Мишка молчал. Наверное, ни с кем еще не хотелось ему так заговорить, как с ней, и он не смел. Была она ему интересна, и думать о ней, засыпая или в одиночестве на тихой дороге, было приятно. Клавка не походила на Оньку. Но порой и Клавка казалась ему молоденькой девчонкой, у которой все нехитро и безопасно в жизни и которая многое принимает по-деревенски прямо и с насмешкой. Иногда же, в поле, на улице, возле сельпо, если они невзначай, но не случайно переглядывались и она торопилась уйти, Мишка любил в ней неразгаданность, опять, как тогда, по дороге из лесу, суматошно мечтал, но не отзывал ее, не стучал в окно, а время шло, шло в одиночестве.

— Чо так смотришь? — сказала она на машине.

— Смотрю, какая ты.

— Обыкновенная.

— В клубе сегодня танцы. Не хочешь?

— Нет. Нечего мне там делать.

— Почему ты всегда в стороне?

— Нимало. Где все, там и я.

— В клуб не ходишь.

— Чо там хорошего? Отбегалась.

— Приходи сегодня. Мы завтра уезжаем. Не скучно будет без нас?

— Смотря кому, — промолвила Клавка и улыбнулась.



«Все знает, — огорчился Мишка. — Онька ей растрепала».

— А что, если... — сказал Мишка, стгорая от стыда. — Клав... Что, если... я зайду к тебе?

— Во-он чо! — засмеялась она. — Да у меня мужик есть.

— Шутишь.

— Пра-авда. Хоть у Оньки спроси.

— Онька такая, что и соврет.

— Ей врать неинтересно. Зачем ей врать? Да, — вспомнила она, — чуть не забыла! Она еще так просила, смотри, говорит, не забудь, а я и забыла. Записку тебе передала, не думай, я чужих не читаю.

— Кто? Какая записка? — тупо отговаривался Мишка, бледнея.

— Онька, кто-кто! — крикнула Клава и постучала по кабине. — Останови, Гошка, я слезу! На, возьми...

Гошка высунул голову, глядел, как она лезет через борт, стыдится.

— Отвернись хоть... Вылупился.

— С каких это пор ты запрещаешь?

— И-и, — обиделась и покраснела Клава.

Гошка выпрыгнул из кабины, протянул руки:

— Давай! Прыгай на меня.

Он поймал ее на лету, прижал и понес по дороге, поставил вдалеке. Она билась в его руках и просила. Он ей что-то сказал.

— Найдешь себе, — ответила она ему, взглянув на Мишку, и пошла домой.

Мишка спрыгнул, машина тронулась, и он стоял, стоял на дороге, провожая взглядом Клавку. Она шла к огородам, пригнулась у прясел, присела и обернулась, вдруг надолго задержала свой взгляд, пошла по чужим грядкам к себе и у сарая опять стала, проверила, что ли, не следят ли за ней, и, кажется, откровенно, с обещанием вскинула руку. Он чуть не бросился следом за ней. Прохладно светило солнышко, голы и серы были места за околицей. Осень прощалась с деревней.

Онькина записка лежала в кармане.

«Вот наказание... — злился он на Оньку. — Впутала, впутала».

На стане был готов ужин. Студенты торопились: последний вечер, последняя ночь на приволье, суббота, клуб, танцы. Во дворах доили коров.

Похлебав борща, он пошел в Ургуль. Подмораживало.

«А ведь и правда, — подумал он, — последняя ночь в деревне. Ничего и не было, а долго буду вспоминать эту осень».

Вернулся, пошарил в кармане, вынул Онькину записку.

«Приходи, как стемнеет, — заранее отгадывал он. — Я обожду у ворот, никто знать не будет».

У костра пели ребята.

«Вот пристала, — подумал он. — Клава, может, уже сто раз хотела встретиться, но не напишет же, не такая. И не скажет даже, только во взгляде промелькнет какой-нибудь намек — как хочешь, так и понимай...»

Он подсел к лампе.

«Миша, — писала Онька размашистым почерком, — ты меня извини, что я передаю записку с Клавдией, не подумай ничего лишнего, я сама



передать не посмела, а больше не с кем было... Я так сказать не смогла бы, я как увижу тебя — не знаю, куда глаза девать, не смотри, что я смеюсь да улыбаюсь тебе... Я знаю, Миша, меня не обманешь, тебе нужен другой человек, а я, дура, переживаю, когда мне давно ясно, что я нужна тебе просто так, по настроению. Раньше со мной такого не было, может, и не такие парни попадались, а ты как ушел тогда, я до утра не спала, все думала, чем ты поглянулся мне, прости, что я опять набиваюсь со своим бабским сердцем. Села писать тебе со злостью, и рука не выводит слов, вижу тебя, ты такой хороший, добрый, не то что некоторые, и ты завтра уедешь, может, и не свидимся никогда, но ты, Миша, долго будешь в моей памяти, хоть ты и помоложе меня и мне не след бы за тобой убиваться, ну что ж, в жизни всякое бывает. Мне обидно, что ты даже не считаешь нужным посмотреть на меня, обходишь стороной, потому что ненавидишь, правильно делаешь, я сама виновата, первая начала. Давай не будем злиться, останемся хорошими друзьями. Я знаю, я тебе противна, но ничего, я больше к тебе не подойду, будь спокоен, а меня, конечно, еще раз извини, ты ни в чем не виноват, это я, дура, виновата. Мне, думаешь, не хотелось бы как лучше? Все, я написала от чистого сердца. Счастливо тебе доехать и найти хорошую девочку. А на меня не злись. К сему, Оня».

Он полежал; захотелось покурить, и не у кого было попросить сигарету — ребята толкались во дворе. «Он письма читает», — сказал кто-то ехидно, и конечно, о нем.

Что было делать?

Он вышел.

Как и раньше, вспоминая ее, и вот теперь, думая о ней в связи с запиской, он временами испытывал к Оньке что-то похожее на нежность, на сочувствие, но на людях, в открытом месте не смог бы обещать ей долгое и верное, быть с ней изо дня в день — нет, нет и нет. Сейчас она стала ему дорога и близка, и он мог бы пойти к ней, наговорить всякое, и все было бы искренне. Он бы обнял ее, сказал бы, как она хороша, как нельзя ему без нее, а назавтра... Что стало бы назавтра? Не то же ли самое, что и две с лишним недели назад?

«Сам я еще не пойму ничего. К Клавке тянет».

— Чо стоишь? — окликнули его, и он узнал Колю Агаркова. — Пойдем в баню!

— Кто ж в клубе-то играет?

— Под радиолу. Свет подключили. Пошли попаримся. Спины потрем друг другу.

— Пошли!

Мишка побежал в дом, похватал мыло, полотенце, мочалку и выскочил к Коле.

— Веник есть?

— А как же! — сказал Коля. — Сейчас напустим пару, эх!

— Ну и отлично.

— Клавка молоко цедит, — сказал Коля, когда они появились возле ее окон.



Высоко подняв над крынкой ведро, Клавдия переливала молоко. В склоненной ее голове и задумчивости было что-то домашнее, обычное...

— Значит, вас завтра угоняют обратно? — спросил Коля. — Да, при вас было веселее. Я вообще люблю веселых. Я такой человек: горе горем, а на людях как ни в чем не бывало. Иной раз и над собой посмеюсь. Когда-то дал волю, рост маленький, ну и пошло. А я не обижаюсь. Я и на тебя не обижаюсь, — сказал он вдруг.

Мишка недоуменно приостановился.

— Я такой, я не обижаюсь, — повторил Коля.

— Ты о чем?

— Да чо ты с Онькой. Ты мужчина, тебе простительно, это ей не простительно, а тебе можно.

— Вот ты о чем, — догадался Мишка.

— Я посмотрел-посмотрел, — рассуждал Коля, быстро шагая впереди, — да и плюнул. Если она чо-то строит из себя — будь здорова, не заплачем. Я парень простой: пусть у меня там рост маленький, в армию не берут, меня же не в капусте нашли. У нас сначала получалось с ней неплохо, а потом смешки пошли. Да провались ты! Но ты не думай, я на тебя не обижаюсь, это я так чо-то, кому-то же надо выложить. Не сердчай на меня. Наверно, и правда — сердцу не прикажешь. Вот и баня.

Бодрыми смешными шажками он проскочил двор, кликнул хозяйку, предупредил, кивнул Мишке.

Потолок был низок, и пахло сырими досками.

— Раздевайся! — пригласил Коля. — Сейчас плеснем ковшик, зашипит, и порядок! Я, как бываю в городе, всех стариков пересаживаю. Попаримся — и в клуб.

Он зажег лампу.

Когда они вышли, прохладно веяло ночью, а небо было без звезд, мутновато-белое, и Мишка что-то почувствовал остро и сладко, а что — не знал.

Вот ночь, они идут из бани, горят окна, торопится в клуб молодежь. Все обычно, а между тем в душе каждого таится что-то глубокое, то стихает, то наплывает вновь. И у него сейчас томится все сразу: и восторг, и печаль, и ласковость, и деревня, и Коля, Онька, Клавка (нет, Клавдия — так лучше) — все-все его мысли в эту тягучую, дымно-желтую осень, и опять Клавдия, отъезд, долгие неизвестные месяцы дальнейшей судьбы, воспоминание об осени, об улице, об окне, в котором он часто видел ее, Клавку... нет, Клавдию... Мечты!

Они прошли мимо, на этот раз комната пусто светлела, и, будь Мишка один, он постоял бы тайком в стороне, дождался, пока она появится, чтобы поглядеть на нее и подумать.

Коля пригласил его к себе. Они выпили, Коля быстро захмелел, кричал: «Друг! Не обижайся на меня за Оньку!» — звал в клуб, просил писать письма.

— Нравишься ты мне, — обнял он Мишку. — Молчишь, но знаешь много.

«Клавдия...» — находило на Мишку и хотелось бежать к ней, отворить дверь и чтобы она кинулась навстречу, все понимая.



— Прости, Коля, — в приступе сказал он, — прости, но мне надо в одно место. Если ничего не будет, я вернусь!

— Она в клубе, наверно, — скрывая ревность, сказал Коля.

— Она в клуб не ходит.

— Еще как!

— Совсем не то, Коля. Совсем не то, о чем ты думаешь.

Едва он поравнялся с ее окном, стало стыдно и отчаяние пропало. Он побрел назад. На стане горел костер. Нина кидала в воду очищенную картошку и пела. Студенты ушли в клуб. Он лег на топчан.

«Еще косою острою...» — неслось от костра.

Все-таки хорошая была песня. Под эту ночь, под разговоры и мысли. «Пойти, что ли, посидеть возле Нины? Обиделась, не прощает».

— Что ты на танцы не пошла? — вышел и спросил он ее. Она не ответила. Он снова заполз на топчан, откинулся на спину. И незаметно уснул.

Снилась ему Клавдия... Она просила его снять сапоги и говорить тише, с опаской указывая пальцем на окно. И сама подошла к нему.

И он вздрогнул, проснулся.

Проспал!

Ах, все проспал, уже утро, ребята шумят и, кажется, собираются к машине. Он проспал и уже не успеет, уже не будет вечера, не прийти к окну и ничего не случится, никаких воспоминаний не оставит о себе, не прокрасться к ней, не стукнуть в окно! Как же он проспал — боялся, не заснуть бы, и заснул?!

— Который час? Утро?

Нет, догадался он тут же, ребята только вернулись из клуба и доедали холодную картошку.

И, легко вскочив, причесавшись, отрадно, как будто его ждали, выбежал на улицу, пошел к ней.

По деревне стлалась лунная полоса. Еще горячий ото сна, Мишка углублялся в конец улицы, все думая и думая о Клавдии.

Он прошелся в самый конец, постоял у леса, замечая на ветках снежный пушок, подумал о зиме в этом селе и повернул обратно, мимо темного Онькиного окна.

Едва подошел к окнам Клавдии — опять засомневался. Он перебежал двор и стал у двери, прислушиваясь. Донесся скрип деревянной кровати.

«Неловко, — подумал он, — ночь, не поймет».

Он стоял минут десять.

Потом осторожно, с задерживающимся дыханием постукал пальцами в дверь.

— Клав... Это я.

— Что тебе здесь ночью делать, кто это?

А кто он ей?

Голос был уже от окна, по-видимому, она встала и смотрела во двор.

Мишка проклял себя. Как-то по-мальчишески стыдно, неприятно. Кто он такой и кто она ему... ведь не поймет, не откликнется и грубо прогонит, а как бы хотелось, чтоб вся оживилась, будто ждала уж с каких пор, ждала этой одинокой немой ночи, ждала стука и звала как своего,



как в песнях поют, да-да, как в песнях, как еще не было ни разу в жизни и как он лишь сочинил, бредил ею в полусне, в частые свои думы о ней, о чем-то совершенно близком, вечернем!

Чуток был Мишка в эти минуты, и даже интонация, скука в голосе ранили, и он бы ушел, но что-то удерживало его.

Он помялся и глухо, неуверенно сказал:

— Свои.

— Какие еще свои? Свои все дома.

— Выйди на минуточку. Очень прошу.

— А кого надо?

— Клаву.

— Она уехала в Северное. Кому надо Клаву — пусть днем приходит.

Чо за свидание ночью?

— Кла-ав ... что-то скажу.

— Какая я вам Клава? Это сестра. Нету Клавы, и не стучите.

Мишка подобрался к окну, застыл, холодея от позора. Вдруг загремела внутренняя дверь, раскрылась вторая, и на пороге возникла женщина. Она, Клабочка, с зимним платком на плечах, стоит, насупившись.

— Чо такое? — сказала она легко, даже ласково. — Ночь-полночь.

Он подошел, стал близко; она ждала, молчала, дышала, замирая. Он почувствовал запах ее волос, увидел мягкие, красивые губы и перехватил ее руку.

— Входи... раз пришел, — сказала Клавдия.

Перед этим она целый час ворочалась под одеялом на скрипучей деревянной кровати. Несколько раз ей чудилось, будто кто-то стучит. Она подсакивала в одной рубашке к окну. Где-то в глубине улицы началась песня и вскоре, точно подкрадываясь, послышалась ближе, у соседнего дома, потом под ее окнами. Песня была хорошая, слова ей всегда нравились. Пели студенты. Она следила, нет ли знакомых, и почему-то таила от себя, не хотела признаваться, что ищет она кого-то одного. В какой-то миг пережила она свое девичество. Не так ли и с ней было когда-то? Куда и ушло все — и проводы, и надежды, и то золотое время, когда она тоже считалась счастливой полуночницей? Уже не повеселиться, как Оньке, не ждать воскресенья, уже не хлопотать о нарядах и в двадцать три года жить как пожилой. «Гуляйте, — благословляла она студенток, — гуляйте, беззаботные. Гуляйте да глядите на них в оба, чтоб не обманули, как меня, ласками».

Вздыхнув, она подошла к разогретой постели и завернулась в одеяло. Кого же она все-таки высматривала среди них? Да нет, никого, оправдалась она и тем самым дразнила себя, нет, сердилась на жизнь, чепуха какая-то — ну что она как маленькая, разгорячилась, разнежилась? Нет уж, это ночь виновата. Клавдия не верила уже себе, потому что не раз с ней бывало такое и в прошлом: намечается, и потом нелегко отвязаться от выдумок и перебороть себя.

Но парень ей нравился.

«Ах, — сердчала она опять, — все это игрушки! Это Оньке еще туда-сюда. Он приехал как на отдых, работа ему как забава. Устал, отдохнул — и ни о чем голова не болит. Умылся — в клуб, и мысли только



о танцах, про то, как поют да гуляют. Тут дров надо к зиме, детишек обувь — до звезд ли, до обманов».

И тут услышала стук.

«Гошка...» — определила она и стала ругаться шепотом:

— Никак не отвадишь...

— Клав... Это я.

Голос был не Гошкин, но она не расслышала чей. Сердитая, забыв о детях, она громко отвечала на просьбы и наконец угадала по интонации Мишку, рассмотрела даже его лицо. Стоять босой на полу было холодно, она, удивленная, подошла к кровати, села печальная на краешке.

— Нету Клавы, и не стучите, — сказала она уже назло себе и побоялась, что он уйдет.

Он уйдет! Повторяя эти слова, она натягивала юбку, шарила по полу руками, искала обувку. Он уйдет! Сердце так чувствовало, что он явится. Она спешила, толкнула дверь и стала, желая, чтобы ее сразу обняли. Мишка загораживал ей свет, она пригляделась, помолчала, и вдруг само собой вырвалось:

— Входи, раз пришел.

Впустив его, она щелкнула выключателем и сощурилась.

«Вот я какая, — застеснялась она. — Чо теперь делать буду?»

Посреди комнаты висела зыбка, в ней спал ребенок. Поближе к окну и занавеске, скрывавшей собою лавку и ведра, была маленькая кроватка, и на ней, подложив ладошки под щечку, спала четырехлетняя дочка. Слева был стол, справа у входа — деревянная кровать, сбоку — окно во двор, вдоль голых окон на улицу — две лавки. Пусто, чисто, одиноко.

«Дети, — подумал Мишка. — У нее дети».

— Присаживайся.

— Ничего, постою. Может, вырасту.

— И так вымахал, слава богу.

Он сел между окон на лавку. Клавдия внесла тряпку, вытерла следы от Мишкиных сапог.

— Натоптал я тебе, — извинился Мишка. Не годился он для ночных свиданий.

— Да ладно, теперь уж чо.

Она еще ни разу не взглянула на него. Вынесла тряпку в сени, проверила засов, вошла, прислонилась спиной к печке. О чем она думала?

В зыбке заплакал ребенок.

— А-а! — качнула она зыбку, повернулась спиной, склонилась и дала ребенку грудь.

«Зачем я пришел? — стеснялся Мишка. — До меня ли ей?»

Вскоре ребенок уснул. Клавдия опять притулилась к печке.

— Клав, можно попить?

— Попить?... Молоко будешь?

— Лучше воды.

— А может, молока?

Она принесла из сенок крынку молока, налила в кружку:

— Угощайся. Вечерошник. Хлеба дать?

— Не надо.

Она следила, как он пьет.

— Корова своя, что ль?

— Своя.

— А кто же сено на зиму готовит?

— Сама.

С улицы вдруг постучали.

Клавдия поспешно коснулась выключателя, бросилась к окну.

— Я к тебе.

— Чо такое?..

— У тебя нет, случаем, закваски? Вскипятила, заквасить нечем.

— Ой, ты знаешь, у меня было на донушке, я все пополоסקала и вылила. У Оньки не спрашивала?

— Когда она у нее была! Она вон, наверно, все еще в клубе, да и нету у нее. Ты подумай, какое дело! Я, главное, залила кастрюлю, вскипятила, а то не подумала, что закваски нет, рассчитывала на тебя...

— Мне бы не жалко, — сказала Клавдия.

— Вот наказание! — переживала женщина и слишком долго не уходила, мучила Мишку и Клавдию. — Ты чо свет потушила? Спать?

— Ага, пора уже...

— Пошла я тогда.

— Не жалко бы, но я не рассчитывала, что придешь, а то б оставила.

— Ладно, бог с ней.

Соседка ушла, стало легче, и к Мишке вернулось вечернее настроение. Клавдия не включала свет, ждала, пока соседка отойдет подальше. Во тьме они тревожно чувствовали друг друга. Они молчали и точно признавались и призывали к себе. И если бы заговорили, то о постороннем, ненужном, а молчание в темноте объясняло им все. Хотелось подступить к печке, где она стоит, смутившись, осмелиться и шепотом объяснить. Она тихо-тихо стронулась с места и пошла к нему, смутно белея лицом, задела его, он протянул руку к ее талии, и... она зажгла свет, сожмурилась. Обоим стало неловко. Сразу куда-то делись нежные полуночные мысли, и Мишка, выручая себя и ее, сказал:

— Ты с сестрой живешь?

— Угу, — поежилась она и накинула на плечи шерстяной платок.

— Замерзла?

— Холодновато чо-то.

«Давай погрею», — сказал бы Гошка.

— С вечера подбросила, думала, хватит. Мороз ударяет, не сегодня-завтра снегу выпадет. Оно и лучше, а то эта грязь, к корове не подступишься. Я еще говорила ей, — вспомнила она о сестре, — одевайся потеплей, мое вон пальто возьми, хоть и старенькое, а все ж лучше. Не-ет, поехала форсить. Замуж собралась.

Мишка глянул в окно. За облаками текла луна, тишина держалась над улицей, и по огородам, и к лесу. Завтра они встанут чуть свет, попрыгают в кузов, завернутся в одеяла, согреются песнями — и все, больше не быть ему здесь.



— Кла-ав! — близко под окном закричала женщина. — К тебе можно?

— Ой, Оньк, — подбежала Клавдия и выключила свет. — Ты чо?

— Так, делать мне нечего. Не знаю, куда прислониться. Чо свет-то потушила, кого скрываешь?

— Нимало. Спать буду.

— Смотри у меня. Мишку не видала?

— Нет. А чо?

— Ничо. Спрашиваешь еще!

— Ну не знаю я вашего дела.

— Чо ты злишься-то?

— Ничо я не злюсь. Спать хочу.

— С этих пор-то? Открой, я посижу, хоть на карты скину.

— Ой, Онька, иди уже. Ей-богу, спать охота, только ребятишек уложила, побудим опять. Иди — завтра.

— Куда идти-то? Куда идти? Матери я не видела, что ль? Ох, зараза, — выругалась она, — тошно так, кто б сжалился! Прямо не знаю, чо б с собой сделала!

— Да чо это ты так?

— Та-ак. Когда студенты уезжают?

— Завтра, говорили. А чо?

— Ничо. Пойду, там бабы в комнатухе капусту режут. А поют — плакать хочется. Прямо бы сейчас выпила да поплакала. Ты тоже... подруга называется...

— Чо я тебе?

— Ничо. Спи уже, чо с тебя возьмешь.

Еще раз, пока женщины переговаривались через стекло, Мишку застал стыд: будто вместе с Клавдией скрывал сейчас что-то неприличное, воровское. Но, едва Онька умолкла и ушла, им завладело старое чувство. Долго и напряженно сидели они в темноте.

— Может, мне уйти? — сказал Мишка, когда она вновь зажгла свет.

— Сиди, теперь уж чо. Не мешаешь.

— Карты все? — спросил Мишка, заметив на подоконнике потрепанную колоду. — Кто это у вас играет?

— Онькины. Ворожит иногда. Хотела ж сегодня поворожить, да...

Они взглянули друг на друга.

— Раздать? Или погадай мне...

— Сядь от окошка подальше. Я не умею, забыла, какая карта к чему.

— Вдвоем что-нибудь пойдем.

— Ты какой? — глянула она на его волосы. — Бубновый, — и положила короля на середину стола. Мишка снял плащ и подсунулся к ней.

— Тридцать шесть картей, четырех мастей, — начала она шепотом, — скажите всю правду. Чо на сердце бубнового короля, чо у него в тайности... Переживаешь ты о своей сердечности... Неприятности будут. — Мишка глядел на ее руки, губы. — Надеешься на червенный разговор, на встречу с червенной дамой в чужом доме... Чо-то злишься страшно. Ты злой небось? Но тут замешана еще одна дама. Вот она. Вот





возле короля лежит. Дела не будет, король хоть и рядом лежит, близко к сердцу, а повернулся в другую сторону, видишь куда? Так... чо ж еще? Как бы не соврать, гадать-то не умею, а врать не могу. Для короля... Не пойму... Для дома... Для дома свидание и еще чо-то, чо-то такое... в общем, хватит и этого, — засмеялась она и дрогнула губами. — Для сердца... Переживаешь, а чо переживаешь? Чо ты переживаешь?

— Разве видно по мне?

— Картам все видно.

— А тебе?

— Мне, что ль? — растерялась она. — Мне больше всех видно.

Мишка любил ее в эту минуту нетерпеливо и грустно. Она гадала, шевелила пальцами карты и плохо соображала, потому что свои мысли перебивали то, что выпадало в гадании. Мишка слушал, и тоже плохо запоминал, и горячел, особенно в тех случаях, если карты намекали на что-то о них, о нем и о ней, и оба уже не могли вести себя просто, вынуждали себя к пустым словам, душа же просила иного.

— Теперь на себя, — сказал Мишка.

Себе она гадала без интереса. Скинула бубновую девятку и усмехнулась, закрыла губы рукой.

— Нагадала!

— Ну-ну...

— Крупный разговор через бубновую постель... — выскочило у нее, и она вроде извинилась с опозданием: — Девятка бубновая — постель. Дальше чо-то выпадает неинтересное, неизвестно, чо к чему. Хм... У порога бубновый король.

«Я», — подумал Мишка.

— Со своим разговором. Но разговор такой... не... через этот разговор предстоит удар червенной даме. Ну а эта дама — я, значит, — призналась она, — надеется на какую-то любовь. — Она придвинулась и коснулась его плечом. — Но это принесет ей только обман и страшные хлопоты. Для дамы, для дома, для сердца, что было, что будет, чем сердце успокоится... Для сердца... А для сердца мне ой как хорошо, подумай-ка, хм, предстоит неожиданный интерес от благородного короля.

«От меня, значит», — сказал себе Мишка.

— Хорошо выпало для сердца. У-у, да со своими наде-е-еждами, со своими желаниями, со своей любо-овью...

Мишка осторожно протянул руку, привлек ее к себе, поцеловал. Задыхаясь, они сразу разнялись; она вздохнула и стала печальна. Молчала. Он еще раз поцеловал ее и целовал долго, но неумело, и тогда она обняла его и поцеловала сама — ненасытно и благодарно. Комната светлела, на дворе пошел снег. Зима!

— Зима, — сказал Мишка.

— Смотри-ко, правда — зима.

— Сядь поближе.

— Я возле тебя.

— Сядь вот так... Клав... Чьи это дети?

— Мои.

— Ты такая молодая.

— Молодая, да ранняя. Двадцать три года — мало? Тебе сколько?

— Девятнадцать. На днях девятнадцать.

— Ого! Ба-атюшки! — шепотом воскликнула она и отодвинулась. — На четыре года, ого! Совсем мальчик, ой-ей! С у-ума сойти...

Они разбудили ребенка.

— Ма-ам! — заплакала девочка.

— Чо, чо? — соскочила Клава. — Холодно? На двор?

— Я боюсь одна. Иди рядом.

— Спи, сейчас мама придет к тебе.

— С кем ты разговариваешь? С тетей Оней?

— С тетей Оней, деточка, с тетей Оней. Спи, спи, родненькая. Завтра на санках покатаю.

— Молочка хочу.

— Молочка тебе? Сейчас. — Принесла из сеней молоко, налила в кружку, и девочка пила, чмокала, потом утихла и заснула.

Она пришла, села возле Мишки, сама обняла его и положила голову ему на плечо. Мишка нежно целовал ее. Он целовал и думал, что все-таки ему надо уйти. Было грустно оттого, что он завтра уезжает.

— Какой ты... — прошептала она. — Век бы так сидела.

Опять со двора кто-то громко застучал в окно.

— Тихо, — встревожилась Клавдия. — Пусть думают — сплю.

Стук повторился, и уже настойчиво, грозно — ладошкой.

— Кто это может быть? — спросил Мишка.

— Есть тут такие. Дома не сидится, шастают по чужим дворам.

На этот раз с дрожью забила дверь в сенях, и Клавдия перепугалась — как бы не сломали.

— Вот человек! Убила бы! — заругалась она. — Чо хочут, то и делают, знают, что некому заступиться.

— Клавка! — звал уже под окнами мужской голос. — Чо, оглохла? Не притворяйся, открой! Открой, чо ли! Слышь? Откроешь? Последний раз говорю, откроешь?

Ненадолго установилось молчание.

— А-а! Ну, все! Ну, зараза, сейчас! Все равно ворвусь, раму высажу.

— Гошка, ты чо, ты чо это? — закричала она. — Ты чо это выдумал? Я уже сплю, чо ты приперся? Напился! Где напился, туда и ступай.

— Ты меня не посылай!

— И ты ко мне не лезь! Назнал, детей побудишь, сдурел, чо ли?

— Клавка! Забыла, да?

— Иди ты, Гошка! Иди, а то завтра мало не будет! Я скажу где следует. Кому это понравится — ночью, под окнами?

— Чо это тебе вдруг не понравилось? Откроешь, нет?

Он замолк, потом дверь опять заскрипела. Гошка колотил кулаками, пробовал снять с петель, ругался, иногда звал: «Клав... ну, Клав... чо ты?»

— Ой, мамочки, — прижалась она к Мишке, — не знаешь, куда и деться. Как хорошо было... Пришел... Просили его!

Гошка ломился.



— Придется впустить, — сказал Мишка и решился: драться так драться.

Клавдия накинула на плечи фуфайку, зажгла свет и вышла в сени.

— Чо ты? — сказала она бессильным, виновным голосом.

Уговаривала она его минут десять, не открывала. Что за секреты были у них?

Гошка все-таки ушел.

Она подсела к Мишке, вздохнула.

— Что такое?

— Не дай бог, уж и не рада, чо ты пришел. Стыдно. Да ладно, теперь уж все равно, нечего жалеть. Вот, скажешь завтра, Клавка позарилась на молодого. Правда?

— Ты удивилась, что я сегодня пришел?

— Думаешь, мы мало замечаем? Да, жалко. Целый месяц ходили мимо. Сижу с тобой, будто я и не мать двоих детей. На четыре года, на четыре года! — изумилась она. — Ой-ей, вот отколола я номер, ну хоть бы на два! Чо тогда в сенках стоял и не вошел?

— Гошка сидел с тобой.

— Нимало. Я его выгнала следом за всеми. Охмелела, вышла во двор, потом до Оньки дошла — думаю, постучать, нет? Хоть поговорим. И не стала. Гляжу, Коля ее из ворот тащится, злой — не пустила, видать. Я раньше, как сестра дома, часто к ней ночевать бегала. Или она ко мне. Чо у тебя глаза блестят? Ой! — опять удивилась Клавдия. — И на четыре года, на четыре года...

Она припала к нему теплыми цепкими губами, обвила его шею, стала совсем дорогой, чуткой, своей. И было бы все, как мечтал он месяц назад, бредя за ней по лесу: выбегала бы она в сени, легкая, заждавшаяся, вся своя, вела бы к себе, и никого им бы не надо. Было бы, если бы он завтра не уезжал.

— Расскажи, как ты жила здесь.

— Чо рассказывать... Как все, так и я. Ну, может, не как все, а... как тебе и рассказать... Да ничего интересного!

Внезапно они умолкли, только иногда Мишка шептал: «Дай губы», «Тебе хорошо?»; она слабо отвечала: «Да, да...», но с этих минут ему не верилось; она как-то остыла, взгрустнула, сказала ему: «Тебе девки нужны», встала и как бы забыла о нем — принесла из сеней молока, потянулась и вспомнила, что ей завтра гнать скот на убой в Северное.

— Позавтракаем, чо ли. Я проголодалась.

А Мишка сперва обиделся, не прислушался к ее словам о заботах. Она все еще виделась ему такой, как в первые дни, когда он шел за ней из лесу. Он уедет, думалось ему, и она останется в этой комнате, в своем Ургуле, подоит корову, накормит детей и куда-то пойдет, о чем-то вспомнит, и мелькнет один день, потом другой, потом неделя, месяц, год, и будут всходить травы, осыпаться лес, начнет стыло белеть зима, и придут ночи, когда свет льется на пол, озаряя комнату, и эта ночь — какая ночь! — скоро померкнет для нее, сомкнется с другими, тогда как Мишке не забыть ее никогда. Такой и запомнится ему осень — с окошками, со стуком, со взглядами, с мальчишескими чувствами к одиноким чалдонкам.



«На четыре года, на четыре года...» — вспомнил он.

Клавдия хотела спать.

— Скоро светать начнет, — сказала она.

Летел белый-белый снег, блестел, покрывал двор.

В комнату проникал рассвет.

Они попили молока, и Мишка, прислонившись к ней на лавке, незаметно уснул. Он дремал и видел сон, будто он дома, лежит неловко в постели и ощущает лицом что-то материнское, как в раннем детстве, когда он не засыпал, пока не положит матери руку на грудь. Очнулся и вздрогнул: нет, он в чужом доме, пришел вечером, гадали на картах, сидели, и он заснул, и сейчас на дворе утро, снег.

— Пора мне, — сказал он при белом свете окон.

— Иди, соседи увидят.

Мишка посмотрел на нее, прощаясь с ней навсегда. Останься он теперь на месяц в Ургуле, ничего бы не сбылось: напрасно бы он крался к ее окну, она не выскочила бы в сени и не шептала ему что-то по-бабьи простое. Он не обижался на Клавдию. Он просто чувствовал себя перед ней очень маленьким.

Зима ждала его на дворе. Он грустно распрямился на воздухе, прохрустел сапогами по снежному двору, в последний раз прощаясь, запоминая округу. Ему все еще казалось, что она провожает его взглядом в окно. Ему так хотелось. Оглянулся: да нет, только послышался крик ребенка в комнате, и никто ему не помахал.

Он и не мог увидеть ее — Клавдия к тому времени успокаивала дочку и не думала уже о том, что женской тоской наваливалось на нее вчера перед сном и что волновало ее, когда гадала на картах и потом целовались. Нет, не до того ей было. К утру опять она отрезвела, опомнилась, что уже не девочка она, не полуночица, не Онька. Конечно, ему хорошо было с ней, и он бы наслаждался сладким шепотом бесконечно, но она-то помнила, как бывает днем, когда никого нет рядом. Она знала, что остается одна и Мишка ничем ей не поможет. Другого бы она спровадила, не стесняясь, а его побаловала — уж очень ласково он глядел на нее. Наконец он поднялся, намерился трогательно проститься — и все понял, смутился и скоро вышел. Она, как только он хлопнул в сенцах дверью, глянула от печки в окно — проверить, не увидал ли его кто в такой ранний час во дворе. Переждала с полчаса и взялась топить печь для ребят, потом вышла доить корову. Управилась, привалилась к подушке и забылась и так бы проспала все на свете, если бы не растолкала Онька.

— Чо нежишься? — ухмылялась Онька. — Проводила своего?

— Кого? — насильно притворилась Клавдия.

— Не придурайся — видела. В плаще кто был? Дед Еремей, чо ли?

— Нимало.

— Еще и нимало.

Клавдия покраснела, перекинулась на другой бок. «Чо б соврать ей? — хитрила она. — Ну куда от нее не денешься».

Онька трясла ее за плечо:

— Покраснела? Стыдно? Все Оньку ругаете, а сами...

— Да он посидел и ушел.

- Ну дак! — разыгрывала Онька. — Посидел, конечно. Как братик.
- Они ж сегодня уезжают, приходил утром прощаться.
- Вот интересно: за мной ухаживал, с тобой прощается.
- Врешь, поди. Когда он там ухаживал?
- Ха-ха! — упала к ней на грудь Онька. — Не веришь?
- Детей с ними крестить, чо ли?
- Тебе, я знаю, хозяина бы, самостоятельного.
- А как же. О жизни надо думать.
- А я ласку люблю.

— Ну и люби, — сказала Клавдия. Откуда что приходит: теперь она вспомнила себя в те минуты, когда открывала ему дверь. Как ей хотелось того же, что и Оньке! Скакать по ночам, прятаться — до поры.

— Скажи, — обняла Онька подругу, — скажи, Мишка был? Я не видела, разыграла.

— Отстань, никакого Мишки не было. Ему девки нужны. Да чего мы об этом, мало нам других разговоров! Они о губах только и думают, — вредничала Клавдия, а сама была немножко довольна.

- Оно так и лучше, — сказала Онька.
- Вам только бы звезды хватать...
- Звезды! Мне вон сейчас скот гнать. Ты, я да Колька. Одевайся.
- Куда я девчонок дену?
- К матери моей.

Они скоренько разогрели вчерашний суп, покормили и отнесли детишек, встретили Колю и через полчаса погнали скот в Северное.

Студенты выехали в восемь.

За деревней ехали по лесу долго, целый час, потом открылись снежные поля. На востоке краснело сквозь морозную дымку солнце. Мишка ютился теперь в углу, у кабины, одеялом не укрывался. Нина его ненавидела. Он молча смотрел на пропадающую в метели дорогу. Вскоре машина обогнала стадо телят, и Мишка увидел сбоку закутанную Оньку с палкой в руке и Колю Агаркова верхом на лошади. Уступив дорогу, стояла в снегу невысокая Клавдия, тоже с палкой.

— Э-э! — опознали их студенты, помахали и разом обернулись к Мишке, ехидно показывая, как много им стало известно.

Онька рассеянно глянула вслед, вскинула руку и долго-долго держала ее, прощаясь и не ведая, что над нею смеются. Клавдия стояла отвернувшись и, наконец, скрылась. Время уносило его от них. Деревня, осень, вечера и знакомые лица — все становилось воспоминанием, и чем дальше отъезжали они, тем сильнее было оно. Опять думалось о поэзии полей, дальних мест, об окошках, запахе в сенках и голосах в тишине, опять представлялась ему Клавдия, но не в снегу, на холоде, а на лавке возле окна, Клавдия, та Клавдия, которую он и позже вспомнит не раз, и совсем уже близко будет думать о первом снеге, пурге, о том, как удалась машина, как было холодно и как он не придавал тогда значения тому, что женщинам холодно, и чему-то еще непременно, тому, что и для него со временем станет не мечтами, а жизнью.



## II. Коврик под ноги

И сроки, — говорили в старину, — попросили, долгие сроки, целых полвека, и затянулась ряскою память, «стихло естество», потом вовсе потерялось чувство.

Издалека, из веков, подступят невзначай все мудрости, словами давнишними обовьется текучая жизнь твоя, книжные речения станут твоими, уже не услышишь в себе обещаний земных, женские лица не повлекут за собой... Но порою обомрет душа краткими мгновениями дальних дней...

На станции Барабинская сидел в пустом зале худенький старичок и что-то писал в тетрадке: отрывался на миг, сиротливо глядел на окно и, уловив в себе какую-то тайну, опять клонился к бумаге. Если бы кто-то подглядел из-за плеча, то узнал бы, что пишет старичок не что-нибудь обычное, а стихи и пока у него сложились всего две строчки:

Я не узнал ее на улице вечерней,  
Она же не посмела мне сказать...

Никто не мешал ему созерцать какую-то свою дальнюю жизнь.

Изредка объявляли о прибытии такого-то поезда, кто-нибудь возникал с улицы, пробегал через зал к дверям на перрон, поезд шумно протягивался за стеной, стоял и через несколько минут увозил кого-то дальше, оставлял после себя тоскливую пустоту. Старичок дожидался поезда в свою сторону, до полуночного прибытия его было еще много времени.

— Покарауйте, если не трудно... — попросил он милovidную даму, сидевшую чуть поодаль, посмотреть за его дорожной сумкой.

И вышел на темную сторону, ничего не узнал, не разбирался, где стоял когда-то барак, в котором он ночевал, и где небольшой пруд и автобусная остановка. И ему стало жалко себя, так постаревшего, потерявшего что-то...

Сто с лишним верст от Северного по ровной дороге не утомили его. Ни одна душа не ведала, где он сейчас, из какой глуши выбрался к станции и какими мыслями отягчен.

Но сам он с кем-то беседовал, кому-то рассказывал, будто исповедовался. И что-то записывал.

«Сижу, до поезда три часа, один в зале, кто-нибудь притащится с чемоданом, потомится — и к поезду, опять я один. Час назад отец с сыном встали со скамейки, в Анапу поехали... Еще одна дамочка, красивая такая, улыбка широкая, волосы по плечам, ко мне придвинулась, побоялась пьяных, зашли какие-то барабинские, я вроде надежный, и мы разговорились, она в Барабинске жила девочкой, отец офицер, в бараке деревянном жили, отца перевели, и она выросла, недалеко от моря укрепились, передачи по телевидению устраивает, а в Барабинск вспомнить себя приезжала, уж той, старой жизни нынче не вынесла бы, чужие страны повидала, из Парижа десять сортов пирожного привезла, полетала над морями и океанами, оттого, видно, и потянуло на минутку в скучную барабинскую степь, тетушку проведать, да подруг разыскать,





да позавидовать самой себе, как удалась судьба, здесь бы чего такого она увидела, бараки-то так и стоят, и скука. Каинск рядом, но его стариной сыт не будешь...

А я как раз из глуши еду, купил в Северном книжку “История погибших деревень”, читаю и горюю, хоть сам всю жизнь городской... И она попрощалась со мной, пошла, такая пава, рослая, стройная, счастливая, уже там где-то ее ждут и будут любить, ласкать, оглянулась, будто пожалела меня, оставленного в дыре ждать-поджидать, я ей кое-что про себя рассказал...

Я у болот побыл и не жалею, буду теперь до конца дней вспоминать себя в Северном, в Остяцке, в Ургуле, буду жалеть тех, кто живет там на краю, у леса, там, где музыка не зовет на танцы у моря, а где медведь может задрать корову, уж не раз тут в зале повернулся в ту сторону, откуда ехал, опять подивился, как люди далеко живут...»

В некий миг он грустно засыпал, вдруг вздрагивал и просыпался испуганно, раскрывал то тетрадку, то книжку про погибшие деревни.

Болота, березовые околки, сиротливые деревеньки, неведомые леса, какое-то другое, одинокое небо.

«А я люблю болото, — писала таинственная женщина. И писала она про то место, где он был. — Из дальнего детства осталось в памяти: за огородом располагалось небольшое болотце, и в нем по весне просыпалась жизнь. Таял снег, заливалась темной водой и окрестная низинка, и густые кустарники, которые мы называли сиренью. Под весенним солнцем она распускала по ветру нежность и аромат розового цветения. Жаркие солнечные цветы в одно прекрасное время вдруг, словно светлым венцом, окружали болотце».

«А я люблю болото, — повторял он слова незнакомки, — даже люблю за слова о болоте и саму незнакомку».

Он легко вставал и прохаживался по залу из конца в конец, тихий, какой-то без вины виноватый. Книжку он держал на коленях, перелистывал, обсуждая долгую свою жизнь в городе и деревенскую, упокоившуюся в словах. Кажется, побывал бы везде: в деревнях Горемычке (соседней с Остячком), Иче, Межовке, Зверевке, Томиловке, где всюду растет только трава и не застанешь живой души.

А вот и наш старенький дом.  
Нет стекол и рам,  
И с петель двери сняты.  
Никто нас здесь больше не ждет.  
А там, где играли с подружкой Катей,  
Польнь да крапива растет.

Зачем исчезает время, дома, деревни, переменяются вокзалы, в которых мы ожидали отправки?

Сколько поездов прошло за полвека через эту станцию! Сколько судеб застревало на мгновение у касс, на скамейках, на перроне!

«Тут как-то и я показался на один миг... Где была раньше камера хранения с железными ящичками? Старый вокзал (длинное деревянное



здание) разрушили, теперь весь он под стеклом и со скользкими полами. В старом было бы как-то роднее».

Теперь, через полвека, М. точно очнулся после долгой забывчивости и ему улетевший в небытие день, когда уезжали в колхоз, шумно прибыли на эту станцию и ждали машин в Северное, казался дороже всех несметных дней поздних.

Тогда все было далеко и деревня, в которую их привезли к ночи, предстала несусветной окраиной. Там сразу же поразило его, как легко разносились в полной деревенской тишине женские голоса... Все было новым, тайно чарующим: лес поблизости, страшноватая темнота на окoliце, поворот на деревню Ургуль, прямая дорога в Остяцк. Их в Остяцк не довезли, а разместили у дороги в длинном амбаре. Ночь холодная, грозная, чужая.

«А был я так робок... — опять докладывал М. кому-то неведомому. — Держался среди колхозниц пристыженно, тихо. И хотелось кого-то полюбить. Это с годами забылось. Да и было ли это на самом деле? Я ли мечтал о деревне, о сенокосах, о разных дородных пахучих девчонках? Я ли сидел где-то тут, в этом пространстве, и не знал еще ни женских тайн, ни разлук, не видел ни Москвы, ни Афин, не прочитал еще ни “Митину любовь”, ни “Анну Каренину”, ни “Даму с собачкой”?»

Странно было, что деревни Ургуль и Остяцк стояли на тех же местах нерушимые, словно поджидали его столько лет. Он попросил остановиться перед табличкой с названием, чуть ли не поздоровался со столбиком. Так же тихо кругом, те же вроде куры гнули головки к земле, и свиньи те же лежат в канавках, и птицы протянулись призраком над огородами те же, что и полвека назад. Все как во сне и все всамделишное. За полвека-то тут скопилось столько историй, столько рождений и смертей, столько слов, криков, песен и плачей погасло, встреч и проводов состоялось и много такого, о чем никому не рассказывают, затаилось во дворах, на улицах, у околицы. И где же те голосистые молодницы, женщины с покоса на поляне, в кругу берез, поварихи, кормившие их вкусной картошкой с мясом, гармонист на танцах в клубе? Живы ли еще? Узнать ли их? Мысли невинно плодились и гасли, но настроение, певучесть мгновений завладела душой, и он с таким одиноким чувством пробыл в клубе, где студенты записывали на магнитофон песни стариков, в столовой, где их кормили девчата.

Вечером созвали для гостей женский хор. Вышли как-то принужденно пожилые и две-три любительницы помоложе, запели, покачиваясь, у каждой свисали с левой руки нежные платочки, пели и, казалось, думали, что бросили во дворе свое хозяйство, принарядились, сошлись с разных концов деревни, послушайте нас, мы попоем, кто потом побежит корову доить, кто внучку в зыбке качать, кто мужа кормить. М. вглядывался в каждую: может, эта? или что справа, круглолицая? Одна, полная и выскокая, даже напомнила ему языкастую Оньку, разок-другой мелькнула на него взглядом, как будто даже сердито. А та, в середке, не Клавка ли?

Запели «Услышь меня, хорошая», и что-то вздрогнуло печалью, утратою лет, воскресла та же мелодия в ту далекую пору, когда еще толь-



ко мечталось о хорошей и красивой, о единственной, когда не знали, чем кончится первое любовное счастье. То время было такое простое, некуражливое. От женского хорового строя отделилась та полная и высокая певица, что напоминала Оньку, подождала минутку и объявила:

— А сейчас послушайте стихи Похлебина из другой деревни...

Старый дом. Залавок. Печка.  
 Паутинка на стене.  
 И лежит огарок свечки  
 Под божницей на столе.  
 Потолочек. Табуретка.  
 И осколками окно.  
 Волей ветра бьется ветка  
 В безответное стекло.  
 Дверь без ручки. Стол. Посуда.  
 Где порядок и уют?  
 Дом надеется на чудо —  
 Вдруг хозяева придут?  
 Голосов родных не слышно  
 В этом доме много лет.  
 Так сложилось, так уж вышло —  
 Брошен дом, надежды нет.  
 Здесь была деревня. Речка  
 Тут кружилась широко,  
 В конце жизни скоротечной  
 Все, что близко, — далеко.

И чтица виновато кивнула, повернулась и робко стала между подружек, и тут же хор запел былую сибирскую песню, которую никогда нигде не исполняли.

О потерянных окрестных деревнях говорили во время ужина, который устроили гостям хозяева деревни. М. присматривался к женщинам, все хотелось ему, чтобы случилось чудо: кто-то напомнил старое. На ужине ставила перед ним тарелку с ухой тоненькая тростиночка в платке, того же, видимо, возраста, что и он, ставила как-то прислужливо, охотно, заглядывала сбоку и, отступая, шепотом промолвила:

— Что-то знакомое. Не вы на гармошке играли, когда студентов привозили на уборочную?

На гармошке он не играл сроду. Неужели через столько лет и она колышет что-то свое, не забыла какого-то студента с гармошкой? Обманувшись, она все же к концу ужина подседа к нему, допытывалась насчет его жизни и сама про себя рассказала вдоволь, в конце концов тоскливо положила свою руку на его острое плечо и со вздохом прикончила:

— Жалко, что уезжаете. У меня и баня хоть куда.

Чувство его заколебалось, он одною рукой дотронулся до ее пояса, а другую приложил к своей груди и вроде с благодарностью сказал потихоньку:

— Рад бы, да... всему свой срок...

А вокруг шумели, появлялись новые люди, присаживались, выпивали и закусывали, горячо разговаривали:

— Разве нонче заманишь селиться в урман? В Максютке было два двора, а в Тунгуске пять. И жили. Забирались в самую даль, к Васюганью. Теперь не узнаешь, как и почему. Новоелизарово аж с 1776 года стоит. Русские. Поселились и жили. Уж после до полтыщи доходило их. А потом так же кулачили, как всех. И до шестидесятых годов достояла деревня, и разъехались кто куда. Потюканово — большая деревня была, на бойком месте, а и она распалась. Жили... ох. Катали валенки, шили сапоги, делали сани, деревянные ложки, гнали деготь. Кого теперь заставишь? Аул-Сургут аж при Пушкине основали, Ермак разбил татар, вот и сорганизовались. Осталось два двора. Да стихи про это. А Зверевка, а Горемычка... Рассказывали деды, первую ночь под дождем спали, мыкали горе — так и назвали место. Корчевали лес, усадьбы — до гектара... Усть-Ургулька тоже старая. «У порога устья Ургуля ты возникла, родина моя...» Или читаю в газете: «Платоновка была большой красивой деревней». Была! Весной вся в запахе черемухи. А кержаки жили в Фотинке. От села Образцова остались только ели, которые переселенцы посадили, когда пришли.

— А жили-то, а жили... — говорил другой, перегибаясь через стол. — Вон из нашей деревни (и «Советская Сибирь» об этом писала), из нашей деревни, царство ей небесное, в Каинск семена возили, дак теперь-то не заставишь, по трое суток туда-назад по грязи-то, и у нас возникшей Алёша Усов был. О-о, какой человек, таких уже нет. Да что случилось, слышь. Он по льду погнал на водопой коней. Да, погнал по льду. Старые кони напились в проруби-то, за ними жеребята туда же, да самого маленького вороночка столкнули. Он и забился коленками об лед, забился-то, а как вскочить? Алёша кинулся, за шею ухватил да потянул на лед-то, а сил нету вороночка перевалить. О-о, мамочка моя, силенок-то нет, вороночек бултыхнулся с кромки... да около часу, несчастный, тыкался, тыкался носом об лед, ржал маленький вороночек-то, ржал, бедненький, а Алёша обмерз, чем помочь, как? И вороненка утянуло. И так он плакал, Алёша, так он заливался в конторе, так голосил у проруби и дома. А теперь поят бензином, жалеть нечего...

Между тем вечер разгорался, стали уговаривать М. не спешить со студентами в Северное («завтра мы вас отвезем»), гости в сторонке сдружились с остяцкими за тостами да разговорами, а потом и песнями, кто-то уже звал на утреннюю рыбалку, и стало ясно, что придется в Остяцке заночевать. Душа подобрела, все вокруг оказалось ласковым, сговорчивым, женщины хлопотали за столами с улыбками, хористки еще попели после рюмочки-другой на стульях, рядышком (хоть ухаживай) — куда ехать? зачем? М. весь вечер думал о давнишней осени, покалывал вилкой жареное мясо, подливал клюквенную домашнюю водочку и довольно улыбался, что-то бормотал. Он никак не мог на смелиться спросить у хористок об Оньке и Клавдии. Живы ли они, здесь ли? Тайна эта висела над столом.

Он выходил на крыльцо; хмель растекался в душе грустью, легким вздохом о длинной жизни, воспоминанием о таком, может, вечере здесь



же, в Остяцке, когда шли с танцев в каком-то низеньком клубе. Кто-то выскакивал из столовой, на минутку прятались за угол по своей надобности студентки, на улице крикнула на корову женщина, опять запели за столами, а он спустился с крыльца и незаметно очутился на краю деревни, прошел и не знал, что прошел мимо места, где был тот клуб, мимо дома Оньки с крашеным палисадником, придержался у поворота к лесу.

Он имел привычку взывать в какие-то мгновения к своему закадычному другу, делиться с ним своими тонкими минутами тоски или радости.

«А знаешь, я со студентами попал туда, где мы были в молодости на уборочной и где я, такой молоденький, размечтался кого-нибудь полюбить... В мечте и была вся музыка... И нынче мы записывали предания в других деревнях и напоследок завернули в Остяцк... Никому и невдомек, что для меня вся деревня, женские голоса, кривая, как и тогда, речка Тара с заросшими берегами, наступающая ночь и все, все окрашено мелодией легкого страдающего чувства... Это было давно, это было в совершенно иное время... Ты-то помнишь. И вот жил и жил я, жена, дети, внуки, другая жена, третья... А какая-то легенда осталась, и два женских имени почему-то запомнились... С тобой же мы как-то хотели придумать повесть для кино... Порою я тосковал по Остяцку, мимо станции Барабинск проезжал с трепетом, выглядывал окрестности, воображал что-то воздушное... И вот увидел я табличку “Остяцк”, речку Тару, длинный амбар, где мы всем табором стояли, поговорил, послушал песни... Но музыка в душе печальная: жизнь прошла!»

Он тихо вернулся.

— А мы уже искать вас думали, — сказала все та же тонкая, как тростиночка, женщина, он еще издали заметил, что она стоит на крыльце и ждет. — Затосковали, поди? К ночи гулять ушли.

— Что толку тосковать? От тоски моложе не станешь. Мне вдруг захотелось кого-то увидеть из тех девчат.

— Девчатам-то о-го-го сколько. А кого? Кого помните? Вы давеча называли Оньку. Она тут рядом. Сбоку библиотеки. Кончится, уберем со столов — и свожу. В чем дело? И свожу молодого человека к девке... Успеет...

И она подпихнула его к порогу, как своя, утешила его бабьим сочувствием.

— Чего-то не хватает... — сказал он убравшей со стола женщине.

— Чего?

— Все помоложе тех, кто тогда приходил на танцы.

— Дак они по избам сидят.

— Вот их и не хватает... Повспоминать молодость...

А уже поднимались от столов последние, расходились, но две, хорошо выпившие, оплакивали свои деревни, которых не стало лет десять назад, и тот, что был из Тахтаметьева, ругал почем свет власти и грозил кулаком.

— Марфа Петровна последней уехала в Чебаки. И один только памятник торчит сиротой. В честь дружины Ермака. А организовалось село,



страшно подумать... в 1658 году. Скажи мне, кто был царем в 1658 году? И я не скажу. Ну, не Пётр Первый, нет, не Пётр. А деревня уже была.

Деревенька моя  
Средь лесов затерялась,  
Ни дорог, ни домов,  
Только имя осталось...

Он вытянулся во весь рост, мстительно и горько указывая пальцем на виновных, которые где-то жили нераскаянные, плачущим хмельным голосом поминал свою детскую сторонку:

Но никак не смирюсь —  
В моих снах (и частенько)  
Я назад оглянусь —  
Оживет деревенька...  
Слышу, как петухи  
Переключку заводят,  
Вижу, как пастухи  
Стадо с пастбища гонят.  
За рекой, за мостом  
Отыщу робким взглядом,  
Я в родительский дом  
Поспешу легким шагом.  
На столе пироги —  
Это мамины яства.  
Как они дороги!  
Отдала б все богатства!

— Э-э... сейчас... А!

Соберемся на ужин,  
Даже тех, кого нет,  
Я живыми увижу...

— Забыл...

— Не надо плакать... — сказала тоненькая женщина, подававшая к столу. — Все равно не вернешь...

— В 1658 году... Это ж только подумать!

«И знаешь еще что... — договаривал М. другу вдаль. — Захотелось все эти ранние дни пережить еще раз... Зачем мне старость? Тогда здесь все-все были моложе, увидеть бы кого сейчас...»

Женщины потихоньку собирали со столов посуду, а на отдельный стол снесли уцелевшую закуску, графинчики, бутылки, стаканы, и там-то стеснились четыре певуньи, что-то друг другу досказывали, а когда М. хмельно пожалел времена тяжелые, выпил «за родителей и дедов покойных, переживших столько, что нам и не снилось», женщины заговорили по очереди:

— Оно понять нонешним, как деревня сидела без света. Строгали лучину. Мама работала на ферме, я присматривала за младшими, учебу

бросила. Это во время войны. Осот выше меня, не выдернуть. А дрова возили на своей коровке. Оставим ее на дороге, мама дорогу к дереву протопчет, тогда иду я.

— Валяли, мяли валенки. До самого Берлина дошли в этих валенках.

— Наша бабушка люльку через плечо — с грудным ребенком через тайгу ходила в Каевку.

— И как-то же всё перенесли. Подумай-ка. Сами всё делали. Пряли шерсть, вязали чулки, шали, свитера. А перепрясть лен, соткать холст, пошить рубашки? Зимой вечера длинные, лучинка светит, самопрялка жу-жу, жужжит и жужжит до утра. Ягодой питались. Черемуху таскали ведрами, сушили в русской печке, зимой мололи. Места красивые, вода в речке светлая, в ней пескари. И война закончилась, а легче не стало: пахали да косили. Давайте лучше споем...

Потом он рассказывал другу:

— Они пели, а я все подливал себе в стакан, разнежился, я такой с молодости, я и без вина взлетал помечтать, а выпью — мне вовсе чудно. Они пели, а я как-то жалел их всех: живут в затерянном углу, как будто брошенные всем миром, но на самом деле — это только мне и казалось, они привыкли, а я залетный, погрузился, когда ходил на конец деревни, в молодость, себя вспомнил, девчонок тех... И говорю тростиночке (я ее стал к концу вечера громко «тростиночкой» окликать): «Сведите меня к Оньке, что ли...» А уже ночь, темно, деревня во тьме еще древнее, какой-то особой тайной окутана... И эти мои воспоминания, эта моя рана какая-то открывшаяся — что жизнь пролетела, я совсем один, бывших жен помнить не хочу, а в этой деревне, да и в другой, возле Тары, и у длинного амбара осталось что-то чистое, чудное, невинное, что, казалось, одно и существует на свете, и никаких печалей и досад не будет...

И мы пошли. Я что-то говорю, говорю, она рядом молчит, угождает мне тем, что согласилась проводить к Оньке. Ну Онька-то, что она мне, если на то пошло, имя ее только и прельщало меня, если вспоминалась та осень, я уж все позабыл... А она жила и жила тут среди этих изб, горбатилась на ферме, на покосах, дома с коровой, овечками, уезжала в Северное, вернулась, а моя жизнь где-то там скиталась, никто меня в Остяцке, в Ургуле и не вспоминал, мало ли что под звездами бывает на минутку, студентов каждую осень привозили на уборку и в том же амбаре у дороги размещали... А как это здорово, как хорошо быть молодым, не обремененным тягестями судьбы, у тебя еще не завелось обязательств, не навесил на шею хомут, чувству просторно, и ждешь только радости.

И я иду, не думаю, а чувствую все, чувствую само время жизни...

Она жила на главной улице... Постучали. Уже в сенях я шел по круглым коврикам, связанным хозяйкою. В комнатах их было еще больше. И так чисто-чисто в уголках, постель устлана ровно, подушки под тюлевыми накидками, этажами, немой телевизор вместо хрупкого скворчащего репродуктора тех баснословных далей, когда она была молодая и, кроме радио, деревня ничего не знала, даже свет не везде, в Ургуле без света жили... «Здравствуйте... можно побеспокоить? Ковриками богаты,

вот мы и пришли...» — «Кто вы такие?» — «Да заготовители, — сыграл я, — пушнину собираем да еще кой-чего». Она поняла, что шучу.

Ее, некогда взбалмошную, я узнал бы и на базаре в чужом городе, и на станции. Но уже степенная, тихая, задумчивая, домовитая. Полные губы, короткие брови, лицо крупное. В платке. Разве она когда-то задалась, резвилась вольным чувством, парней дразнила? Она не узнала меня или не хотела узнавать — поди разберись через столько лет, а я как-то не посмел спрашивать: помните, мол, студенты приезжали в колхоз осенью? Почему-то подумалось, что она смутится, зачем ворошить молодость, зачем какие-то ранние глупости... «Клавдию-то, подругу свою, давно не видели?» — спросил. — «Она уехала в Кольвань, там купила избу. Бывала, говорят, в Ургуле, но у нас в Остяжке ее не встречала. А зачем вам?»

И так протя-яжно посмотрела на меня, словно подозревала в чем-то тайном или наконец узнала меня. Но у обоих не возникло нужды падать в молодость. Только тростиночка улыбалась в сторонке. А я еще был окутан хмелем и коснулся ее толстой руки, сказал: «Вы же так поете... Подтяните мне...» И я запел песню Николая Палькина, а они с тростиночкой чуть слышно, а потом сильнее поддержали; Онька глядела себе под ноги.

На тропе, на тропинке, луной запорошенной,  
 Были встречи у нас горячи.  
 Не ходи, не ходи ты за мною, хороший мой,  
 И в окошко мое не стучи...

Больше ничего не было. Тревожить дальние дни не хотелось, повидались, и ладно. Коврик, такой красивый, она мне не отдала, просил продать, нет, потихоньку отказала, все в ноги себе смотрела. Тяжело встала, разогнулась, когда я откланивался, до плеча ее рукой дотронулся, громко поразился подушками на койке и из сеней, будто из музея, вышел во двор, сбоку возле сарая заваленный березовыми дровами. «На зиму хватит», — сказал я уже кому-то. Провожать нас Онька не вышла.

\* \* \*

Ночевать его устроили к старушке, горевавшей второй год без мужа. И у нее, как и у Оньки, в избе было нарядно, стены и печка сияли белым светом, на густо крашенных полах лежали дерюжки и вязаные круглые коврики с узорами. Перед сном показала она ему альбом с семейными и колхозными фотокарточками. Дочки и внуки на обороте карточек писали ласковые слова, порою даже стишки. Были изображения давних лет: лесные поляны с косарями, коровы с доярками, собрания в клубе.

— Это я такая... — наострила палец к личику молоденькой свиначки. — Это ваша та самая Онька, а сбоку Клавка.

— Ну-ка, ну-ка... — заволновался М. — Гляну. Вроде она... Глаза улыбаются. Скулы вроде такие... Неужели я ее и звал танцевать? Стучался к ней... Да, скулы... В Ургуле ее изба. А сама-то давно уехала?

Она рассказала что знала.





Студентов увезли в ночь, ему пообещали подать к обеду машину.

«Схожу-ка в Ургуль...»

По той же улице, так же спускавшейся к речке Таре, что и полвека назад, вышел он на околицу, вдоль этой речки потянулся медленно по той же дороге, обогнутой справа негустым лесом, те же две версты прошел к выезду на Северное, увидел тот же самый длинный амбар, в котором они молоденькими ночевали, поворот на деревню Ургуль, тут же начинавшуюся такими знакомыми избами, остановился на мостике, потом приблизился к Таре, дугой касавшейся околицы, уже ургульской, опавшей в сухое время глубоко вниз и так напомнившей ему юношескую робость тех далеких дней.

Черные козы упрямо стояли посреди дороги.

Все было так же. Вон в стороне знакомый амбар. Под тем же небом изгибалась короткая улица, за огородами темнели лесные полосы, та же тонкая тишина немела вокруг. Все было так, как в ту осень, когда он робко выходил на заре из чужого двора и чувствовал, как сторожит его появление улица, огороды, лес за огородами. Это были тайные мгновения его молодой жизни, улетевшие куда-то, забытые, покрытые мгновениями другими. Он шел потихоньку между домов, и ему казалось, что в окна кто-то следит за ним с деревенским любопытством, провожает его, ждет, куда он поворотит, к кому пойдет. Но он не желал попадаться кому-то на глаза. И как раз выдался из ворот молодой мужик в фуражке, примерился долгим взглядом, поздоровался кивком, застыл чего-то на месте. «Где здесь дом Клавдии?» — хотел М. спросить у него, но сдержался, побоялся выдать себя, словно шел, как когда-то, постучать в дверную досточку. Так тогда боязливо билось сердце, казалось, что не откроют и опозорят его чувство. М. это запомнил, но как выглядела избенка, какими были окна, воротца — пропало в памяти; изба была вроде на двоих хозяев, да, только сейчас припомнилось, как она просила его в полночь говорить вполголоса (чтобы за стенкой не слышали), а дверь из сеней выходила не на улицу, а во двор. И на другой стороне улицы жила ее подруга, напротив или наискосок — кто теперь подскажет? Вдруг все забытое стало таким родным; оттуда, из ранней поры, посверкало чем-то невинным, слепым, чудным, даже послышалась в душе песня, распевавшаяся шедшими с танцев вдоль Тары девчонками: «При бурной ноченьке прохладной скрывался месяц в облаках». И они все так и жили в Остяцке и в соседнем Ургуле целых полвека? Уж больно далеко поселились когда-то люди и как-то же жили без тоски и унылости, частенько коротали вечера при свечках. Его, менявшего разные места, летавшего птицей к среднеазиатским пескам на юг и к японским берегам на восток, знакомая деревенька всего в одну недлинную улицу, которая несколько не изменилась, робко укоряла своим дальним сиротством. Улица была голая, под окнами в палисадниках и перед воротами, с боков разделяющей дороги ничего не росло, только у двух-трех дворов краснели рябины. Все вокруг, кажется, тосковало в непрерывной тишине: лес за огородами, прикрывавший Тару, скворечни, окна, серые крыши, высоко выложенные березовые поленья. Отсюда молоденькие доярки и скотницы ходили на танцы в Остяцк,





возвращались врозь, счастливых не пускали назад. Есть где сокрыться в Ургуле: заросшие спуски Тары, лесные кромки, глубокие огороды.

На краю улицы, у мелкого Волосяного озера, он стоял долго и глядел на близкий, пугающий тайной лес. Зимой легко, наверно, перебегают по снегу волки. Медведи не раз подбирались к пригонам. О, как далеко живут люди... М. позавидовал на минутку такой участи: родиться на отшибе, до службы в армии не видеть железной дороги, города, ходить в лес, слышать птиц, из клуба или из гостей возвращаться под луной...

Где же та изба?

Какая-то неведомая птица стрелой пролетела над озером и, вздрогнув, повернула к огородам, к крышам и потерялась вдали.

«Так и я пролетал тут когда-то... молодым», — мелодией протянулись след за птицей слова.

«При бурной ноченьке прохладной скрывался месяц в облаках...»

Пели ли это остяцкие, ургульские девчата, почудились ли голоса артистов в разные годы, с неба ли пролились звуки или это в нем вдруг открылось в деревне, может, у того самого дома, где он стучал молоденьким в дверь, — не разгадать...

А где же тот дом?

Мужик в фуражке так и стоял за воротами.

— Скажите, а Клавдия живет в деревне? — спросил, как разоблачил себя. Отчего-то было совестно.

Недогадливый мужик словно ждал его все полвека, быстро выкинул руку, показал на какой-то дом на другой стороне.

— Вон, видите... рябина в палисаднике. Но это не ее. Она приехала в гости из Кольвани.

Месяц назад мог ли он подумать, что случится такое чудо в его жизни?

Мужик недолго пробыл в ограде, вышел, пробормотал: «Она сейчас» — и оставил его одного дожидаться.

Стройная, худая старуха в длинном цветастом платье, в красном платке появилась перед ним без всякого удивления, поздоровалась, взгляделась в него зорко, что-то будто вспоминая, ждала его первого слова.

— Скажите, правда, что вы мастерица плести коврики, не поделитесь ли?

— Кто так сказал? Онька, поди? Она рукодельница и домовница, вы были у нее? А я из Ургуля уехала, далеко живу отседа... Половички у меня там. Раньше дерюжки ткали, под себя постилали и себя укрывали, одеял-то не было. А я из тряпочек разных вяжу — и под ноги... Онька тож. А вам зачем?

М. улыбнулся и помолчал, все удивленно разглядывал, угадывал ее черты — нос, глаза, скулы. Вертелись на языке слова, но отчего-то стеснялся проговориться, напомнить.

— Скажите, а тот длинный амбар сбоку дороги, на въезде, всегда там стоял?

— Всегда! А чего?

Глазницы ее были глубокие, нос тонкий, щеки впалые, губы вытянутые...



— Да так... А что там сейчас?

— А ничего. Колхоза ж нет. Стоит пустой.

Он посмотрел на ее руки, скрещенные на животе:

— Пальцы какие у вас длинные... красивые...

— Худые быстро. Коров доила. Было.

— Некогда на танцы было пойти? Клуб-то в Остяцке.

— Бегали. — Она повела головой в ту сторону, где улица кончалась у речки Тары и дальше скрывалась дорога в Остяцк. — Молоденькие ж были. Прибраться — и скорей, скорей. Проворная была. Две девочки. Корову держала, свиней, овец.

«Студенты на уборку приезжали, помните?» — чуть не спросил он.

Она чему-то засмеялась:

— Меня овечка провожала. Овечка у меня была. Овечка-кормушка.

А показная! За всеми бегала. Если я в клуб пойду, и она за мной. Под лавку ляжет, ждет, пока я не натаңуюсь.

— Голос еще звонкий... Небось первой начинали?

— А вы как думали! Первый голос был мой. И Онька, и я славились. Где я нонче живу, таких не поют. — Она опять засмеялась. — «Катенька, Катюша, купеческая дочь, Катюша прогуляла всю темную ночь».

— А еще?

— «При бурной ноченьке прохладной скрывался месяц молодой». Да много всяких. Забыла. Восемьдесят первый год. А вы чего у нас?

— Еду мимо.

— Ночевали в Остяцке? Кто послал вас ко мне? Я приехала месяц как, не выхожу никуда.

— Сам нашел...

И она чуть подвинулась к нему, с подозрением проникла взглядом, посуровела и отстранилась совсем чужой, незнакомой. Светло-багровый платок на голове сбился набок, она ладонью поправила, стянула под подбородком концы, пару раз пожевала губами. Как губит время! Не такой бегала на танцы, открывала дверь в сенцы, нежно присаживалась на лавку у окна.

«Я бы не узнал ее... И сейчас не верится, что это она... Клавка...»

— А девчонки выросли? Где они?

— В городе.

— Говорите, уехала из Ургуля... А где изба стояла?

— Там крапива... прясло, калиточка...

«А помните, студенты на уборку приезжали? В амбаре ночевали...»

Но он не выговорил, смолчал, не потревожил и свою, и чужую жизнь, хотя все птицы сколько раз пролетели над деревней и пропали в вечности, Тара разливалась весной до крайних изб, и воды ее незаметно протекли в Васюганское озеро, сколько девок состарилось, сколько раз сугробы опали и растаяли...

Она стояла, согнувшись, совсем чужой, не звавшей взглядом, как... как в низеньком тесном клубе... на покосе... у калитки.

«А вы не догадываетесь, почему я вас так допрашиваю?»

Нет, теревить старое словами не надо. Жизнь миновала.

Он тихо, осторожно дотронулся до ее плеча, спустил руку к ее пальцам, сдвинул худую косточку на ее мизинце, наклонился и чуть коснулся губами косточек на сгибе, улыбнулся ей и пошел от ворот похоронно.

Там, где улица сворачивается влево и крайних к выходу изб не видно, он оглянулся.

Возле старых сибирских ворот, где только что звучали голоса, никого не было.

«Так и все... — грустно тянулись в нем мысли. — Что было, того и след простыл... В том доме ее побывать бы, но его нет. И не спросил, куда дом делся. Зайти бы, присесть на лавку... Но пусто, одно прясло, а может, и не тут стоял... А мостик на сухом месте, на выходе, вроде такой же... переходил его в четвертом часу, и тут же амбар недалеко... К своему топчану пробирался. Вон этот амбар».

Амбар был закрыт. М. постоял, прощально оглянулся на деревню. Что в ту минуту делала старуха Клавдия, о чем думала-гадала?

\* \* \*

— Уже когда колхозы развалили и амбар стоял заколоченный, приезжал какой-то старик, ходил, ходил из конца в конец по деревне, вызвал Клавдию, поговорил, а больше ничего. Она без дочек была, так вроде сказала кому-то, что якобы в Остяжке просил коврик под ноги у Оньки, но та промолчала — и у нее просил, она сперва сослалась на то, что в гостях, а одну дерюжечку все же связала, да и, когда этот старик-то ушел, она надумала отдать, что-то зашевелилось, душа повинилась, она и вынесла за ворота, а старик уже ушел в Остяжк... И она так долго стояла, с дерюжкой в руках, чуть не заплакала. Откуда старик, кто такой — теперь уж не узнать...

2015 г.

### III. Ночные мгновения и долгая жизнь

Как-то в Тамани отдыхала молодая семья из Барабинска.

Во дворе у Харитоныча я долго расспрашивал о сибирских окрестных деревнях и подарил на прощание свою давнишнюю повесть «Чалдонки».

Через день они позвали меня к себе, угостили, растроганно благодарили за книгу, и я после лишнего бокала вина распустил чувства и повторил то, что давно уж написал в тетрадке:

— А я никак не могу забыть одно утро в Барабинске. Мне было тридцать лет... Ехал я к матери с юга через Москву, предвкушал сибирские станции, вот на третьи сутки показались станции Татарская, Чаны, приближался Барабинск... Вы, друзья мои чалдоны (или вы остяки?), не представляете, как может волноваться молодой человек, начитавшийся великих лирических шедевров, да еще и сам марающий белую бумагу, и я задергался у окна, закурил в тамбуре и помечтал выйти в Барабинске из вагона и... отпустить поезд. Что случилось тогда со мной? А случилось простое: я вспомнил Северное, вспомнил, про какую деревню писал



в «Чалдонках», прошли какие-то годы, захотелось увидеть речку Тару, избы, высокие сибирские ворота... Если поеду на родину, то опять будет то же: ах, сойти бы...

— Зачем тебе Северное? — строго, даже недовольно спросил Харитоныч, тоже сибиряк, но приросший к Тамани давненько. — Ты уже больше таманский, пересыпский, чем кривошековский. Уже морозов боишься.

— У меня есть блокнот, такой широкий, с большими клетками, я его раскрываю как реликвию. Там, хоть и скупо, описано мое путешествие в те глухие места, где, как хвастается начальство в парадные часы, «берут начало речки Тартас, Тара, Кама и Ича» и в тайге и в березовых колках много северных ягод, водятся медведи, рыси, колонки, волки, ласки, горностаи, олени, в болотах редкие птицы (лебедь-кликун, чернозобая гагара, орлан-белохвост), словом, туда, где глушь, сиротливость, где ночи на краю деревни пугливые...

И мы расстались, и больше я их не видел.

Из Тамани я заехал в Пересыпь, порылся в шкафу, перелистал в блокнотах старые записи про родню, про мать, но про Северное и Остяцк не раскопал ничего. Потерялось!

Зато вытолкалась из завалов «Настольная дорожная книга» Семёнова-Тян-Шанского (том по Западной Сибири) с родными словами на обложке и титульном листе: «...описание нашего Отечества... для русских людей». Далекий, ещё царский 1907 год.

Из тобольских земель, с Нарыма или с устья Оби перекочевали под нынешнее Северное скуластые остяки, верно, по ним-то и зовется деревня; переродились они или стали всю русскими — один бог знает или кто-то ученый, но Остяцк по сей день тайным эхом напоминает о народе. Забывая о пропаже заветного блокнота, я читал у Тян-Шанского про остяков.

В древности новгородцы называли их «югры», а победившие их татары — презрительным именем «утяки», иначе «варвары».

«Покорители Сибири времен Московской Руси, вновь дошедшие до остяков, но уже с юга через подчиненные татарские земли, на этот раз не вспомнили старого новгородского имени «югры», а переделали «утяк» на свой лад и под именем «остяков» внесли это племя в свои административные росписи».

В Остяцке можно бы поспрашивать аборигенов о старине, но когда я там буду?

В то лето вышла у меня в Москве вторая книжка. С нею я и поехал к матери в Новосибирск. За Уралом погостил у друга в Кургане. Мать ожидала меня 4 июля, а я, не доезжая трехсот верст, вынес чемоданчик из вагона в Барабинске, засунул его в железную камеру хранения за 15 копеек, набрал цифровой код и пошел выискивать автобус на Северное.

О, у меня было в пиджаке командировочное удостоверение от гремучей «Молодой гвардии», но не в Барабинск, а в Новосибирск. Я же теперь не учитель средней школы из-под Анапы, а, господи прости за

дерзость, пи-са-тель, моей рукой написаны «Чалдонки», «Тоска-кручина», «Брянские», «Женские слезы», меня не оставят на улице, если последний автобус ушел.

Последний автобус на Северное запыхал еще в обед, и мне другого ждать до утра.

— А вы чего там будете делать, про что писать?

Я постеснялся показать свою молодогвардейскую книжку «Голоса в тишине» и промямлил что-то про «интересных людей в деревне». Меня послали с запиской в придорожный двухэтажный барак, комендантша свела в большую комнату на десять кроватей. Я тихо приютился, пригляделся к шоферам из неближних деревень и спустился на улицу перекусить в чайной.

Уже в Барабинске чувствовал я себя неудобно: а чего я еду туда, где жили мои герои, чуточку придуманные, обласканные и искаженные моими мечтаниями? «Чалдонки», чего доброго, кто-то прочитал в двух номерах «Литературной России», газету выписывают для школ и клубов, и как я стану выкручиваться?

Мой поезд уже проскочил Кривошеково, простучал по мосту через Обь, матушка беспокоится, выходит за ворота.

А я еще в Барабинске, мечтаю о деревне возле опасного леса. Это так и осталось в моих тоскливых воспоминаниях: когда я ночевал в Барабинске и утром уезжал в Северное, матушка жила в Новосибирске на улице Озерной. Я еще не опасался, что пролетят по небу годы и я через ту же станцию проеду в свой город как сирота.

Барабинск...

Как странно, что и через двенадцать лет все на месте, те же люди живут, такие же деревянные дома вокруг. А я сокрылся вдалеке. Когда возвращался к матери, все выглядывал, проводницу спрашивал, скоро ли станция. Чего так тосковал? Это я себя вспоминал, сны свои. Что там у меня осталось?

Шесть часов вечера. Никого. Солнце плющится над крайними домами. Короткий дождь. Бревна на улице. Глухие ворота с кольцом. Фикусы и столетники в окне, никелированные спинки коек у края комнаты... Мысли мои простенькие: и до меня жили, уеду — и без меня будут жить. Где-то далеко-далеко Северное, которого я не запомнил. Речка поясом выгибается, мосточки — чтобы брать воду и полоскать белье. Вокруг дворов ни кустика. Дома словно голые.

Половина десятого, а еще светло, не то что на юге; солнышко краснеет в чужой стороне, где-то над Кыштовкой. Простенький заезжий ресторан «Чайка», запах оладей в пустом зальчике; трое парней тотчас взглянули на меня как на подозрительного, я растерялся и повернул назад. Все вокруг как будто удивлялось и спрашивало: чего ты у нас не видел-то? Что приневолило? Никогда не видел барабинцев? А чего тебя в Северное несет-то? В Остяцк твой дорога плохая. И я не приберег слов своим таинственно-стыдливим переживаниям, ни с кем не поговорил в большой комнате на втором этаже, не мог уснуть, ночью раза два сбегал вниз на улицу покурить, и мысли мои журчали, что наконец-то я на родине, со-

всем близко от матери, которая спит сейчас, звезды угасают, и уже скоро будет светать.

Этого деревянного общежития уже, наверное, нет. И неизвестная женщина, караулившая в коридоре внизу, дежурная, жива ли где-то?

Автобуса в те годы в глухом местечке можно было ждать полдня и не дожидаться. Сто с лишком верст до Северного по разбитой дороге... выехать бы пораньше... уже десять, автобус задерживается в гараже.

Краем света показалось мне Северное с растянутыми улицами — этакая большая деревня, чуть пугающая приезжего чужими избами, чужим родством. Остаться тут, жить-поживать? Не захочется.

Господи, какой я был еще робкий, неуверенный, с людьми неумелый, в чужом месте одиноко теряющийся. И вот так же в Северном в первый час: куда я забрался? зачем? кто меня примет? Как-то стыдно было уловить в себе желание тотчас вернуться в Барабинск и поскорей примчаться на улицу Озерную к матери.

Глушь дикая... Это хорошо читать про что-нибудь этакое на диване и вздыхать: ах, дремучесть, заброшенность, семнадцатый век, как уютно душе! Прощайте, столицы, проспекты, театральные вечера, клубы, шум. Но и тайно, стыдливо завидовал я тем, кто живет возле леса, терпит морозы, бездорожье, не скучает без оперного театра, лечится у простых фельдшеров. Не помню, где ночевал я, ужинал ли в чайной, но теперь думаю, что зря брезговал закусочными и рестораничками, надо бы чарочку-другую пропустить, раскраснеться, полететь мечтой, погрезить... В поезде виделись мне сказки о том, как я узнаю в деревне какую-то историю, послушаю девичьи песни, очаруюсь... Много растерялось за сорок лет. Блокнот, слава богу, нашелся, и то, что за много лет растерялось, сберегла бумага.

\* \* \*

«В Остяцк привез меня председатель колхоза, случайно встретился с ним в редакции маленькой районной газеты. С какой-то захоластной простотой поднесла мне подшивку своей газеты сотрудница, и я со смущением прочитал заголовок своей повести: “Чалдонки”. Разбили ее на несколько номеров. Я стоял как пойманный. Из подшивки добрая девушка все мои листы вырвала и подарила мне. Повесть читали в Москве и прочих городах, и это меня не пугало, но подумать, что все эти описания ночных нежностей и болтовни на покосе читали и в Остяцке, в Ургуле, что кто-то перешептывался, узнав героинь (немало мною все-таки придуманных), было... не... не... непросто. Жил далеко, не думал, что повесть напечатают в Москве, и дал имена героиням подлинные. Да уже думалось, что и написал-то чистую ерунду. Кого-нибудь моя повесть могла и разозлить: например, Колю Агаркова.

А кто, если на то пошло, мог меня помнить через двенадцать лет? Учительница Таня Пинчукова? С танцев я провожал ее раза три и простаивал долго у высоких сибирских ворот, неумело заигрывал, молол что-то про новосибирские театры, и она, скучающая в глуши, охотно слушала, а



после закрывала за собой ворота тягуче-медленно. “Таня Пинчукова”, — написано у меня в блокноте. Она была очень худенькая.

В повесть она не вместилась, ее острые ключицы в вырезе кофточки мало беспокоили меня. “Таня Пинчукова”... И все. Но отчего же я столько лет жалел ее вдалеке? Нетронутое всегда загадочней. Учит ли еще она остяцких детишек или перебралась в Северное, в Барабинск?»

В самом деле, — жалел я позже, — почему не описал я тихую, незаметную на танцах девушку? Скромной тенью прошла бы она среди бойких женщин.

Как-то крадучись провел я день в Остяцке, всего-навсего день; стояло ради одного дня тащиться в такую даль? Утром я прошелся по въездной улице до конца, отступил назад и свернул в сторону, все потихоньку искал невзрачный плоский клуб, где той осенью студенты танцевали до потемок, со мной здоровались прохожие, и я ни разу не посмел спросить, где же тот клуб. Вдруг в каком-нибудь окошке прислонялось к стеклу женское лицо, пристально высматривало «кого-то чужого», и я отворачивался, словно боялся быть узнанным. А кто меня мог узнать? Онька? Клавка? Да нас было много, студентов, и в другие осени привозили столько же, и все жили в длинном амбаре на въезде, оттуда ходили вдоль речки Тары на танцы. Амбар этот, когда проезжал вечером, стоял угрюмый и мертвый. Во всю его длину располагались поперек нары, на них мы и спали, слышали сверчков, луна долго белела над лесом, никто еще друг друга близко не знал, только поступили на первый курс и потеснее пообщались на вокзале. Уже в декабре я из института сбежал, а мало знакомые мне сокурсники приезжали, может, на уборку сюда же или в Бергуль, в Веселовку, но позабыли, верно, вскорости и так вот, как я, не возвращались. Что же со мной случилось, какие сверчки сложили мне мелодию?

После Москвы, с ее гулками вокзалами и толкучками на остановках, после длинных вечеров в Доме литераторов, телефонных звонков к писателям, созерцания на сцене Малого театра Шатровой, Гоголевой, Жарова, Любезного, после обедов в дорожном ресторане с артистами театра «Современник», ехавшими на гастроли в Новосибирск, меня особо привораживало все глухо деревенское: какая-то немеркнущая тишина, крестьянские дворы с курами, подсолнухи в огородах, детишки, послушно проводившие летний досуг у ворот и не замечавшие тоску отдаленности, многолетняя тайна всей этой жизни возле леса и кривой речки Тары...

К вечеру я сходил в Ургуль, где и жили героини моей повести. Это от Остяцка версты две. У края села речка Тара блестела под опускавшимся над амбаром солнцем. Берег, как срезанный, поворачивался дугой к началу деревни. Двенадцать лет назад где-то тут достраивался дом, и разве это я кого-то заводил в его пустоту, провожая после танцев, хотел, наверно, понравиться? Улица в пыли, какая-то женщина тяжело несет мне навстречу ведро, перегнувшись набок.

Всякому будет ясно, что приблудился кто-то чужой, к кому он пойдет? Увидеть бы знакомые женские лица, пройти мимо и не признаться, хотя... лучше бы поздороваться, поговорить. Но в деревню газету привозят, и повесть-то прочитали! Как-то стыдно. Что-то не то, наверное, я



написал. И улицы этой нет, и там вон, в конце, у озера, герои не постояли (я и сам не знал тогда, что оно зовется Волосяное). Какой-то грех в себе чувствую, провинился, что ли, или опасуюсь, что обо мне подумают что-то не то, будто заявился я к своей зазнобе. А я зачем приехал? Сам не пойму. Вроде я уже писатель.

У мелкого Волосяного озера я стоял долго, чужой, никому не нужный.

Солнце уже задело верхушку леса.

Я медленно, блуждая взглядом по избам, прошелся назад к речке Таре, поглядел на длинный амбар.

Было странно. Я никого не встретил, а ведь героини в этот час жили в своих дворах...

Утром отправлялся в Северное грузовичок, и я напросился посадить меня в кузов. Долго ждал.

В правлении колхоза поставлен в углу бачок с водой. Одна кружка на всех. Под табуреткой тазик, в воде мокнут окурки. На стене табель выхода на работу. На черной доске мелом помечены надои: «М. Гламаздина — 1 883 л, К. Шишкина — 1 637 л, О. Сидорова — 1 625 л». Своя закоренелая среда, свои заведенные распорядки. В бухгалтерии печка, на плите тоже окурки. На полу клочок «Северной газеты», статья про коров в деревне Правокаевке.

Пока ждал председателя, опять представилась Москва; немножко томила пустынность после недавней гульни и затяжных ужинов в Доме литераторов.

— Поедете с ним, — показала женщина на шофера, который тут же от меня отвернулся и поторопился с крыльца. — Через полчаса, подождите.

Шофер куда-то уехал по своим делам, на крыльцо всходили колхозники, я торчал в углу чужим и лишним и, когда появлялись женщины, неохотно высматривал похожих на тех давних, забытых девчат, уже зарисованных и пропечатанных в моей повести. Не желал только, чтобы на меня председатель показал: «Тот самый». Слава богу, никто, наверно, повесть не читал. Не обучился я еще представляться писателем.

Томлюсь целый час. Шофер подъехал, позволил женщинам залезть в кузов. Ушел. Жарко. Женщины покорно ждут. В Северное им надо позарез, а кому-то, может, и дальше. Терпят. В глуши как роптать? И я жду. Ничего так и не увидел, зачем же приезжал? Весь в стремлении покинуть Остяцк, добраться к поезду, ночью уеду. Позарился повидать Остяцк, но... словно скрываюсь от кого-то. Писатель. Речь чалдонскую послушать хотелось, откровения, но люди-то живут по-своему, так тебе и разболтались, надо бы остаться и жить со всеми. Переночевал — и назад. Мой шофер переговаривается с горбатым бухгалтером. Подсаживаются в кузов девочки — чего им-то делать в Северном? В правлении колхоза (видно в окно) что-то подписывают, не торопятся, разговаривают. Везде жизнь идет своим чередом, никто не догадается, чего ты там ждешь, всем не угодишь, вот и сиди жди. Разговаривают, порою на нас смотрят, опять



беседуют, как в чайной. Солнце. Мухи. На досках под окном два мужика курят, в сеточках бутылки с молоком; тоже чего-то ждут, а время рабочее, уже десять часов.

В Москве кое-кто еще спит, на четыре часа отстает московское время. Там, в Москве, гудит метро, уходят с Казанского вокзала и медленно притягиваются издали поезда, в «Молодой гвардии» редакторша Ольга Васильевна Мамаева ждет от меня письма (я ей хвастался, что поеду к чалдонкам), на Воробьевых горах у меня новый дружок, в Сухаревском переулке растрепанный гений Д., на Арбате тонкий стилист К., возле «Мосфильма» землячок мой золотой Рыжий, и вспоминаю я их всех в маленьком Остячке, парюсь от жары в кабине и жду шофера.

Слышу голос из кузова:

— Надо же Таню Пинчукову подобрать.

О боже... Неужели? Какая она, эта худенькая учительница?

Наконец шофер сбегает с крыльца:

— Заставку брошу, и все.

Подъезжаем к его дому. Женщина соскакивает на землю:

— Ой, погоди, я огурцы накрою.

Неторопливо накрывает в своем огороде тряпками огурцы (под стеклом). Я матушку свою вспоминаю. Так же лелеет огурчики, поливает, суетится. Увидимся завтра.

Ждем.

— Сейчас еще двоих подберем — и поедем.

Трогаемся чуть-чуть, будто перевозим покойника. Сигналим у чьего-то дома. Все по-деревенски. Захотели — остановились, постояли. Из окна высовывается молодой мужик в майке, за ним баба с младенцем. Ждем. Наконец они дружно выходят. Долго переговариваются с шофером. Мужик садится в кузов, а баба еще что-то забыла в избе, тихонечко пошла во двор. И эти минуты переждали. Пустили бабу с младенцем в кабину. Поехали. Ну наконец-то. До Северного доскачем враз.

— Плахи погрузить надо.

Потерпим. А где же героини моей повести? Да и кого зачислять в героини? Кажется, никакую чалдонку за руку не брал, что-то почудилось, возжелалось, а в темное-то окошко вроде бы и не торкался. Или я позабыл что-то? Или стыжусь обнаружиться автором повести? Вчера к вечеру скрытно шел мимо изб в Ургуле, все на меня, чужого, поглядывали, и я чурался в душе нечаянных встреч с Онькой, Клавкой Шишкиной, с которыми я тоже танцевал в клубе. Или этого не было? В Барабинске пожалею, что сутки провел в Остячке впустую.

— Распилим пополам несколько досок, и ладом.

Распилили, кидали лениво, долго. А думают ли они подбирать учительницу Таню Пинчукову?

— Ну, все?

— Все. Еще одного заберем.

Подъезжаем. Мужик спрыгивает:

— Сейчас переоденусь.

Бедная Таня Пинчукова. Она небось ждет гудка, следит из окна.

В кузове запели:

Где-то играет гармошка,  
 Сердцу тоска моему.  
 Я загрустила немножко,  
 А отчего — не пойму.

Здесь, под сосною заветной,  
 Милого жду своего.  
 Грустно, ох, грустно мне, бедной,  
 Лишь не пойму — отчего.

Где ты, мой милый, хороший,  
 Нет, мне тебя не забыть,  
 Я ведь не знала, что может  
 Сердце так сильно любить.

Мы разворачиваемся и ждем в другой конец улицы, шофер кричит кому-то, из двора кричат ему, потом возвращаемся, тормозим у дома, где переодевается мужик. Тогда я спрыгиваю и иду во двор попить водички. Вместо воды хозяйка подает мне литровую банку прохладного молока. Что-то знакомое в ее улыбке, в голосе. И она как-то таинственно смотрит на меня — напоминает, где видела? За двенадцать лет можно все растерять. А кто же она, где я ее видел в ту осень? Не она ли явилась потанцевать беременной? Спросить? Шофер засигналил, приспичило ему вдруг заторопиться. Женщина как-то странно проводила меня взглядом. Может, читала повесть в районной газете и кто-то уже сказал, что приехал в Остяцк... журналист. Все, кто остался с той осени доживать в этой деревеньке, обретали в моей душе таинственный уголок. Все остяцкие стали особыми.

По большой улице спустились к последнему дому, слева закрылась густыми деревьями речка, появилась на взгорке деревенька Ургуль, справа длинный знакомый амбар; я прощался, грустил, уже о чем-то неслучившемся жалел, и тут еще шофер возвысил голос: «А Татьяну-то Пинчукову забыли! А Клавка-то Шишкина с вечера просилась... Мама ро-одная! Э-э... Ну ладно, поворачивать поздно...»

\* \* \*

Долго ли я был молодым или на меня влияло мое же произведение, уродился ли я таким, не разберусь, но каждый раз, проезжая станцию Барабинская, пробуждался желанием покинуть поезд, запрятать, как когда-то, вещички в камеру хранения и пережить немоту ожидания автобуса на Северное, может, и переночевать в том же бараке, потрястись сто километров, побеспокоить в редакции занятых журналистов и кое-как выбраться в Остяцк и Ургуль.

И набралось много лет.

Я наконец покинул вагон на той станции.

Уже вместо длинной деревянной зеленой избы вздымалось стеклянное, какое-то чужое строение с высокими буквами наверху: «Барабинск». И по ту сторону здания расперлась вдоль и вширь площадь, не стало в правой стороне барака.

И все по пути переменялось.

Прежде на дороге реже мелькали машины. Опять, как в старину, дальние углы казались заброшенными.

Моя городская натура вмиг стянулась хрупкой робостью. Когда ехал, душа моя уловила то, как одиноко, старинно молчит лес по окрестностям, углубляется в какую-то дремучую тайну, сторожат свою темноту непролазные просторы.

Северное я не узнал, позабыл, где была редакция газеты, какой выглядела улица. Я печально воспринимаю перемены, как-то преданно кланяюсь остаткам доморощенных времен.

Меня встретили как своего, как автора «Чалдонок», покормили, сводили в музей, созвали в библиотеку читателей. В музее на большой карте поглядел я на голубые речные жилки, разобрался, где какая деревня...

Простосердечные тетушки спели под чайное угощение три песни: «При долине куст калиновый стоял», «Где ж эти лунные ночи», «Ехали купцы из Москвы».

— Наезжали когда-то купцы из Москвы, зимой, на санях, волков не боялись, да?..

К обеду я попал на ярмарку.

Вдруг тревожно пожалел, что надолго отстал от всего сибирского, зачислился в избалованного европейца.

— Основал деревню Дорофеево (Северная) Дорофей Назаров, и она с 1764 года входила в Сибирское царство... Могила его затеряна. Как и всех первых жителей.

К полуночи читал я в гостинице в «Северной газете» статью «Деревенька моя, деревянная, дальняя». Не об Остяцке, мной упоминаемом в повести, а об Ургуле, что начинается от амбара и речки Тары; в Ургуле-то и жили мои героини. И надо же: фамилии их промелькнули в газете, как будто нарочно для меня!

«...в войну с десяти — двенадцати лет трудились в колхозе Клава Шишкина, Маша Санникова, Таисия Сидорова, Елена Сидорова, Таисия Лаврова...»

Клава Шишкина... Она самая?

«Из Ургуля перешла в остяцкую школу Татьяна Никифоровна Пинчукова...»

«Богата наша земля яркими людьми. Вот, к примеру, живет себе в Остяцке уроженка Ургуля Панова Ольга Ивановна, которая является реальным прототипом Оньки из повести Лихоносова “Чалдонки”...»

Боже мой... С деревенской простотой рассекретили все.

«Этот факт мало кому известен, наверное, потому что сама Ольга Ивановна не любит об этом говорить.»



Не зря сибирский писатель своим пронзительным взглядом заметил эту интересную женщину. Веселая, бойкая, работающая с молодости, она остается такой и сейчас...»

— Деревенька моя, деревянная... — шепотом повторял я заголовок.

«Деревня Ургуль возле речки Тары и Волосяного озера подарила всем самобытного писателя Алексея Филипповича Макарова...»

Онька, Клавка, еще Коля низкорослый... как же они тут жили сорок лет? Да живы ли вообще?

Так думал я, подвезжая к Остяцку.

За двадцать верст до места, в маленькой Биазе, увидел я на краю дороги женщину с дочкой: долго, видать, стояли и поджидали автобуса, путки ли и, может, так и не дождутся, нынче ведь колхозы развалились, машины пораспродали, ездить куда-то незачем. В Остяцке и в Ургуле, наверное, та же беда... И кого же я там увижу? и угадаю ли? Как-никак миновало полвека. Меня-то уж наверняка никто не признает, мало ли студентов толкалось на уборочной каждую осень.

И я притих, размечтался, все давнее вдруг отозвалось тонкой музыкой, предстало вдруг в сознании, как меня собирала к поезду матушка, позаботилась наложить съестного «на первый случай», наказывала беречься и не простывать, на танцах в клубе с ребятами не выпивать и не задиаться.

Утром (чуть светало) потянулись мы в маленьком автобусе по сонным улицам, пересекли речку Тартас и по белесой грунтовой дороге поехали на север к Васюганским болотам, мимо березовых околков; бойкий шофер весело рассказывал историю про бабу, повстречавшую на дороге медведя, про опасную ночевку в урмане во время сбора еловых шишек, и я, дитя городское, слушал как-то пристыженно. Понесло меня в такую даль. Зачем?

— В 1870 году, — сказал шофер, — мой прадед прошел в Сибирь пешком две тысячи верст...

Проезжали речки, лога, сенокосы, болота, но я не знал, что называются они Крутенька, Медвежья Елань, Столбы, я тут был чужой, случайный, не стрелял здесь уток, не собирал кедровые орехи, не слышал крика чибиса. Волнение мое не было родным, а воспоминания складывались коротенькие, затуманенные годами, и я не могу после Никулинского Креста ждать, что тотчас покажется деревня Ургуль, вдали по правую руку узнаются крайние смутные крыши у Волосяного озера.

Но зато я узнал длинный амбар, стоявший и сейчас так же (как в ту осень) слева у дороги, поблизости от речки Калчейки.

Я попросил остановиться. Вышел и направился к амбару, шел как-то благоговейно, чуть ли не молитвенно, и это понятно: истекло полвека, а амбар так же длинно вытягивался к лесной полосе, одиноко встречал всех, кто проезжал в Ургуль и Остяцк, амбар этот затаил мои осенние мгновения, но не ждал меня. Там, в его просторной глубине, я ночевал целый месяц. В одно мгновение чудесным эхом коснулась меня вся моя долгая жизнь. Каким я был тогда? Какая книжка пряталась под моей подушкой? Еще не читал я Паустовского, Юрия Казакова, Солоухина, Ремарка и



Хемингуэя, не слышал о «Гранатовом браслете» и «Поединке» Куприна, о «Митиной любви» и «Темных аллеях» Бунина, помыслить не смел о писательстве своем и в тетрадочку не записывал словечки остяцких и ургульских колхозниц, листочка, торопливо замаранного, помятого, не увез с собой. И не дано мне было вообразить, что через полвека приеду я к этому амбару как виноватый автор «Чалдонок», поведут меня в библиотеку, с крыльца которой я увижу в огороде согнувшуюся к картофельному кусту женщину (и мне скажут, что это та самая Онька).

Господи, как давно пробирался я впотьмах к своей постели в амбаре, сколько повыветрилось девичьих имен, какие тайные переживания позабылись, а в этот угол я даже книжечку чалдонскихговоров захватил с собой (читал всю дорогу в поезде). Срок сложился немалый. Ждала меня когда-то в Новосибирске матушка, а приехал я сюда нынче из Тамани от ее могилы.

В Остяцке и Ургуле тоже водою сошло много судеб. А из какой избы выкликать тех, кого в литературе называют... прототипами?

Библиотека еще сохранялась в деревянном доме. В каждой мелочи ловил я сибирское: дверь тяжелая, густо крашенная, с широкими досками, с громким железным хлястиком для замка, окна крепкие. Все не похоже на то обитание, что досталось мне на юге.

Женщины притихли и несмело улыбались, я поздоровался, устроился за столом и всех обглядел. Что они думают обо мне? Сочетают ли героинь с моей особой или доверяются правилам сочинительства? В деревне читают попросту и писательских хитростей не разгадывают: Онька — значит Онька, и все. Сама она не пришла, она сердится, ее роль в повести ее позорит. Повесть свою я не перечитывал лет двадцать, кое-какие женские сцены забыл вовсе. И Онька затерялась пуще Клавдии. Ее-то, Клавдию, я выделял, помнил ее избушку в Ургуле, окошки на улице. Онька звучала именем. Я сразу и объяснил кое-что моим приветливым, тайно-любопытным читательницам, и, похоже, девятнадцатилетнюю невинность мою они восприняли смущенно. Мне бы спросить: «А где Клавка? все еще в Ургуле?» — но справа от меня сидела Таисия Ивановна (я еще не знал ее имени), похожая на Клавдию скулами. И она сидела так робко, даже несчастно, что мне показалось, будто она перебирает дальние дни и страдает. У нее я буду ночевать и полюблю ее материнскую доброту, припомню возле нее таких же простых соседей на моей улице и свою мать, крестную, бабушку.

Я мигом привык к ним, мы сидели за столом долго, выпивали и закусывали, они готовились к встрече загодя, принесли домашних пирожков, солений, уже мы сдружились, я перестал быть «автором», запели они кержацкие песни: «Под окошком мама сидела», «Ой, болит головушка», «Заплетися, плетень», «Где ж эти лунные ночи».

Я пожалел, что приехал к ним с большим запозданием.

— Мне надо бы хоть раз в три года показываться... Летом на покосе комаров покормить, в лесу малину рвать, медведя бояться... А то и зимой... Снег, так одиноко возле леса-то. Так?



— В баньку бы вас затолкали.

— Далеко живете, а то частенько бы пришлось кому-то баньку топить.

— У нас есть кому, — сказала одна, и все засмеялись, зашумели.

«Сколько тут историй сбилось и не записалось... — подумал я. — Отчего уехала Клавдия?»

Мне подлили в рюмочку, я выпил, подписал свои книги. В таком глухом месте очутились три мои книги!

Народная власть была.

— Напишите мне хоть что-нибудь в мою дорожную тетрадь.

«Мою корову задрал медведь», — написала первой Бугакова Екатерина.

«Спасибо за приятно проведенное с вами время» (Раиса Сантьева, Наташа Банникова).

Так и увез я в своей тетрадке женские имена.

Людмила Лаврова, Галина Панькова, Людмила Гламаздина, Тамара Семёнова, Валя Бирюкова, Виктория Ситникова, Валя Позднякова, Наталья Пешкова, Татьяна Панькова и Анастасия Ивановна Коростелёва, которая-то и ответит мне чистую комнатку в своей избе с тяжелыми тоже дверями, поужинает со мной и расскажет про Ургуль и Клавку Шишкину. Увез с собой только фамилии, а все их девичьи истории так и погаснут в селе нерассказанными.

— А Оньке сколько?

— Да уже как бы не восемьдесят... Или восемьдесят два.

— Жалко, что она не пришла. Обиделась на меня. Я уже жил далеко, а имя ее странное так и звучало, и я, сочиняя (писать только учился), имя оставил. И, наверное, много неприятных минут ей досталось. Поведите меня к ней, я извинюсь.

— Она такая удалая и была, не переживайте.

И вот две остячки срядились, украдкой вышли, долго не появлялись, потом словно с победой возникли на пороге, разлили всем «по глоточку», доложили догадливой компании: «Сказала: пусть приходит...»

\* \* \*

Ах, как у нее было чисто, нарядно, крашенные полы устланы ковриками, самую связанными, под светящимися накидками вспухали мягкие подушки, печка белела боками, в маленькой комнатушке (светелке) украшала уголок репродукция «на тему любви».

Ольга Ивановна (Онька) не поднялась с табуретки, приветила меня как незнакомого, простым взглядом, не помнила меня, какого-то студента, мало ли тут кого привозили на уборку, а с кем и танцевала, вольничала, словом, так та память столько лет не держится, книжки же муж-покойник любил таскать из библиотеки, читал и «Чалдонок», порою сердито называл автора «твой-то писатель», газеты тоже задевали ее душу, тыкали в нее сходством, она не раз страдала, потом привыкла, стало ей все равно.



Она ничего такого не говорила мне и библиотекарю, но это сложилось из остяцких разговоров и с моим приходом повисло над нами в ее чистой избе.

Она раскрыла альбом с фотографиями, развязала еще наволочку с россыпью ранних снимков, и мы втроем перебрали мгновения остяцко-ургульского бытия. Промелькнули незнакомые лица, сама Онька во всех возрастах, Ольга Ивановна, круглолицая, боевая и грустная, одинокая и замужняя, судьбой не похожая на ту, которую я описал под ее именем.

— Вы простите меня. Это ж сочинение. Там приукрасишь, а там ради интереса приврешь. Вы ни при чем.

— Хотела отmaterить, да ладно уж...

— Клавдия Шишкина где? Жива?

— Там где-то, далеко. У Тишкиных спросите, в Ургуле.

— А дочки?

— Все поразъехались. Одни мы застряли. А куда ехать? Зачем?

— Вы, я видел из окна библиотеки, картошку выкапывали. Сколько ведер?

— На зиму хватит.

— Дров полный двор, не нарубишься.

Она не смотрела на меня, перебирала фотографии, словно искала какую-то одну, самую нужную, может, ту, где они молоденькие с Клавдией Шишкиной, потом закрыла альбом и тихо сама себе сказала: «Все прошло, ох, ничего нет. Все прожито. И жизнь не вечна, и молодость короткая».

Я покаянно молчал.

Возле нее, такой крупной, домовитой, с большими, толстыми ногами, одинокой, выставленной в моей повести на пересуды, неудобно было цепляться с расспросами о каких-то далеких осенних мгновениях, всей деревней давно забытых. Я, слава богу, и не подумал об этом.

«Все прожито».

Какой-то писатель... что-то по молодости напорол о ней в книжке... и о чем с ним рассусоливать?

— Настрадались в колхозе?

— Одно время двадцать девять коров было, а три доярки. И ни разу коров не оставили недоенными. Покосы были далеко, а все равно пешком.

По полу лежали игриво-красивые коврики, а на диване еще один, чуток недовязанный, и мне захотелось выпросить его на память, купить.

— А Коля Чигарев... в Остяцке?

— Замерз на кладбище. Выпил и заснул на кладбище.

В моей повести его звали Агарков. Жил бы я в Остяцке или в Северном (а то и в Новосибирске), поостерегся бы, наверное, так черство, халатно обойтись с Колей, чуть ли не посмеяться над ним.

— Чигаревы были самые бедные, — сказала библиотекарь. — Избенка небольшая, а во дворе не было даже пригона для скотины. Зато жили весело и играли в карты. Зима — у них дров нету. Соседи посмеивались: углы у избы отпиливают, чтоб натопить. Колю в армию не взяли из-за маленького роста.

— Вы на каком краю жили в Ургуле?

— А там, наискосок от Клавки Шишкиной.

Разговор не складывался, и я тогда сказал:

— А я Таню Пинчукову видел на ярмарке в Северном.

Но и это не пробудило Ольгу Ивановну, Оньку.

Уже на улице, когда шли в сумерках к библиотеке, я договорил:

— Таня Пинчукова... Ну что было? Раза два после танцев провожал ее до ворот (теперь и не различу их, наверно), и мне почему-то придумалось, что и она помнит того паренька, а чего помнить, мало ли кто кого провожал на заре туманной юности, за плечо трогал, притягивал к груди, жизнь долгая, все эти полуночные мечтания забылись, нашелся кто-то другой, какой был в деревне, завелись дети, потом внуки, она уехала из Остяцка, жизнь утомила душу, и вдруг ей передают, что ее ищет писатель... «который тебя знает». У нее ни одна жилка не дрогнула, когда я с ней поздоровался и чуть ли не похвалился: помню вас, то-то и то-то. Конечно, она уже старушка и простоватая, скудно одетая, приехала на свадьбу внучки, а сама живет где-то далеко. Хоть бы спросила о чем. Учительница математики... Как-то даже невежливо стояла, позволила сфотографироваться и отвернулась, тут же отошла к родне. А я, наверно, потому и литератор, что все сорок лет так и стоял с ней у ворот. «Где эта Таня Пинчукова? — спрашивал само небо. — Из тех ли ворот выходит?» Нет-нет да и проверю свои старые рабочие тетрадки. И как нарочно выпадает страничка с моим наивным замыслом: «Таня Пинчукова». Повесть. О том, что несвершившееся чувство долговечней настоящей любви». Имя-то бы заменил. Напел, как в «Чалдонках».

Повесть тоже началась с мелодии: ах-ах. Так мечталось. Навеки потерянная первая осень в глухой сибирской деревне. Долго слышались мне женские голоса в лесу, в клубе... На станции Барабинск всегда, сколько стоял поезд, столько я и представлял, как выхожу из вагона, еду в Северное, в Остяцк, Ургуль. «Как они там живут среди Васюганских болот, возле тайги?» — думал. Потому и нынче приехал. Конечно, это было подкрашено чтением Тургенева, Бунина. Вот вам и литература. Без мечтаний ничего не возникнет.

— Вы молоденький были, теми мгновениями и дорожите... — сказала библиотекарь. Она как-то застенчиво оберегала меня, словно я родственник и она долго ждала моего появления. — Это же хорошо. Вы потому и к нам приехали. Если бы очерствели, мы бы вас не увидели. Так что спасибо. Не меняйтесь.

— Был бы поэтом, написал бы о мгновениях ночных шепотов и о долгой судьбе человеческой.

— А у Ольги Ивановны судьба непростая. За Биазой есть Кордон, она там лет десять жила с мужем у свекрови. Такой красавец был, вся деревня по нем умирала, а свекровь ее невлюбила, и она промучилась с ними столько... Потом говорила: «Но я не изломала венец, не ушла».

— Не изломала венец?

— Так у нас говорят. А в колхозе... Еще темно, а надо на ферму, мороз, коров поили, коленки все обморозила Онька; так же, в потемках, домой, а во дворе свое хозяйство. В одиннадцать лет уже на сенокосе надрывалась, осенью на уборке. А была веселая, живая. «Встаю, — говорила с улыбкой, — и ложусь с песней». Теперь уже не то. Не смотрите, что у нее лицо такое свежее. Она кое-как до магазина с палочкой, а сумку поднять уже не может...

Мы возвратились в библиотеку, а там еще кое-кто из женщин задержался, длинный стол чистенько прибрали, но на маленьком еще было что выпить и чем закусить.

— А мы уже все песни перепели, — сказала старушка Анастасия Ивановна. — Онька вас приворожила, не угощала, блины не пекла? Коврик не подарила?

— Спасибо, что не ударила, — отшутился я. — Я оробел и не попросил. Буду дома жалеть. Очень красивые, радужные.

Уже за окном совсем стемнелось, я пару раз выходил на крыльцо; сибирская глушь тоненько ударяла мне в душу, миг закружила меня в моей пространной жизни, все протянулось, сверкнуло, прозвучало мелодией редкой, единственной доли и прощальной грусти; мгновение это ограничило начала, и концы, и еще... и еще... и еще что-то такое, чего не выразить словом...

Мы засиделись допоздна.

Известно, какими мы порою бываем лиричными, когда хорошо подопьем, как взмывает нас подниматься над столом, торчать с рюмкой в руке и говорить так долго, будто все истосковались по твоему хмельному красноречию.

Слезливые женщины не бывают такими слабыми, каким в библиотеке раскрывался я. Да простится мне такое.

— Вы все так близки мне... — залепетал я. — Вы так напоминаете мне тех, среди кого вырос я на улице Озерной. Вот так же и в нашем доме, и у соседей сидели за столами, и хмелили, и пели песни, и вдруг жаловались на свою судьбу. «Сронила колечко со правой руки...» — матушка моя пела. И, как и ваши матушки, коров в стадо выгоняли, доили утром и вечером, сено косили. А тут хожу по Остяцку и держу в памяти тот год, когда нас привозили к вам на уборку урожая, хочу на миг вернуть все ощущения той осени — как я уезжал со студентами, был тише воды и ниже травы, моей матери было сорок три года, Кривошеково мое было тихое, не загаженное ларьками и машинами, как теперь, еще все фронтовики были живы, приезжал как раз из Германии канцлер Аденауэр, заключили договор об обмене пленными, и мне возмечталось, что, может, отец мой не погиб под Запорожьем, а попал в плен и теперь его отпустят домой. Жили мы с вами далеко от Москвы, для вас Северное и Бараньинск, а нам даже Обь с мостом на правый берег казались далью. Сюда к вам тяжело было пробраться: зимой сугробы, весной и осенью грязь. Как просто жили! Нынче в Остяцке, а завтра, надеюсь, в Ургуле то время вернется в мою душу. Я приехал поискать себя возле ваших домов, у



ворот, на краю речки Тары и у амбара, в котором я мечтательно засыпал почти месяц. Жалко, не помню, были ли дожди. Зато помню, милые мои остячки и ургульки, скуластенькую, прелестно живую, зазывавшую в танце в чертог любви, но в конце вечера заманившую моего товарища Клавдию, помню, как я, горестно отставая, шел за ними в Ургуль возле Тары и повернул горевать к амбару, а они растаяли в ургульской улице. Так еще много лет видел я эту полночь и скуластенькую ургульку Клавдию. В последний день я раза три проходил мимо ее дома и с обидой глядел на окна. Прогуливался до Волосяного озера и назад. Может, она меня видела из окна и посмеивалась. Чистая, неутоленная любовь моя (грезы робкого мальчика) вспоминалась, как тягучая мелодия, как молчание леса за Остяцким взвозом, прозрачной воды в Таре под Ургулем, угрюмой холодной ночи над речкой Калчейкой и длинным просторным амбаром у дороги. На юге тосковал по Сибири и все-все вспоминал. И потом уж написал повестушку. Но в повестушке больше моей души, чем меня самого. Я потерялся в вашей деревне. Извините.

— Встречай меня, хорошая, встречай меня, красивая, заря моя вечерняя, любовь неугасимая, — запела Анастасия Ивановна, и все робко подхватили.

— Михаил Исаковский. Боже, и его уже никто не помнит. Эту-то песню я и пел в ту осень. Уже дома. Гляделся в зеркало с ржавыми пятнышками и пел. А матушка подошла сзади и спрашивает: «Ты чо это? Это так колхоз на тебя подействовал?»

— Вы пойдете ночевать к Анастасии Ивановне? Мы, так и быть, даем вам до утра тетрадочку, почитаете. Да не потеряйте, а то наш ургульский писатель приедет из Новосибирска на охоту и задерет. Как тот медведь бабу задрал на дороге...

И повел я под руку Анастасию Ивановну к ее дому, жила она недалеко от речки Тары. И мы еще поужинали, поговорили.

— Одна хожу по ягоду в лес.

— И не боитесь?

— Дочки меня ругают: «Мам, зачем?»

А потом я прилег и стал читать рассказ ургульца про тот самый длинный амбар у дороги.

## Амбар

Ранней весной шел по грунтовой дороге среди полей и березовых перелесков пожилой мужчина. В руке держал небольшую сумку с карманчиками. Погода хорошая, солнце уже грело приметнее. Снег растаял, вода затопила все лога, малые и большие речки.

Жил он уже в городе, родную деревню Ургуль не навещал давненько, легко добрался электричкой до Барабинска, оттуда автобусом до Северного, потом попуткой до Биазы, а от Биазы потопал по знакомой дороге пешком, как ходил здесь школьником после шестого класса по субботам и воскресеньям туда-назад.



Шел и все замечал с какой-то грустной жадностью. Отвык за годы там, где уже и майские липкие жуки на простонародных окраинных улицах потерялись навсегда.

А тут, в глухой стороне детства, высоко вьются и заливаются жаворонки. Тотчас напомнимась двоюродная сестренка Василиса, она так звонко пела в зеленом клубе: «Соловушка чох-чих...»

Денис, так звали путника, тоже когда-то пел на этой дороге.

Что изменилось в родной стороне? Березовые околки вроде те же, а поля соседнего колхоза заросли.

Вот и Блинов лог, а это половина пути. В его пойме образовался островок сухой земли, и там сидят испуганные зайцы. Спрятаться от хищников негде, на островке ни одного кустика. Днем угрожает им кружение коршуна, а ночью стащит их филин.

Речка Белуга разделяла раньше земли двух колхозов. Денис пас здесь коров. Невольно вспомнилось, как однажды загнали его в эту речушку оводы. Они искусили его всего, не помогал и березовый веник, которым он отмахивался. И он не выдержал, залез в глубину, которой и было-то по колено.

В верховьях Белуги много малины, и ургульские женщины иногда ходили за ней так далеко. И один раз их напугал медведь.

Мавра Сидорова, мать Оньки, брала ягоду, а ее так много на этой кружавинке. Кидает она в ведро горстями, слышит Сидориха, что кто-то берет малину с другого боку. Она посчитала, что это подруга, и говорит радостно: «Кума, какая рясная малина, мы скоренько нахватаем по ведру». А кума почему-то не отвечает, а лишь громко сопит. «Кума, ты чо молчишь?» А в ответ только урчание и чавканье. И вмиг догадалась Мавра, кто ест малину и урчит от удовольствия, да как закричит: «А-а-а!» И бегом. «Кума! Медведь!» Кума и ведро бросила. Задрал бы медведь.

Обочина заросла сосняком, ему не меньше тридцати лет, и разбрасывал семена родной брат Дениса, уже покойный.

Вот и еще речушка Крутенька, приток Тары, берега ее высокие и крутые. На берегу Тары устроили как-то стан, где жили колхозники во время полевых работ. Сюда мальчишки пригоняли поить лошадей и купались. Это было в те дни, когда помогали косить сено в Гари (там давным-давно выгорел лес). Еще припоминаются местечки с названием Ключи, Медвежья Елань, Столбы и Амбарчик. И не забылись покосы Макаровы, Саниковы, старицы Черночиха, Карманиха, кедровые острова Фомкин, Кубовой, Макаровы острова — все по фамилиям промышлявших орех, самых частых.

На Крутеньке обитала стая дроздов, и нигде больше.

Между Белой и Крутенькой высокий увал, и там уже расцвел адонис и медуница. Особо красивы скопления медуницы по опушкам березняка. Ее синие мелкие цветочки расстилаются ковром. Мохнатые кустики адониса выделяются на пожухлой траве желтыми пятнами.

«Господи, — вздыхал Денис, — как хорошо, когда знакомая дорога домой убавляет твои годы и возвращает забытые чувства...»

А вот и Никулин Крест.

Речка разлилась, пришлось снять обувь, закатать брюки повыше. Вода не успевала пройти под мостиком и переливалась через дорогу.

Слева выгорела небольшая болотина, образовала озеринку, там сидели кряковые утки.

В глубине березняка матушка его всегда косила для коровы траву, и семилетний Дениска помогал ей убирать ее. Траву косили уже в сумерках и по неудобцам. В десять лет он уже вершил стога. Его подсаживали наверх и протягивали к рукам грабли. Он топтался по кругу и трамбовал сухую траву да показывал, где ямы.

От Никулина Креста дорога взяла в горку. Поднялся Денис, глядит: а где же лиственница? Раньше стояла она одинокая среди поля. Нет ее. В нее попала молния? Обгорелый пень дожидал вместо красавицы. Это было самое высокое место в деревне. С лиственницы видна была церковь в деревне Иче.

Отсюда до Ургуля версты три; уже выделяются под чертой неба крыши изб у Волосяного озера. Там со стороны деревни берег высокий и чистый, с удаленного края заболоченный.

На этом озере Денис стрелял уток из берданки. Утки любили сидеть на воде близ чистого берега, где нет кустов.

Возле Никулинского рямка, где росли кедры и мальчишки лазили за шишками и обжигали потом в костре смолу, Денис постоял, отдыхая.

За березняком родное село Ургуль.

Здесь ребяташки вырубали по весне в толстой березе колодец и все прохожие пили через трубочку холодный сок. От старой березы не уцелело и пня.

И поскотины с расшатанными воротами нет. И фермы со скотом не видно. И амбаров за Конопляным озером, где выдывали коноплю. Куда исчезла сушилка с током? Его взгляд стал искать тополя около избушки Маруни, фамилию ее забыл. Куда они исчезли? Таких тополей, как в Ургуле, он нигде больше не видел.

Было у него много родни, но обнимет его только Василиса Пешкова. И приведет к себе, ее дом по правому ряду за Тишкиными, Сидоровой Федосьей и... хотел Денис сказать: «...нашим двором с избой, амбаром и большим пригоном для скота, с черной баней в огороде», но двора уже не было.

«Где ж ты, моя матушка, — запричитала его душа на мгновение, — что ж тебя так давно нету в Ургуле? Уехала ты далеко к сыночку на восток и там сложила руки крест-накрест. Девятнадцать детей за жизнь родила. А как слушала твои истории вся деревня, не было тебя разговорчивей, и сколько ты знала про чалдонскую старину. Сейчас пройду по улице от амбара, увижу последних. К Волосяному озеру дойду. Народу все меньше. Воду в речке Таре загрязнили нефтяники, белого песочку нету. Вокруг пропали все старые деревни: Правокаевка, Ича (с церковью), Еласка, Медвеженка, Томиловка, Украинка.

В Межовке последние дворы».



Вот, вот уже близко все, вот очертились края деревни.

Но вся долина перед Ургулем затоплена. Тара (по-татарски — «узкая») перекрыла берега и расползлась почти до амбара. Тара! Родная реченька с чистой водой, с черемухой по всему вьющемуся течению. Когда-то она разливалась вовсю и делила деревню на три части, а то и на четыре. У ее берегов росли желтые кувшинки, белые лилии и огуречки (пузырчатка с цветами, как у огурцов).

Денис снял обувь и пошел по воде, выбрался поблизости от амбара на сухую землю, но чуть дальше бушующий поток дороги захлестнул. Перебраться в деревню не удастся... Сколько ни кричал, никто не услышал. А вечер приближался. Кто перевезет? В кармане мобильный телефон, но кому звонить? Стало даже обидно: застрял у детской окраины!

Оглянулся. Переночевать можно только в длинном амбаре. Его построили в пятидесятых годах и первыми обновили новосибирские студенты, засланные в такую глушь на уборочную.

Оттянуть тяжелую высокую дверь удалось легко, запор был «для честных людей». Денис вошел в простор амбара и увидел кучку зерна.

Он поискал рубильник и включил свет. Вдруг да и увидят добрые люди. Потрогал зерно, оно теплое, пахло прелью и мышами. В сумке у него полотенце, можно постелить. Чай не приготовить, придется согреться коньяком. Денис достал из сумки кусочек колбасы, ломтики хлеба, стаканчик.

От тепла из кучки зерна и коньяка Денис согрелся и стал вспоминать, как он бывал у этого амбара перед отъездом в город.

Его устроили в колхоз объездчиком, как раз ожидалось из города студенты, в клубе готовились к танцам, ему понравилась одна вольная девушка Валя, работница швейной фабрики, помещившаяся с товарками в пустующем доме на берегу Тары. Днем она старалась на очистке зерна, и он к ней заглядывал. Амбар разделили надвое, в меньшем углу соорудили нары для ночлега. Деревенские парни заводили временных подружек, городские же ребята перемаргивались с остяцкими и ургульскими холостячками. Много позже Денис как-то купил на Красном проспекте (возле кинотеатра имени Маяковского) книжку под названием «Чалдонки», прочитал ее и угадал свою деревню Ургуль. Не описал только автор ни Волосяное озеро, ни Конопляное, амбар упомянул всего раз-другой, а что-то кольнуло родным, не то ли, что ему показалось, будто герой стучался в окошко так же, как и студент в дом наискосок, где жила одинокая Клавдия Шишкина. Дениска один раз долго не ложился спать, вышел к воротам и подсмотрел, как чужой человек осторожно пробирается во двор к Клавдии и то-ненько стучит в окошко.

А и у него, Дениски, занималось на краю Ургуля молодое чувство, но растратилось, сомлело за длинные годы, порою смущало его в устоявшейся семейной жизни, и, как-то въезжая с женой в



Ургуль сбоку амбара (привозил ее из города познакомиться с матерью), он тайно припоминал свое минутное помрачение, то далекое грешное свидание в этом амбаре с вольной девушкой. Были такие мгновения в его возрасте, когда ему, ургульскому, нечаянно заступившую перед ним незнакомую девушку хотелось полюбить и обласкать нетерпеливо только за то, что она городская, какая-то особая, царственная и тебе недоступная. Он помнил, как привел Валу к воротам амбара, взял в руки замок, потянул за него калитку и вошел первым, услышал, как разбегаются в соломе мышцы. Нары из свежих досок стояли вдоль стен, на них лежали матрасы. Поджидали приезда студентов.

Денис допил во фляжке коньяк, стал трепетно ходить по амбару из конца в конец и погружаться в утерянную ургульскую полночь в каком-то небесно-туманном году.

«Как все на свете притупляется... — уныло размышлял он. — Ой-ей-ей... Она была такая высокенькая, с певучим, растянутым голосом; когда говорила, поднимала голову, вся какая-то медленная, ленивая в повадке, а пела какую-то французскую песню Ива Монтана, там про какие-то следы любви на песке, а я ее стеснялся, зато, когда целовались, лежали на сене, она благодарила повсякому, гладила мою голову, и вроде лучше меня для нее никого не было. И простились, я первое время с тоской ходил к амбару... Она не написала мне. Как пропала... И моя рана помаленьку затянулась».

*Алексей Макаров*

\* \* \*

Столько деревень исчезло вокруг, и словно для меня Бог сохранил Остяцк и Ургуль.

И есть, наверное, что-то назначенное в том, что там, где вместе с героями «Чалдонок» я думал о ночных мгновениях и, запечатлевая их, раскрывал свои письменные способности, да, там, возле речки Тары и Волосяного озера, родился и рос Алексей, которого бабушка Маримьяна и матушка Катерина наделили талантом. Мне дали его телефон, и я позвонил ему в Новосибирск, немножко разыграл.

— Простите, пожалуйста, это вашу бабушку звали по-уличному Макариха? И это она советовала внуку: «Милай, выпей ложечку карасина, горло-то твое пройдет»? И это ваш дед пришел как-то к вам во двор в белой исподней рубахе и попросил дочку угостить протоквашей?

— А вы кто такой?

— Вы жили недалеко от Онькиной матери и Пешковой Василисы? А перед вашим домом жили Никулины, Банниковы, Тишкины. Ходили вы в Ичинский рям за голубикой, да? Рыбачили на омуте Остяцкий взвоз? Помните, к ледоходу на Таре прилетали трясогузки? В логах зацветала верба. Каждую весну «ждали первого звука кукушки». Так? А еще... дослушайте меня... еще вас кусали клещи, вы любите сидеть на

берегу возле цветущей пахучей черемухи, еще — не перебивайте! — половодье весной отрезало вашу деревеньку от мира, затопляло Волосяное озеро у леса. В деревню забегали лоси, а неподалеку замечали вы зимой следы рыси, россомахи, ну и волков. А вокруг деревни черными кочками сидели на ветках косачи. Завидую. Я рос в городе.

— А где вы прочитали?

— У вас. Мне в Остяцке одолжили на ночь ваши сшитые листочки, я читал ночью и думал, что моя повестушка лишена того первобытного Ургуля, который я столько лет не мог забыть... «Родимая глушь» — так и назовите книгу.

— Вы стоите в Ургуле? В каком месте?

— Я стою посреди улицы и жалею, что ни одного дома не знаю, и мне в какую-то минуту вдруг захочется поселиться в Ургуле зимой или осенью, посидеть в избах, поспрашивать и написать о том, что здесь было на самом деле, написать с боязнью, что деревня эта на берегу Тары умрет, осиротеет и беспризорно останется вековать у леса Волосяное озеро, и никто не умоет лицо в Таре, и ночного шепота не будет в избах, и не зашуршат под ногами осенние листья в лесу, созреют и засохнут несорванные ягоды, зарастет травой улица и огороды, и я, грешный писатель (вот и признался вам, станем знакомы), не приеду поглядеть на амбар, пожалеть, что в прежние годы проезжал станцию Барабинск, а Ургулю и Остяцку только поклонился душой издалека.

— Хорошо говорите... Я чувствую, что это вы написали «Чалдонки»...

— Мало написал. Все про ночные вздохи, а Ургуль с Тарой спрятались... Так вот, стою я посреди улицы, подошла старушка, улыбнулась, поздоровалась, говорит, что она Пешкова Василиса. Я позабыл, где стояла изба Клавдии Шишкиной, и она показала мне рукой куда-то в ту сторону, где амбар. От старого моста шестой дом.

— За Егором Лавровым. Там пусто.

— Я пожалел, что так жестоко обходится с нами история, с Василисой попрощался и звоню вам...

— Это моя двоюродная сестра, ласковая, добрая, я ее звал Сюня.

— Я кой о чем порасспрашивал ее. Про амбар. Про стадо коров в колхозе. «Четыреста коров было, — сказала. — Сейчас в самом Ургуле три». Одна живет. «Мужа любила?» — «Любила не любила, а сорок восемь лет прожила, маленькими вместе росли». Хорошая, добрая.

Так я познакомился и после подружился с Алексеем Макаровым, которого окрестил вскорости «ургульским летописцем». Он был на пять лет моложе меня.

В ту мою далекую осень я мало что увидел, услышал и запомнил, и оттого Остяцк и Ургуль задержались во мне счастливой сказкой.

Ургуль был на сорок лет старше Остяцка, но почти ничего не известно о нем. Поздно родился летописец Алексей Макаров, все первопоселенцы и их внуки никем прежним не были опрошены. Кондовая жизнь в окружении урмана, озер и речек закопалась в землю, а голоса улетели в



небо. Идешь по одинокой улице — крыши, окна, старые тополя и кедровые молчат. Хоть плачь. Да и в те годы, когда я был молодым и намечал написать повесть «Чалдонки», почему не заехал пожить в деревне, лишился посиделок, песен, хмельных разговоров, старомодных речений чалдонов?

— Вы-то, поди, слышали в детстве...

— Огольцом удавалось попадать на девичьи посиделки за вином, наслушался кой-чего. Как-то бабы гуляли — Онька, Клавка, и я с ними сидел, слушал их; помню, Клавдия посердилась на меня: «Чего слушаешь бабы сплетни? Рано еще. Иди-ка на улицу». Я был несмелым.

— А говорили-то по-старому. Разве забыли? Зачинять двери, зачембарить (заправить рубаху), зашпила (дверной крючок).

— Приезжайте, звали в минуты расставания, чайку изладим. Чалдоны крестную мать звали «лелей».

— Зверовать (охотиться), защучить (крепко обнять), отопки (поношенная обувь), оболокать (одевать). Так со словами отнимались и другие приметы, поменялась сама жизнь.

— Сидят на завалинке мужики, рассуждают: «Клюква те года по болотам была, а щас вода сошла, и нет в урмане клюквы». Так и жизнь. Нету тех слов. Теперь чалдонский говор с примесью слов остяков исчез, ургульцев дразнили: «Чалдоны желтопупые». Э-эх, с каким удовольствием потосковал бы сейчас в Ургуле, поглядел за огородами на Конопляное озеро, а потом прошелся к Волосяному... Но надо лечиться.

— Амбар ждет вас...

— Обойдется без меня. Теперь на уборку не привозят, колхоз разорили, водить некого, своих девок наперечет. А мне не нравится, как амбар стоит. Стоит посреди большой поляны, ни туда ни сюда. Надо бы срубить его у околицы, сразу под лиственницей. Улицы Остяцка и Ургуля сориентированы по сторонам света. Амбар сам по себе. Некому туда заходить... Не будет в деревне больше ничего, что мы застали в детстве. По утрам ребятишки запрягут лошадей и везут женщин в поле на сенокос, а они поют. «Потеряла я колечко, потеряла золото...» Они ж после войны были вдовами. И домой вечером ехали и тоже пели. Зимой собирались мы с девушками у кого-нибудь в избе, по одиннадцать, двенадцать лет. Иногда ложились на деревянную большую кровать одетые и болтали, но руки не распускали. Эти длинные зимние вечера в Ургуле забыть ли мне?

— Вы говорите, а я тоскую. Неполную когда-то повесть написал. Приехал, потанцевал, что узнал? Но тайна местечка звучала. И я, наверное, не случайно по этой глухой жизни печалился вдалеке. А что там такого? Одна улица возле речки, сзади озеро и лес. Где-то недалеко медведи, волки. Сиротливая глушь, но для меня, горожанина, глушь поэтическая. Мелодия старинного одиночества втягивает меня сюда. Вчера шел из Остяцка, остановился на повороте Тары, там, где чуть подальше клуб спиной к реке, постоял, замер, как-то всех пожалел, посочувствовал, хотел, но не мог представить, как поселились первые, где поставили избу, сколько было семей, как кого звали, где заросли их могилы. И если деревня, не дай бог, в какой-то день опустеет, кто проедет мимо амбара последним?

— И позабудут всех, разве что в газетах найдет кто-то фамилии в списках надоев да в вашей повести. Онька, Клавка... А я влюблялся в Томку Лаврову, долго страдал. Опишу, но удастся ли увековечить?

— Пишите, пишите. Будет сочнее моих «Чалдонок». У меня в повести нету таких завидных строк: «Кругом росли венерины башмачки, ромашки и васильки». Я городской. А какой хороший заголовок: «Венерины башмачки».

— А я, пожалуй, назову повесть... «Ургульские страдания».

— Ну и ладно. Я уж больше не буду писать о любви. Но про «венерины башмачки» где-нибудь упомяну.

— Упомяните. Они синие, высокие.

— Так и останется со мной: чего-то не договорил я про эти остяцкие уголки. Чего-то тайного, тонкого, даже, может, пронзительного. Оно ушло вместе с долгой жизнью. Уеду и буду повторять чей-то вздох, написанный зеленым цветом на белом полотне в ургульском торговом ряду. На ярмарке в Северном.

\* \* \*

Я уезжал из Остяцка по мокрой старой дороге, описанной ургульцем Макаровым в очерке «Амбар», поглядел последний раз на изгиб Тары, на первые избы Ургуля, попечалился, будто прощался навсегда (да, конечно же, навсегда) с углами, где что-то осталось мое, сфотографировал через окно грустный, забытый в хозяйстве амбар и с прощальным настроением уединился в пустом автобусе, порою что-нибудь записывал в блокнотик, припоминал, как вот тут и вот тут ехал сюда три дня назад, ночевал в Северном вон в той же гостинице, въезжал на окраину, а теперь мне странно, что все уже кончилось и скоро опять буду я на станции Барабинская. Потом я потихоньку привыкну, а целый час, пока ждал поезда, все, что читал и о чем думал, тайно, глубоко сравнивалось с тишиной и сиротством двух деревень — Остяцка и Ургуля. Под потолком в фойе вокзала пестрели картинки в телевизоре, на скамейках кто-то, торопясь к прибывшему поезду, побросал газеты и журналы, и то, что мелькало с экрана, и то, что печаталось в цветных газетах и сверкающих лоском журналах, казалось чужим, пустым, даже оскорбительным. Там пели опротивевшие богатые певцы, что-то говорили президенты и министры в разных странах, где-то в Африке воевали страшные боевики, красивые женщины шли по улице в Париже, на листах в печатных строчках наши артистки хвастались своими любовниками, писатели обмывали на банкете очередную премию Букера, следователи нашли новых воров-губернаторов, актер Никита Михалков рассуждал о белогвардейцах. Я посматривал наверх, пролистывал газеты, а стороною или надо мной колебалось эхо дальней жизни, тускло сквозь расстояние светились окошки, молчали пустые улицы, укрывалась в сумерках Тара, и опаснее приближались к околицам лесные стены...

Через год любезный Макаров прислал мне на юг листочек.

## Клавдия

В. И., по вашей просьбе наконец-то нашел я под Кольиванью Клавдию Шишкину.

В конце лета в солнечный день поехал я к моей землячке. Сюда она перебралась к брату в том самом году, когда вы в другой раз (уже писателем) проскочили в наши места и почему-то не повидались с прототипами своей повести.

Ехал, думал-гадал: как она встретит меня, помнит ли? Я покинул Ургуль на десять лет раньше ее. Клуб там скромненький, в котором еще вы танцевали студентом, давно разобран на дрова. Кольивань проезжал с волнением и думал о вековом купечестве да о Чехове, который где-то здесь, наверное, и переправлялся через широкую Обь. Мерещилась мне старозаветная жизнь, все такое, что рассеялось с годами как дым вместе с устоем самой жизни, например, те растянутые на неделю свадьбы (без согласия отца-матери не сходились), и я вспоминал разговоры бабушки Маримьяны — как подружки водили невесту в баню, песню напевали, а невеста голосила с причетом, потом заплетали ей косу с лентами. Вот так ехал, навспоминал много всего, перебрал всех ургульских девочек и свою первую любовь, которая меня не выбрала, ну и молодых женщин вроде Оньки, Клавдии, моей двоюродной сестры Василисы и прочих ургулек и остячек. Клавдия в молодости была красивая, бойкая, ходила как бежала, косынку подвязывала с улыбкой, пела звонко. Все в Ургуле посчитали, что это она в «Чалдонках» выпускает к себе в полночь студента. Когда мне было одиннадцать лет, она еще работала в поле на сенокосе, а мы, огольцы, возили копны. Так я старался подъехать за копной к тому звену женщин, где была Клавдия.

Душа моя как-то тихо, мимолетно пожалела ее, когда я оказался на чужой, неургульской улице и стал искать номер дома моей землячки. Как она привыкала к новым людям?

Надо признаться, что ни к кому не входил с таким ощущением и волнением. Мы не встречались пятьдесят пять лет, а это целая жизнь. Я моложе ее лет на десять.

Вот калина в палисаднике, сибирские замкнутые ворота, чужой двор, крыльцо.

Открываю дверь в сени. Все чисто и расставлено по своим уголкам. На лавке ведра, засунутые одно в другое, в углу коромысло. Где же дверь в избу? Постучался. Никто не ответил.

— Хозя-ййка! Можно?

Захожу и оказываюсь в холодной комнате. По очереди дергаю двери, открылась третья.

— Можно войти?

В кухне обеденный стол, напротив кирпичная плита, справа шкаф.

Прямо — проем в большую комнату. У правой стены кровать, рядом стул с лекарствами. И вижу женщину, лежит согнувшись. В кофте и трикотажных спортивных штанах.



— Клавдия, здравствуйте... Я Алексей Макаров из Ургуля.

Она тяжело переворачивается и молчит.

— Я ничего не вижу, — еле произносит. — Кто вы будете?

— Я Макаров Алексей.

— В Ургуле нашем было две семьи Макаровых. Кроме бабушки Макарихи.

— Я сын Катерины. Брат мой Матвей. Сестра Мария.

— Где сейчас Матюшка и Манька?

— Матвей в Казахстане, Мария в Красноярске, старший Иван помер в Каинске, а Николай живет в Хабаровске. Я осенью поеду в Ургуль. Кому передать привет?

— Максиму Тишкину и Оньке.

Она поднялась, посидела, расставив руки, и опять откинулась на подушку. И не узнать ее, ургульскую. Красные пятна расползли по ее лицу, скулы костисто лоснились, щеки втянулись ямками. И это она, Клавка Шишкина, бегавшая в Остяцк после работы на танцы, мать двух дочерей? Мне стало ее так жалко.

— Озера Моховое, Волосяное, Конопляное не забыли?

Она молчала. Я решил подразнить ее приметами, именами.

— Волосяное все в траве. Карася в нем нет. Прошлый раз видел Оньку. Увидела меня, заплакала на моем плече. Не любит, когда ее называют... Онькой. Ольга Ивановна. Она долго жила близ Татарки, второго мужа похоронила и вернулась. Жили тридцать пять лет душа в душу.

Клавдия все молчала.

— У нее порядок везде. Везде лежат салфетки, сама связала. Маньку, сестру мою, вспомнила. Даже двор наш, вы тоже знаете, весь ромашкой покрытый, пахучей, с зелеными головками. А ваш двор такой же был? Девчонками пилили дрова на ферме, разве забыли? В сограх, говорит, стояла вода со снегом, а девчата заходили в нее по самую... девичью розочку (так и сказала) и пилили голенастые березы, чтобы легче кололись. Вас жалеет, называла красавицей. Дом ваш сломали, пусто... Телятниц у нас называли поярками. Помните? Я не выдержал и поехал в Ичинский рям, помните моховое болото? И, хотя голубика почти облетела, я наелся ее, как в детстве.

Клавдия молчала, не шевелилась, будто уснула. Она не могла и не хотела больше говорить. Опять перевернулась лицом к стене и забыла меня.

— Прощай, Клавдия...

Я вышел. Побоялся даже навести аппарат и щелкнуть. Обидно было увековечивать старость бывшей красавицы нашей маленькой деревни...

Умерла она 24 ноября 2013-го на 81-м году.

Да! Еще печальное. Амбар разобрали, доски и бревна увезли в Остяцк на ферму.

*Алексей Макаров*



Забыл сказать, что на станции Барабинская, когда я на перроне поджидал объявленный поезд, странно приблизился ко мне незнакомец. А я был навеселе.

На проводах возле Ургуля запрятала библиотекарь мне в сумку бутылочку рябиновой настойки, соленый огурчик и хлебушка. Провожали меня женщины той гурьбой, которая дружно пировала со мной в библиотеке, даже Оньку, Ольгу Ивановну, вытянули на минутку из дома; до поворота к Ургулю пели кержацкие песни, расстались, обнялись по очереди поблизости от амбара и долго стояли, глядели на кузов удалявшейся машины, грустно поднимали руки, и я прикинул, что они и стояли как раз там, где в конце моей повести две героини угоняют скот в Северное на убой.

В ожидании поезда я, укрывшись в углу на скамейке, попилал по глоточку без всякого стеснения и потихоньку захмелел, стал ласково звать невидимых остячек и ургулек. И все повторял: «Так кто же из вас срывал венерины башмачки, а ну, признайтесь! А ну, поклянитесь, что и мне сорвете, засушите и подарите...»

Незнакомец вглядывался в меня, наконец спросил:

— Не помните меня? Где мы виделись? А я вас сразу узнал. Вы мало изменились. Каким ветром в наши края? Ну да легко догадаться. Приезжали к чалдонкам? Я недавно перечитал роман «Когда же мы встретимся?». Но больше всего мне нравятся «Чалдонки». Клавка и Онька — как живые. Я еду до Татарской, дочка там. А вы туда же, в Тамань? Друг ваш Харитоныч живой? Теперь догадайтесь, кто я. «Люблю Остяцк, пусть деревенька небольшая...» Стихи из «Северной газеты».

— Никогда бы не подумал, что такая встреча возможна. Мистика. Будто кем-то подстроено. Тамань. Через столько лет Остяцк, Ургуль. И такая встреча в Барабинске.

— Клавка с Онькой подстроили.

— Небось так.

— Как они?

— Они уже старенькие.

— А для тех, кто прочитает вашу повесть, они так и будут молоденькими полуночицами. Я бы их тоже полюбил. Чалдонки.

— Я к таким и ехал... Но жизнь, оказывается, проходит...

— И уже не будет, как в стихотворении — остяцкий колхозник писал, как раз когда вы приезжали: «И, молоко по кружкам разливая, сидели мы вокруг стола»... Прощайте.

2016 г.

**От редакции.** Редакция журнала «Сибирские огни» поздравляет замечательного русского писателя Виктора Ивановича Лихоносова с 80-летним юбилеем и надеется на дальнейшее творческое сотрудничество.

Александр ДЬЯЧКОВ

**ПРО ЭТИ СВЕТЫ**

**Светы**

Машина проедет где-то  
от дома недалеко,  
и пробегают светы  
в детской на потолке.

Стоит на окне алоэ.  
На окнах решеток нет.  
О, детство мое голубое,  
почти что фаворский свет.

Родители смотрят телик,  
мне хочется тоже до слез.  
Сяду за дверью, у щели,  
на старенький наш пылесос.

Байковый мамин халатик  
рядом висит на крючке.  
И снова машина прокатит  
где-нибудь недалеко.

Такое вовек не забудешь,  
нет-нет да и вспомнится вдруг,  
как превращались в чудищ  
темные вещи вокруг.

Залезу под плед с головою —  
 Надежней защиты нет.  
 О, детство мое голубое,  
 почти что фаворский свет.

И может быть, стал я поэтом  
 (надеюсь на твердую пяту),  
 чтобы про эти свету  
 эти стихи написать.

### На даче

Торчит из розетки зарядка,  
 в окошке картошка цветет.  
 Да, жить в этом мире не сладко,  
 но каждый ворчит да живет.

Скрипят дверцы у шифоньера,  
 зубная оборвана нить.  
 И если б, ребята, не вера,  
 я б выбрал, должно быть, не быть.

Жена усыпляет Дарюшу  
 и кормит грудным молоком.  
 Кому же я роздал всю душу,  
 что с ними сижу чурбаком?

Завалены Дарьей Донцовой  
 три полки и два стеллажа.  
 И вроде подвластно мне слово,  
 но прежнего нет куража.

Жена обработала «Дэтой»  
 всю комнату от комаров.  
 Какое дождливое лето!  
 Знать, будет навалом грибов.

## В больнице

1.

Вдоль наркологички  
шел я по делам.  
Из окна больнички  
мне сипит мадам:

— Нету сигареты?  
Слушай, угости!  
Я сказал, что нету.  
Тут бы и уйти...

Я был неофитом  
и уйти не мог.  
Начал с кротким видом  
затирать урок.

...У окна больнички  
нынче сам залип.  
Никакие спичи  
мне не помогли б.

В общем, если... это...  
человека жаль,  
выдай сигарету,  
проглоти мораль.

2.

Курить не хочется,  
но, как в бреду,  
от одиночества  
курить иду.

Маньяки, нарики,  
бытовики.  
Коплю чинарики,  
курю бычки.

А то и целую  
стрельну порой.  
Что здесь я делаю?  
Пора домой.

Александр ЛОМТЕВ

## ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ

Р а с с к а з ы

### Мыкола

Солнце зацепилось за корявые ветви дальних сосен и висело в них, наливаясь красным жаром. Но это был обман — оно совсем не грело. Мы брели по желтой песчаной дороге, которая превратилась в дно мелкой прозрачной речушки, апрельская талая вода сбегала в нее, и сквозь резину сапог и шерстяные носки чувствовался ледяной холод. И все же идти по залитой дороге было приятнее и легче, чем по ноздреватому серому снегу, который большими пятнами лежал среди густого кустарника. Лес потихоньку замолкал. И голос Мыколы резко раздавался среди замерших темных стволов:

— Тетерев — птица страх осторожная. Подойти к ней трудно-трудно... А особенно глухарь... Ну, услышал ты глухаря, что делаешь? Пока он токует, ты махать, махать на звук, но как слышишь «чуфш-ш, чуфш-ш-ш» — сразу замри! Как прямо встал — так и замри. Так на выстрел и подойдешь, если не дурак...

Мыкола шагает нешироко, но быстро, вдруг сворачивает с дороги, исчезает в кустах и через минуту появляется совсем не там, где ожидаешь его увидеть.

Мальчишка, увязавшийся с нами на тягу, догоняет его, семенит сбоку, спрашивает:

— Дядь Мыкола, а кого труднее стрельнуть — глухаря или тетерю?

— Обоих трудно; вальдшнепа легче, красться не надо — встать только удачно, и жди себе.

Мы выбрали наконец на сухое место. Мыкола остановился, присел на корточки.

— Вот гляди... вишь, говна — это глухаря говны. Тут вот сосна, значит, тут сухо, здесь костер и разведем.

Мальчишка плюхнулся на покрытый сосновой иголкой пригорок:

— Ты, дядь Мыкола, прямо Дерсу Узала...

— Смеешься? Смейся, смейся, вот щас по лбу дерсну, будет тебе узала.

— Мыкола, да это человек такой таежный был, — засмеялся мальчишка, — все о природе знал... как ты.

— Индеец, что ли?

— А ты что — индеец?

— Шел бы ты за дровами... Да с полу не бери — лежачее все отсырело, ломай стоячее. Дуба тут нет — сыро. Сухой дуб — самое жаркое дерево...

Огонь разгонял тьму, плясал на задумчивых лицах, на рыжей коре сосны. Мы, сморенные усталостью и ужином, задремывали. Только Мыкола все не мог успокоиться, вскакивал, убегал зачем-то во тьму или просто стоял, задрав голову к кронам, словно принюхивался и слушал что-то, нами не слышимое. Потом подбрасывал сучьев в костер и снова садился.

— Спать станете, руки из рукавов фуфаяк выньте и к телу прижмите — так теплее. Под утро холодно будет, гляньте, как вылезло...

Все задремали, а от меня сон что-то отлетел, да и Мыкола все возился, бормотал что-то сам с собой.

— Мыкола, ты зачем живешь?

Мыкола вопросу не удивился, помолчал, поворошил веткой в огне:

— А хрен его знат. Ну вот, к примеру, нападут на нас американцы — они всех сейчас что-то бомбят. Или те же китайцы... Кто на войну пойдет? Меня забреют... А ты говоришь — зачем... За надом...

— А если войны не будет?

— Дак слава ж богу! Хорошо же, если не будет!..

Уже сквозь сон я слышал, как Мыкола поднимался, бормотал что-то, подбрасывая в угасающий костер ветки, и чувствовал, как тепло волнами наступает на окружающий нас ледяной апрель...

## Прощанье

Паром уходил утром, и весь вечер допоздна они сидели на берегу у большого костра, разожженного из плавника и сухого саксаула. Жарили на прутиках куски лепешки, пили портвейн и болтали о том о сем. Все, конечно, завидовали Белле. Кто больше, кто меньше, но все. Белла уезжала в Москву. Сначала на пароме в Баку, а оттуда самолетом в столицу. У Беллы в Москве дядя, он обещал пристроить племянницу в институт.

Костер отгонял ночную прохладу пустыни, портвейн грел изнутри, ветерок с Каспия нес знакомые запахи подгнивших водорослей, сырого песка и дизельный дух порта. Сбоку отсвечивал тусклым электрическим заревом Красноводск.

Белла была рядом, мелкими глоточками пила вино, закусывала подгоревшей лепешкой, но смотрела на всех как будто уже издалека. И вроде даже несколько снисходительно, как коренная москвичка на провинциальных родственников. Это было обидно, но никто не показывал виду. Из Красноводска редко кому выпадало уехать так далеко: поступить в вуз в Ашхабаде уже считалось большой удачей, а тут — Москва.





И если уж кому и должно было повезти, то, конечно, Белле, отличнице и красавице, да еще и с таким именем. Поэтому завидовали по-хорошему. И каждый втайне думал, что это даже неплохо, что в столице обоснуется свой человек, будет к кому прийти в гости, а то и переночевать, подвернись случай оказаться в Москве. Мало ли, командировка, туристская путевка, мало ли...

Костер рдел в ночи горячими рубинами, тьякали из темноты шакалы, ночная птица кричала со стороны скал, нависших над засыпающим городом, Каспий мерно дышал и шелестел волной. У них был дружный класс, и всем было грустно. Скоро почти каждому предстояло уехать, но первой — и так далеко! — предстояло уехать Белле. Она грустила вместе со всеми, но легкое нетерпенье уже волновало сердце: что там, как там... Москва, все новое, большое, настоящее...

Через два года Советского Союза не станет, Москва окажется в другом государстве, русские из Краснодарска будут уезжать, и вскоре и родители Беллы, продав по дешевке квартиру, уедут в Россию. Про тот вечер как-то быстро забудется, жизнь пойдет такая, что станет не до сентиментальных воспоминаний. Беллу, впрочем, иногда будут вспоминать в поредевшей компании одноклассников, но где она, закончила ли институт, вышла ли замуж, нарожала ли детей, никто уже не узнает...

А Белла тот вечер отчего-то будет вспоминать всю жизнь. И костер, и прохладу, подступающую из весенней пустыни, и плеск невидимого в ночи Каспия, и подгоревший на огне кусок лепешки. И блестящие то ли от бликов костра, то ли от игры портвейна в молодой крови глаза одноклассников. И те надежды, которые волновали тогда душу, независимо от того, сбылись они или нет.

## Метровой

Это я сейчас метровой. А когда-то давным-давно обычным домовым был. Домовой как домовый, жил себе за печкой. Печка в доме. В избе. Изба на улице, улица в поселке пристанционном — Замшелое называется. Все как положено было: и печка, и радио, и сверчок, придурковатый правда, все невпопад свиристал; и хозяева ничего себе так.

А потом пришла какая-то перестройка. Откуда пришла, зачем — не знаю, только вскоре хозяева мои с места снялись и уехали. А потом и почти весь поселок опустел. А потом дом загорелся, я со сна едва выскочил с бородой обгорелой.

Иду себе, иду да и вышел на станцию. Я поездов никогда и не видел, слышал только часто, как они перекрикиваются. Я их себе немного другими представлял.

Ну вот как-то и стал вагонным в скором Москва — Владивосток. В общем-то, все то же: и печка была, только поменьше, и радио... сверчка только не было... да народ все время разный. А так — ничего... Москва от Владивостока, как мне кажется, совсем не отличается, даром что расстояние промеж ними такое огромное. Да мне что, едешь и едешь, колеса

стучат, огни мелькают. Сверчка только жалко, сгорел, поди. А может, и не сгорел...

Но как-то ночью вышел погулять по перрону, забрел за какие-то вагоны, привокзальные строения, а поезд-то взял да и ушел. Конечно, настоящий вагонный дорогу в свой вагон найдет в любом уголке Земли; впрочем, какие у Земли углы — круглая она, это даже самая отсталая кикимора знает. В общем, добрел случайно до метро, решил покататься, и так мне это метро понравилось, что нашел незанятый вагон, в нем и остался.

Попервоначалу к столпотворению трудно было привыкнуть, да и прятаться почти что негде, того и гляди бороду отдавят. Одно время даже в мерседесовые пойти хотел. Знакомый один гостиничный поспособствовал. Однако поездил-поездил на одном, посмотрел, что за люди... тоска взяла. Жирные дядьки да тощие теткы, и все про одно и то же: деньги, деньги, деньги... Бывает, ребяташки едут, маленькие совсем, и те — про деньги. Будто, кроме денег, и нет ничего на свете. В общем, вернулся в метровые.

Тут, правда, тоже бывает... Иной раз войдет — в черном, длинном, с крестом на брюхе, так ты будто быть перестаешь, сам в себя не веришь. Но это редко, они, черные, тоже больше на «мерседесах»...

А вообще здесь народ попроще, но повеселее, поразнообразнее. То анекдот новый услышишь, то в обрывке газеты что прочтешь. Я тут и читать-то выучился.

Только вот иногда начинает глотать какое-то беспокойство. Какое-то даже слово для этого есть... Дежавю?.. Нет, по-другому как-то. Во — анастальгия! По старенькому своему домику в Замшелом тоскую. По вьюге с волчьим воем, по печке и огню в ней, по сверчку бестолковому... Один старый метровой сказал мне, что это от скорости. Действительно, летишь порой, летишь, а куда, для чего... А на перегоне Полежаевская — Октябрьское Поле поезд вообще так летит, так летит, что даже тревожно становится. Все быстрее, быстрее, быстрее, будто и вся Земля разгоняется и разгоняется. Аж голова кружиться начинает. И вот так, чтоб тревога ушла, глаза, бывает, закроешь и думаешь: состарюсь, лет триста минет, поеду на Казанский, сяду на Москва — Владивосток, вернусь в Замшелое, может быть, сверчка найду, мог ведь он не сгореть, правда? Найдем домик какой уцелевший со старой бабкой — и заживем, приключения молодости вспоминаячи. Другие метровые надо мною смеются, правда, говорят, лет через сто на Земле и людей-то не останется, одни китайцы будут. Ну, людей-то, может, и не останется, а Замшелое-то, я чаю, сохранится, куда ему деваться-то...

## Васёк

Васёк очень не любил пустыню. А за что ее любить? Летом в Каракумах от жары звенит в ушах, мелкий противный песок лезет во все щели и скрипит на зубах, а от солнца в глазах разноцветные круги, не помогают даже солнечные очки. Но в Каракумах хорошо платили, за сезон можно было накалымить столько, сколько в родном поселке не заработаешь и

за три года. Поэтому время от времени Васёк срывался из своих вятских краев и вербовался в Ашхабаде в автоколонну. Гонять КамАЗы по транскаракумской трассе было тяжело, зато в родной городок Васёк возвращался королем, пахнущим дальними странами и большими деньгами.

Еще больше пустыни Васёк ненавидел ее обитателей. Когда в самой первой командировке ему посоветовали утром, прежде чем одеться, вытряхивать одежду и обувь, он решил, что над ним смеются, как над любым салагой-новичком смеются везде, хоть в Чите, хоть в Астрахани, хоть в армии, хоть на лесозаготовках. Однако, увидев, как старые водилы, поднявшись с постели в дырявом сарае, называемом «Домом колхозника», встряхивают шмотки, неуверенно потряс штаны и сам. И из штанов выпала какая-то дрянь — паук не паук, скорпион не скорпион.

— Сколопендра, — сказал почти безразлично напарник, а попервоначалу и добровольный наставник дядя Ваня, и, перевернув собственные сапоги, вытряхнул на пол скорпиона.

Всех этих многоногих, иногда мохнатых, иногда хрустко жестких тварей Васёк боялся и ненавидел, давил при первой возможности и неодобрительно удивлялся, когда дядя Ваня говорил:

— Всякая тварь для чего-то богом создана, к чему-то приспособлена. Вот змея... Не трогай ее — и она тебя не тронет, а ейным ядом страшные болезни лечатся. Вот человеку и польза...

Насчет бога Васёк с дядей Ваней не спорил — бесполезно; у него у самого матушка такая — все, мол, сотворил боженька, значит, все для хорошего. А если кажется, что для плохого, то этого человеку не понять — скрытый промысел. Васёк же со школы помнил, что все сотворил Дарвин, что животные делятся на домашних и диких. Домашних надо употреблять в пользу, а диких по возможности истреблять. Тем более таких, как всяческие каракурты, скорпионы и гюрзы.

— Убить божью тварь недолго, — говорил, бывало, за вечерним зеленым чаем, который Васёк приучился пить только здесь, дядя Ваня, — но зачем? Тебе от этого лучше станет?

— Станет, — упрямылся Васёк. — Одной гадиной меньше будет.

— Это зло, — убедительным голосом говорил старый напарник. — А зло всегда отдается злом...

В тот день они выехали из Куня-Ургенча ранним утром. Дядя Ваня дремал, а Васёк крутил баранку. Пустыня быстро наливалась жарой, и, чтобы отвлечься, Васёк стал думать о своих родных холодных краях, где самая опасная гадина — безобидная гадюка. Он вспомнил, как в детстве с приятелями наткнулся на одну у лесной речки и как они засекли ее ивовыми прутьями, а потом героями принесли домой. Девчонки во дворе визжали, мальчишки завидовали храбрости, а мать сильно отругала...

На обед они съели дыню и напились горячего чая из большого термоса. Пески вокруг пошли барханами, кое-где корявился саксаульник, солнце зависло в самом зените, и над асфальтом плавало водяное марево.

И тут Васёк увидел гюрзу. Она, быстро извиваясь, скользила вдоль дороги, видимо собираясь переползти через трассу, но все никак не решалась коснуться раскаленного липкого асфальта.

— Ах ты, гадина! — пробормотал Васёк и крутанул руль вбок. КамАЗ качнулся так, что дремавший дядя Ваня встрепенулся: что?!

Васёк остановил машину и открыл дверцу:

— Гюрзу задавил, пойду посмотрю...

— Да куда ты, не ходи! — забеспокоился напарник.

Колесо переехало змею ровно посередине. Она извивалась и пыталась ползти, но, конечно, никуда уже уползти не могла. Васёк подошел к ней, и злорадная злость к змее вскипела в нем.

— Получила, сука! — Васёк пнул ее пыльным сапогом.

И тут гюрза извернулась и мгновенно клюнула Ваську в сапог. Сначала Васёк даже не понял, что зубы прошили грубый брезент и вонзились в лодыжку. А когда понял, в слепой ярости принялся топтать змею каблуками, при этом гюрза успела еще раз клюнуть его в сапог... Наконец, вся разбитая и разможенная, она вывернулась на спину, широко открыла пасть и застыла, слепыми глазами глядя куда-то в пустыню.

Васёк умер минут через двадцать в кабине бешено мчащегося КамАЗа. О чем он думал в последнюю минуту своей жизни — неизвестно, поэтому я не буду врать, что якобы в предсмертном бреде ему привиделась та забитая ивовыми прутьями гадюка из детства. Хотя, в принципе, этого исключить нельзя.

## Шпион

И чего это я вдруг вспомнил... Среди ночи... Чего только не всплывет в памяти в бессонницу. Да и вспомнил-то словно в тумане, смутно. Странно как-то... В каком же году это было?.. И сколько мне было лет?.. Сталин уже умер?.. Да, умер, а Хрущева еще не сняли. Лет пять, что ли?..

Каждое лето родители «ссылали» меня в деревню. Сначала я скучал по городу, а к концу лета плакал, когда приходилось уезжать из дедова дома, от деревенских друзей назад, в город.

А случилось тем летом вот что...

В августе в деревню раз в неделю стал наезжать тряпичник. Такой нестарый мужик на телеге, которую волокла тощая рыжая лошадь. Мужик собирал всякую ветошь, шкуры, старые сапоги, ржавые сковородки, прогоревшие чайники и прочую дрянь, а взамен давал иногда мелкие деньги, но чаще — яблоки, свистульки, игрушки, хозяйственную мелочь вроде оселков, спичек, мыла, суровых ниток и стекол для керосиновых ламп. Да, сейчас молодые-то и не знают, что такое керосиновая лампа, в кино разве что видели.

И вот сию я как-то вечером с другими ребяташками на крыльце у тети Мани и слышу, как она разговаривает с соседками:

— Станный какой-то тряпишник в этом году. В том годе другой был — старый. А этот — молодой... и разговаривает по-городскому. Отчего ж такой молодой, а тряпишник?

— Вот ить и цену толком не знат! — поддержала ее соседка. — Как попало рассчитыват. Неправдашный какой-то.

— Муку обещал привезти, — подхватила еще одна тетка, — я шутя попросила, а он возьми и пообещай. Да разве всем муки навозишься!

— И вот что само-то главное. — Тетя Маня понизила голос и недовольно оглянулась на наострившую уши мальшню. — Все про город расспрашивают. Все выспрашивают и выспрашивают...

А город — это как раз тот город, где я жил со своими родителями; город был «секретный», окруженный колючей проволокой, вдоль которой ходили солдаты с автоматами и гавкающей остроухой собакой. Когда мы возвращались из деревни, в воротах солдат с суровым лицом внимательно смотрел то на фотографию отца в пропуске, то на самого отца, а потом переворачивал талон пропуска и строго спрашивал меня:

— Как тебя зовут, мальчик?

И каждый раз я очень боялся сказать вместо правильного «Саша» неправильное «Вася» или «Коля».

Все в окрестных деревнях знали про секретный город всё — и то, что там огромный подземный завод, что там подземный склад атомных бомб и что даже аэродром там подземный. Но это свои, советские. А тут...

Сначала соседки долго молчали, раздумывая, а потом одна говорит:

— А когда он обещался-то?

— Да в эту субботу и обещался. Давайте-ка мы председателю скажем. Как приедет тряпичник, ты, Любаша, попроси его подождать, будто ветошь забыла. Мы его чаем поить станем, а ты в это время за председателем и сбегашь, а он уж сделает... что надо.

Три дня я ходил под впечатлением того страшного разговора, шептался с братьями, и мы даже смастерили луки и стрелы, чтобы помочь, если потребуется, председателю с мужиками арестовывать шпиона. Но так долго тянутся летние дни в деревне и так много неотложных дел и забот... На дальний пруд карасиков половить со старшим братом сходить надо? Надо, когда еще позволит! Новорожденных щенков у Колькиной легавой суки посмотреть надо? Надо! И в картофельный склад, раскрытый на просушку, проникнуть необходимо, поскольку только там можно голыми руками изловить пудика, а потом посадить его за пазуху и слушать, как он там возится, щиплет кожу на животе и чирикает. В общем, к субботе я про тряпичника забыл.

А субботним вечером в деревне все только и говорили о том, как бабы у тети Мани в избе шпиона вязали. На закате я сидел на свежем банном срубе на задах бабушкиного дома и, втайне глотая слезы обиды, слушал рассказы очевидцев, внучков тетки — настоящую сагу о том, как соседки хитро заманили тряпичника в дом, как председатель замешкался и тряпичник, несмотря на уговоры, а может, и почуяв опасность, собрался уезжать, как бабы набросились на него и связали заранее приготовленными веревками, с помощью которых носят вязанки сена. Как приехали потом военные люди, вызванные председателем по телефону, и забрали связанного тряпичника. А телегу и лошадь оставили в колхозе, только из телеги все переложили в машину-полуторку, даже сено и тряпье.

Потом, гораздо позже, уже когда мне стукнуло лет двадцать, я на каком-то родственном мероприятии, то ли свадьбе, то ли похоронах,

спросил тетю Маню, что было с тем тряпичником, действительно ли он оказался шпионом.

Но тихая, добрая тетя Маня ответила сердито:

— Што ты придумывашь? Какой шпион, эт у тебя детски фантазии каки-то!

Я обиделся, а когда вышел на крыльцо подышать свежим воздухом, вышел вслед за мной дядя Паша, муж тети Мани, сел рядом на лавочку на том самом крыльечке и тихонько сказал:

— Не спрашивай ты ее, не скажет. С них ведь со всех подписку взяли. Разве не понимаешь?

И обида сразу прошла, а на душе стало легче.

\* \* \*

Когда советские времена закончились, я все собирался расспросить тетушку про тот случай, да все забывал и забывал. И вдруг среди ночи отчего-то вспомнил. Что интересно, и крыльцо, и соседок, и звуки того вечера, даже запахи помню ясно, будто все вчера было, а себя и того тряпичника — смутно, словно в тумане.

А может, и правда, ничего не было и все это детские фантазии?..

## Витёк

Осенью было проще всего. Осенью Витёк жил тем, что воровал в чужих садах яблоки и продавал их на трассе проезжим горожанам. Благо местность славилась своими яблоневыми садами и не у одного, так у другого, не у другого, так у третьего хозяина урожай всегда был. Конечно, приходилось уходить подальше, поскольку на своей остановке, где торговали все сельские, могли и побить. Это только для несведущего глаза все яблочки одинаковые, а хозяин сада враз узнавал произведения своих яблонь, и пару раз Витька лупили. Так что трясти яблоньки забирался он только к старикам или совсем беспечным молодым, а торговать уходил рано утром и подальше.

Трасса была оживленной, и сидеть у обочины со своими ведрами Витьку подолгу не приходилось. Деньги он сразу нес в ларек, где и за таривался родненькой, а потом пил, пил, пил... Закуску не покупал — зачем она, если есть яблоки? А уж если живот подводило, можно было накопать на колхозном поле картошки да отварить.

Работал Витёк только зимой: то дров кому поколет, то снег у правления расчистит, то поможет забить свинью. Хуже всего было весной: и подработки никакой, и кое-какие запасы безнадежно кончаются, а уж взаимы тем более никто не даст. И бывало, что голодал Витёк не по одному дню.

Когда-то была у него постоянная должность — тракторист. И, несмотря на пристрастие к выпивке, колхоз прощал Витьку его непутевость, жалея семью да ценя умелые руки. Но времена изменились и новые, городские хозяева колхоза терпеть Витькины загулы не пожелали. К тому



же дети выросли и уехали, а жена померла. В общем, выгнали Витька без выходного пособия. А он вроде не очень-то и расстроился. И жил он мечтой — получить пенсию. До пенсии было еще не близко, но сама перспектива получить ее, пусть даже маленькую, грела душу. Вот об этом он и мечтал, сидя на чурбачке у обочины под щедрым осенним солнышком или под дырявым плащом в дождливый день.

В селе Витька сначала жалели, а потом возненавидели: здоровый мужик крадет у пенсионеров. Предрекали ему, что однажды кто-нибудь застукает-таки его за воровством да пристрелит из старой двустволки, защищая частную собственность. Но ошиблись: года за три до достижения пенсионного возраста Витёк попал под колеса автомашины. То ли сам Витёк был выпивши и шагнул дальше положенного с обочины, то ли водитель зазевался, но помер несостоявшийся пенсионер еще до приезда «скорой».

Витька быстро и неряшливо похоронили, а водитель отправился на поселение, или, как говорят в народе, «на химию» — за неумышленное причинение смерти.

Сельские очень переживали и жалели.

Не Витька, конечно, водителя.

## Инга

Инга была редкой собакой. Из милицейских собак нашего городка Инга была самой-самой. Верткая и маленькая, на самом нижнем пределе, разрешенном для «немцев», она ласточкой перелетала двухметровые барьеры, носилась по самым узким бумам и могла даже забраться на крышу по пожарной лестнице. Правда, вниз ее приходилось спускать под мышкой или с помощью веревки. След брала, когда уже ни одна другая собака и не пыталась, и не только брала, но и неизменно приводила в любое, даже самое тайное воровское или хулиганское убежище хоть в дождь, хоть в снег, хоть в землетрясение. Не боялась ни ножа, ни пистолета... да хоть и самого черта. Чудо, а не собака!

И все же был у Инги тайный порок. Впрочем, тайным он был только для начальства, остальные, и люди, и собаки, в милицейском питомнике о нем знали: Инга люто ненавидела кошек. Многие собаки не любят кошек, не зря же в народе бытует выражение «живут как кошка с собакой». Но тут все было в каком-то гипертрофированном виде. Сколько почитаемых в Египте и мало замечаемых в России животных — рыжих, полосатых, пятнистых, гладкошерстных и пушистых погибло внезапной смертью в железных челюстях Инги — не сосчитать! Ей и внушения делали, и стыдили (а хорошая служебная собака понимает, что такое стыд), и даже, хоть это и не поощряется, слегка били — ничего не помогало: стоило Инге увидеть кошака, она теряла власть над собой.

Может, ее в щенячьем возрасте какая кошка подрала, может, еще что-то — неизвестно, какая уж там мелодрама когда-то в ее собачьей судьбе приключилась.

— Нет уж, у всякой собаки хоть какой недостаток должен быть, — говорили старожилы питомника, — и чем умнее собака, тем заковыристей

недостаток. Вот Нордост — так себе овчар, средненький, так у него и придурь средненькая: он все время зарывает свою миску. Как только хлебку съест, так хватает миску и в дальнем углу вольера ее и зарывает. А поскольку пол в вольере деревянный, то и трудится порой бедняга часа по три, пока из сил не выбьется.

И вот однажды, пройдя положенный маршрут, проводник (милиционеров, которые с собаками работают, проводниками называют; к железной дороге эти проводники никакого отношения, естественно, не имеют) привел Ингу в один скверик. До конца дежурства было еще с полчаса, вот он и решил — пускай собачка на воле по травке среди лип побегает.

Как говорится, ничто не предвещало: Инга бегала себе по скверу, у ларька мужики пиво пили и умилялись, какая у гражданина милиционерского собачка умная, прохожие осторожно посматривали — мало ли...

А у киоска, в котором пивом торговали, прижился старый бездомный кот. Если сравнивать с кем-нибудь, я бы сравнил его с коком Джоном Сильвером. Только у знаменитого пирата не было ноги, а у этого кота — уха. А рожа — ну совершенно такая же пиратская! Глаза наглые, ухмылка скептическая, усы обтрепанные, хвост — как у спившегося денди тросточка через локоть. И ходил он так, словно всю жизнь по морям-океанам болтался — враскачку, не торопясь, дороги никому не уступая, даже ощущение возникало, будто он время от времени через плечо сплевывал.

Ни один городской кот в здравом уме и трезвой памяти и не подумал бы в сквер сунуться. Кому же жизнь не дорога...

Проводник про кота не знал — и появление «пирата», засмотревшись с завистью на пьющих пиво, прозевал. А когда увидел, было поздно: Инга с горящими глазами двинулась к коту. А кот не только не сделал попытки бежать или, например, вознестись на ближайшую липу, а напротив, задрал облезлый хвост, как боевое гвардейское знамя, направился навстречу лютой гибели. И милиционер, и прохожие, и любители пива застыли, ожидая мгновенной неминуемой развязки. Какая-то старушка прикрыла ладошкой глаза пятилетнему внуку, чтобы дитя не увидело кровавой расправы и детская психика не была бы травмирована на всю оставшуюся жизнь.

Инга вдруг замедлила ход. А кот... не замедлил. Инга встала, а кот не только не остановился, но и еще надал, начиная тихонько подвывать в предвкушении славной схватки. Инга попятилась, и окружающие вдруг нехорошо заулыбались. Милиционеру стало недовко. И вдруг кот, как заправский каратист, завопил на весь сквер: «Йя-а-ау!» — и бросился на бесстрашную милиционерскую собаку. И Инга бежала, поджав хвост и рванув из сквера, словно за ней гнался разъяренный тигр, а следом, размахивая бесполезным поводком, торопился догнать опозорившуюся подопечную красненький от стыда милиционер.

Старушка перестала зажимать своему внучку глаза и зажала ему рот, поскольку пацан с наслаждением заржал вслед милиционеру из всех своих пятилетних сил.

Кота любители пива в тот вечер накормили так, что он потом сутки лежал за ящиками на спине, раздувшийся, как мохнатый арбуз, и стонал.

И до того бывший заметной достопримечательностью сквера, кот стал настоящим героем городка и любимцем пивняков.

А Инга сильно изменилась. Все ее достоинства остались при ней, но недостатка своего она лишилась напрочь. Мало того, стоило ей за-капризничать, что, честно скажем, случалось крайне редко, проводнику достаточно было сказать: «Тас в сквер к коту отведу!» — и она тут же становилась паинькой.

— Это такая собака, — говорили о ней с тех пор в питомнике, — каких на свете не бывает! Ни единого недостатка у собаки. Она после смерти, дай ей бог здоровья, точно в рай попадет.

## Возвращение

Девяносто один год — не шутка. Но он решил дойти до этой дереушки. Он брел по каменистой тропе, внимательно глядя под ноги и выискивая место поровнее, прежде чем поставить ногу. Узкое ущелье не давало солнцу напрямую калить рыжие каменистые стены, но все равно было жарко. Очень жарко. Рудольф неторопливо шел по тропе, временами впадал в задумчивость, и ему казалось, что он вернулся в прошлое. Вот сейчас его окликнет идущий по пятам Ганс и кинет ему флягу с тепловатой водой. Конечно, тогда, весной сорок первого, он не плелся вот так среди этого дикого нагромождения камней, а быстро шагал, перескакивая булыжники и озерки пересыхающего, пропадающего в камнях ручья. И все время ждал выстрелов.

Это был очередной карательный рейд, но греки не боялись их. Они очень хорошо знали каменные лабиринты своего ущелья и после каждого короткого ожесточенного боя ускользали, не давая опомниться. До самого исхода с Крита им так и не удалось выбить греков из ближайших гор.

Но в тот день получилось захватить связного. Так решил Ганс: этот испуганный подросток — партизанский связной. Ему прострелили ногу, и после допроса, чтобы не тащить раненого по жаре через ущелье, Ганс приказал пристрелить мальчишку. И его пристрелили...

Рудольф, чтобы отвлечься, принялся вспоминать прочитанное в путеводителе. О рощицах шелковиц и инжира, растущих вокруг источников, о соснах и медоносных цветах, о пастушьих домиках митато, построенных из грубого камня даже без скрепляющего раствора, о горных козах крикри, о старых арочных домиках с мансардами в маленькой дереушке.

Дереушку они сожгли еще раньше. До того как пристрелили мальчишку. К развалинам этой дереушки ему и нужно было добраться. Зачем? Он и сам не знал.

Он шел и медленно думал о том, как тут жили люди. Пасли стада овец, строили водяные мельницы, охотились, рожали детей. А в праздники жарили ароматное мясо и запивали его огненной цикудьей. Пели и танцевали. И тут пришел он, Рудольф. И Ганс. И другие рудольфы и гансы. И расстреляли того мальчишку. Зачем? Почему? Для какой высшей цели? И что изменила эта смерть? Что-то изменила...

Рудольф добрал наконец до деревушки. И ничего не узнал. Но воспоминания нахлынули на него с такой силой, что он невольно осел на ближайший валун.

Ганса застрелил снайпер через месяц после того карательного рейда, и он сам рассказал об этом невесте Ганса потом, уже после войны. Сегодня ему было особенно жалко и Ганса, и того греческого мальчишку, и он никак не мог понять — кого больше. Как же так, столько лет прошло, а сердце все болит и болит. И ничего не изменить. И все продолжается: где-то другие рудольфы и гансы стреляют в других мальчишек.

Рудольф вдруг затрясся и зарыдал.

Непонятно откуда, словно прямо из скалы, к нему подбежали греки-инструкторы. Он на плохом английском объяснил, что с ним все в порядке, что просто он воевал тут когда-то против них, греков. Он не знал, что толкало его, но все рассказывал и рассказывал, захлебываясь слезами, и про карательные рейды, и про сожжение деревушки, и про расстрелянного парнишку. Греки повернулись и ушли. И Рудольфу показалось, что он остался один на целой планете и что это горячее ущелье — его личный ад.

Но греки вернулись. Они принесли с собой бутылку цикудьи, хлеб и миску с оливковым маслом. Они наливали цикудью в маленькие стаканчики себе и Рудольфу, пили, ломали хлеб, макали его в масло, снова пили и плакали вместе с Рудольфом.

Проходившие мимо туристы с изумлением разглядывали трех плачущих мужчин, одного очень пожилого и двух молодых. А те пили и плакали, пили и плакали...

## Время подумать

Станция называлась красиво — Семь Колодезей. Романтично. Но они приехали слишком поздно и сразу поняли, что дальше не уехать и до Казантипа сегодня никак не добраться. И Сергей снова пожалел, что соблазнился этой поездкой. Еще один вечер пришлось сидеть на спальных мешках, расстеленных прямо на газоне среди чахлах кустов за древним вокзалом, слушать бряканье гитары и самозабвенное завыванье активно наслаждавшихся дикой жизнью спутников. Костер в сквере не разожжешь, ужинали какой-то консервированной чепухой.

Черт, вздыхалось Сергею, хотел убежать от тоскливых мыслей, а тут, наоборот, только и делаешь, что думаешь да вспоминаешь! С того дня, как они расстались с Наташкой, прошло два месяца. И вот ведь удивительная штука: расстались по его инициативе, а вместо облегчения последние дни прошли в сплошных ссорах — навалилась на душу страшная тоска. Из-за этого он и поддался уговорам рвануть на пару недель в Крым, на тот самый Казантип. Рванул...

В темноте лаяли с подвывом собаки, какая-то ночная птица нервно вскрикивала совсем рядом, над головами с тихим шорохом пролетали большие летучие мыши, заставляя повизгивать женскую часть группы. Пахло чем-то южным, пряным, вперемешку с хлорным туалетом. Поднялся ветер и начал скрипеть старыми кривыми стволами акаций, нагоняя

унынье. Едва начнешь задремывать, как взвояет над ухом электричка или протарахтит за сквером грузовик. Спал или не спал — Сергей так и не понял.

Утром все встали хмурыми, и Светлана — студентка медицинского, будущий психиатр, выставила диагноз:

— Утренняя дисфория!

— Вроде не пили, — попытался кто-то пошутить, но никто не улыбнулся. Действительно — дисфория.

До Казантипа добирались сначала на старом, вконец растрюханном пазике, потом пешком. Жара и рюкзаки давили к земле, и пот прокладывал темные дорожки по побелевшим от пыли лицам. Черт, черт, черт, ругался Сергей, купился на эту ерундовую романтику! И вспоминал, как Наташка все уговаривала его пойти в байдарочный поход с однокурсниками и напевала: «Долго будет Карелия сниться...» Но так и не уговорила. А если бы уговорила, подумалось вдруг ему, может быть, что-то изменилось? Нет, вряд ли... И почему так бывает на свете: любят человеки друг друга, точно любят, а жить вместе не могут. Вот почему, спрашивается?..

— Эй, Серега, ты далеко?! — услышал вдруг он и остановился. Оказывается, уже пришли на место, группа побросала рюкзаки и расселась отдыхать, а он в задумчивости брел дальше, пока его не окликнули.

Тут только он заметил, что вокруг с одной стороны — желтовато-белая степь на полгоризонта, а в другую половину горизонта упирается синее-синее море. «Ну да, красиво, — подумал Сергей, — но не до такой же степени, чтобы переть тридцатикилограммовый рюкзак по этой жарнице, давиться холодными консервами и спать в тонком спальнике почти на голой земле». А Наташу вот все тянуло на такую романтику. Да смотри ты «Клуб кинопутешествий», все то же самое, только под попой диван, а не кочка и комары не жрут!

Под ивняком, прямо на прибрежном пляже выросли разноцветные домики палаток, заплясал под котелком костерок из сушеного плавника. Народ полез купаться — брызги, визги, смех.

Сергей прихватил спальник и осмотрелся. Бухта широким полукругом охватывала часть Азова, на концах ее торчали невысокие каменистые мыски. Далеко справа темнел пирсами рыбацкий поселок, белела на рейде яхта, в глубине бухты то появлялись, то скрывались за пологими волнами темные скорлупки баркасов. Сергей пошел в противоположную от поселка сторону, набрел на небольшой желтоватый выступ из ракушечника, слегка выдающийся в море, взобрался на него и, бросив спальник, с наслаждением растянулся. Легкий ветерок навевал сон, но, несмотря на бессонную ночь, задремать почему-то не удавалось. Сергей лежал, смотрел на море, на яхту, которая подняла парус и начала медленно уходить к горизонту, слушал неназойливый плеск волны, втягивал в себя йодный острый воздух. Нет, все-таки хорошо. Что сейчас делает Наташа? А если бы она лежала сейчас рядом на этом спальном мешке, о чем бы они стали говорить? Неужели ссорились бы?

Стало жарко, и Сергей забрел в воду. Песок очень полого уходил вглубь, и пришлось порядочно отойти от берега, прежде чем вода под-



нялась по груди. Пока шел, почувствовал, что по ногам что-то легонько постукивает. Склонился к прозрачной воде и сквозь голубовато-зеленую дымку увидел облако креветок. Рачки двигались в одном направлении, и некоторые натыкались на его ноги. Эх, жалко... маску не взял.

Поплавав, полежав на воде, Сергей вновь выбрался на ракушечник и растянулся на спальнике. День тянулся долго, его никто не трогал, крикнули только раз, насчет обеда, но он не пошел. Хорошие все же ребята, подумал Сергей, понимают...

Все пройдет, убеждал он себя и начинал верить в это: все пройдет, появится другая Наташа, лучше прежней, которая будет подходить ему, а он будет подходить ей. Пусть ее будут звать Ира или Таня, а может быть, вообще... Эльвира. Не в этом суть. Безнадежных ситуаций не бывает. Просто должно пройти время. Время лечит, не зря говорят. И никто ни под кого не должен подстраиваться. Твоя жизнь — это твоя жизнь. Другой не будет, а Наташ — сколько угодно... Тоска вроде бы потихоньку уходила.

Вдруг оказалось, что солнце, так долго висевшее в зените, скатилось к самым скалам на дальнем мысе. Оно увеличилось и из белого стало желтым. Потом на глазах стало менять форму — из круглого становилось похожим на яйцо, на красное пасхальное яйцо. И море играло красками, густея, наливаясь то бирюзой, то фиолетовым, рябя красноватыми бликами. Увидь он это на картине, ни за что не поверил бы, что так бывает в реальности.

А солнце тем временем перевалило мыс и уходило в море, превратившись в апельсиновую дольку, очень похожую на тот большой альпий леденец, который отец однажды ему, ребенку, привез гостинцем из Прибалтики. И тут случилось совсем уж невероятное, словно подстроенное неведомым режиссером: из-за мыса показалось несколько, один за другим, парусов. Виндсерфингисты стояли на досках легко и свободно, а за досками струился рябящий красным след. И в этом следе мелькали спины дельфинов. Боже, какая же красота! Сергей во все глаза смотрел на эту невероятную картину до тех пор, пока паруса не скрылись за пирсами поселка.

Он вновь перевел взгляд на убывающую солнечную дольку и вспомнил, как отец рассказывал, что именно в такие минуты, если повезет, можно увидеть зеленый луч. Явление очень редкое и, как говорят, приносящее удачу в жизни. Главное, смотреть внимательно, ведь луч этот горит всего одну секунду. И Сергей принялся до слез в глазах всматриваться в тающий краешек солнца, боясь сморгнуть. Солнце кануло в четкую линию горизонта, разделяющую темно-синее и оранжевое, но луч не появился, не мелькнул. Еще минуту Сергей в надежде смотрел на горизонт, но нет...

Ветер стих, из поселка послышался далекий крик петухов и неразличимый раньше лай собак. Быстро темнело. Сергей вернулся к палаткам, лежал на спальнике, расстеленном прямо на песке у костра, слушал и не слушал все те же разговоры и те же песни, перекачивал с ладони на ладонь горячую, пачкавшую пальцы картофелину и ни о чем не думал. Или ему казалось, что не думал. В душе-то все время что-то шевелилось.





А когда стемнело и погас костер, небо обметало такой звездной пылью, какой Сергей не видел, пожалуй, с детства. Млечный Путь был густ и висел косо, не так, как в средней полосе. Казалось, поднимись на скалу на мыске, протяни руку — и коснешься этой серебряной пыли, и окажется она на ощупь холодноватой, как лед.

Сергей лежал, задремывал, и ему вдруг стало хорошо и покойно. И впереди еще целых две недели этого спокойствия. А мыслей бояться не надо. Наоборот, нужно думать и думать. И что-нибудь придумается. Обязательно придумается. Иначе быть не может.

## Баба Маня

Рано утром баба Маня наскоро одевалась, пила чай с баранками и быстро как могла пробиралась к театру, к тому месту оцепления, от которого особенно хорошо была видна большая яркая афиша «Норд-Ост». Тут она начинала ходить с иконкой в руках вдоль оцепления, вздыхая и роняя слезы. Рано или поздно на нее обращал внимание какой-нибудь журналист, спрашивал ее, кто она и отчего горюет. И вот уже через несколько минут она рассказывала в камеру, как ее единственная дочка, кровинушка, с внучком отправилась на спектакль и вот теперь сидят они там под дулами злых чеченов, а она тут горюет и покоя не знает. Бабу Маню жалели, успокаивали, давали ей горячий кофе с холодными пирожками или подсохшими бутербродами, а иногда стыдливо совали и деньги. А она вспоминала, как хорошо было при советской власти, и расписывала журналистам свои старческие беды.

Поздно вечером — усталая, едва держащаяся на ногах — она убрала домой и засыпала со счастливой улыбкой на устах. А с утра вновь спешила к театру, к всеобщему вниманию и сочувствию — рассказывать про дочку и внучка, которые в заложниках.

Дочка у бабы Мани была. Была и внучка. Только жили они далеко, на Дальнем Востоке, и в Москву не приезжали много лет. Когда дочка вышла замуж, баба Маня, тогда еще крепкая властная женщина, схоронившая двух мужей, отказалась принять дочкиного мужа, а тем более — прописать его в своей московской, огромными трудами нажитой квартире. Те помаялись-помаялись... да и уехали на Дальний Восток к родне мужа, где и осели. Но ни писать, ни звонить с тех пор дочка матери не стала.

Когда соседки спрашивали бабу Маню о дочке, та сурово поджимала губы: родную мать продала, на мужика променяла! Где-то в глубине души, глубоко-глубоко, на самом доньшке, чувство неправоты трепыхалось заморенным птенчиком, но баба Маня сжимала губы и птенчик пугался и замирал.

Звездный час бабы Мани быстро кончился. Театр штурмовали, террористов поубивали, и бабе Мане некуда стало приходиться. Одиночество навалилось с новой силой. Вечерами она пила чай с баранками, листала альбом с фотографиями, на которых была и еще маленькая и уже взрослая дочь, но не было внучки, и незаметно для себя плакала.



## Вова

Вова презрительно усмехнулся:

— Ну что, будешь еще лезть? Будешь?

Дылда корчился на земле, из носа его капала кровь. Леночка глядела на Вову круглыми от удивления глазами. Только что он ловким ударом разбил Дылде нос, а вторым — сбил его на землю.

— Я больше не буду, — булькал Дылда, кряхтя, поднимаясь и прикрываясь локтем.

Леночка...

Краем глаза Вова заметил, что Тамара Петровна поднялась из-за стола, и, отвернувшись от окна, уткнулся в раскрытую тетрадь, на чистой странице которой он минут пять назад вывел слово «сочинение». Больше пока написать он ничего не успел. К счастью, учительница пошла по другому ряду и не заглянула в тетрадь Вовы.

Вдруг по шее за ухом больно стрекануло. Вова оглянулся. С задней парты в него новым комочком жеваной бумаги целился через трубочку Дылда. Вова из-под мышки показал ему кулак, но Дылда только иронически сверкнул белыми крепкими зубами и выставил из-под парты свой кулак. Здоровый, значительно здоровее Вовино.

«После уроков побьет, — вздохнул Вова, — и, главное, ничего не сделаешь... И чего он ко мне привязался... Из-за Леночки...»

Вова смотрел в тетрадь, но не видел ни слова «сочинение», ни самой тетради. Надо же, и фамилия — Дылдин, и сам дылда. Здоровее всех в классе. Всем пинки и затрецины дает, а ему никто. И фамилия подходящая... А у него вот тоже подходящая, все время путает... Отец, правда, смеется: ты неправильно интр... интре... интерпретируешь, как раз фамилия правильная, мы, мол, знаем свой путь, знаем, куда идти. А куда? В секцию, что ли, записаться? В бокс, как отец давно советует? Вова представил себе, как он одним ударом валит на землю Дылду. Но осторожное воображение тут же нарисовало: какой-нибудь боксер бьет ему перчаткой в нос, и из тонкого носа льется кровь. Нет, в бокс — нет... В дзюдо! Вот куда надо записаться — в дзюдо. И он уже видел, как Дылдин вверх тормашками летит на землю, а Леночка...

— Вова! — Он и не заметил, как Тамара Петровна подошла к его парте и уж с минуту стоит рядом. — При чем здесь дзюдо?! Тема сочинения — природа. При-ро-да!

Вовочка посмотрел в тетрадь. Под словом «сочинение» было написано: «Дзюдо — спорт смелых и сильных...»

Класс весело гудел, и в гуле этом выделялось злорадное «гы-гы» Дылды...

— Владимир Владимирович! — Пресс-секретарь легонько тронул за плечо. — Пора, все собрались, ждут.

Он резко встал, сбрасывая с себя легкую паутину воспоминаний, и энергично зашагал по ковровой дорожке к двустворчатым массивным золоченым дверям...

## Дед

Дед постоянно кричал по ночам. И нельзя сказать, чтобы слишком громко или надрывно. Просто слабым, почти детским голосом затягивал: «А-а-а... а-а-а...» И лишь временами вскрикивал чуть громче: «Ой-ей!» Но сон у больных был чуткий и многие просыпались от этих криков и потом долго не могли заснуть.

Утром в столовой не обходилось без обсуждений. Где-то между результатами УЗИ, диетой от рака и тонкостями поведения на эндоскопии (дышать надо не носом, как советуют врачи, а ртом! И шепотом: да что они понимают, врачи эти) обязательно кто-нибудь говорил:

— Опять дед хулиганил!

Тут же кто-то откликнулся:

— Ой, всю ночь из-за него глаз не сомкнул, когда же это кончится.

Особенно злился низенький лысоватый толстяк, которого все на этаже звали Палыч. Когда-то Палыч был большим начальником, а теперь стал заурядным пенсионером, к тому же обремененным язвой желудка.

— Это безобразие! — кипел Палыч. — Куда только медики смотрят, весь этаж из-за этого деда не спит...

— Вы, Николай Палыч, в медицинском учреждении находитесь, — вежливо осаживала его медсестра, — и здесь свои порядки. Не кляп же ему вставляешь.

— Да куда денешься, человек старый, может, и нам такая же участь суждена, — заискивающе резонировал молодой парень с гастритом. — Он за себя ответить не может.

— Зато ты отвечаешь, — огрызнулся бывший начальник, — пердишь по ночам! Вот наша бабушка, когда почуяла, что время ее вышло, ушла так тихо, что никто и не заметил. — Палыч вздохнул, погладил себя по лысеющей голове. — Вечером еще кур кормила, а утром не проснулась — и все. И умерла даже летом — никаких проблем с могилой нам не доставила.

Днем дед спал. Просыпался только на еду да когда приходили навестить дети-внуки. А ночью из его палаты снова доносилось потустороннее «а-а-а... а-а-а...».

— Не помогает, — жаловался утром хмурый Палыч, вынимая из ушей беруши, — все равно слышно.

И вдруг дед затих. Поначалу палата даже подумала, что старик скончался. Но Палыч заглянул к деду и убедился, что тот спокойно ест овсянку.

— Батюшку к нему приводили, — разъяснила ситуацию нагрянувшая с уколами медсестра, — ссорили его, вот он и успокоился.

— Да он же коммунист заядлый, непримиримый атеист! — вскинулся Палыч, сам не чуждый идеалов социальной справедливости. — Он же в горьком работал, бабок в религиозные праздники с Серафимовских родников гонял! Да что бабки, говорят, он купола в церкви в Васьковке сносил, чтоб под цех ее приспособить.

— Вот именно, — многозначительно посмотрела на Палыча медсестра. — А то с чего бы это его так корежило...

— Да ладно, — скептически махнул пухлой ладошкой отчего-то раздраженный Палыч, — ладно...

— Теперь — ладно, — все так же многозначительно улыбаясь, ответила медсестра. — Теперь он вам мешать не будет.

И правда, не мешал. Умер дня через три, тихо и незаметно.

Антон ВАСЕЦКИЙ

**«СКОРАЯ» ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА**

\* \* \*

Детей становилось меньше. Игрушек — больше.  
Пока не стемнело, я поиграл во все.  
Потом мы смотрели кино, снятое в Польше,  
о бравых танкистах и их беззаботном псе.

Потом я остался один, кого не забрали,  
стойкий, как этот танковый экипаж.  
Со сторожихой по имени баба Валя  
мы обошли за этажом этаж,

группу за группой, везде закрывая плотно  
окна с дверями и выключая свет.  
Плакать хотелось, но я был как Валя Котик,  
когда залезал засыпать под колючий плед,

не выдающий ни горечи, ни печали,  
хотя и страшное что-то произошло.  
И не поверил, когда вдруг с улицы постучали  
и улыбнулся папа через стекло.

Сколько бы лет, километров, людей, событий  
ни разделяло меня и тот детский сад,  
я и теперь, ощущая себя оставленным и забытым,  
иной раз ловлю на себе этот взгляд.

\* \* \*

Через час наши губы безжалостно будут обветрены.  
Это значит, что в нашем запасе еще целый час,  
чтоб гулять по Тверской, наслаждаясь последними метрами,  
и, украдкой смакуя на вкус, как чужой Gauloises,

целовать аккуратно и нежно за родинкой родинку,  
а потом перебраться в пунцовое из темноты.  
У тебя никогда не бывало таких же молоденьких.  
У меня никогда не бывало таких же, как ты.

Кем задумано все это чудо и кем наколдовано?  
Будто через бинокль глазеешь в чужое окно...  
На губах очень солоно, солоно, солоно.  
На душе сразу грустно и весело. Странно. Смешно.

\* \* \*

«Скорая» возле подъезда  
с красным-прекрасным крестом.  
Чистые белые кресла.  
Лампочка под потолком  
светит все ярче и шире.  
Бледен и невозмутим,  
как хорошо, что в квартире  
я проживаю один.  
И по дороге в покои,  
ни для кого и ничей,  
вряд ли кого-то расстрою,  
кроме бригады врачей.

\* \* \*

Снег десантируется  
с облаков поутру  
хлопьями, слипшимися  
и густыми, как пена,  
ветви и крыши  
укутывая постепенно,  
двор покрывая, скамейку,  
крыльцо, конуру.

Выйдя из будки и видя  
большой белый ком  
в миске на фоне  
прекрасного нового мира,  
старый дворняга  
себя ощущает щенком,  
вдруг получившим на завтрак  
тарелку пломбира.

Точно не помня,  
кто мог это быть из детей,  
что за уехавшая  
без возврата девчонка,  
пес тонет в миске  
всей мордой беззубой своей,  
машет хвостом благодарно  
и чавкает громко.

---

Ингвар ДОНСКОВ

## ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

### Про деревню

Поле опустевшее.  
Мокрое жнивье.  
На венец осевшее  
Ветхое жильё.

Косы-одуванчики.  
Глазки-васильки.  
Девочки да мальчики.  
Мошки-мотыльки.

Заметет порошею  
Стылое жнивье.  
Связано и брошено  
Старое хламье.

Телогрейки-ватники.  
Бродни-кирзачи.  
Были — папымашины...  
А теперь — ничьи.

### Простая история

Губки, глазки, щечки, носик...  
Поматросит да и бросит.  
Без кольца и без венца.  
Осыпается пыльца.  
Тлеют крылья, обгорая...  
Так бывает... знаешь?  
— Знаю.

Всеволод ИВАНОВ

## ПРОСПЕКТ ИЛЬИЧА

Р о м а н \*

Среди многочисленных не публиковавшихся при жизни произведений Всеволода Иванова есть книга, о неблагоприятной издательской судьбе которой сам писатель горевал более всего. Это военный роман «Проспект Ильича», написанный в 1942 г. Он, «может быть, единственный раз в жизни, сам д о б и в а л с я опубликования именно этого романа, много раз переделывая его. <...> Думается, что самое обидное для человека, когда отвергается его искренний горячий порыв своими усилиями закрепить не свое личное, а именно общее дело», — вспоминала Т. В. Иванова. После смерти мужа она прикладывала огромные усилия, чтобы напечатать романы 1930-х гг. «Кремль» и «У», произведения «фантастического цикла», хранившиеся в архиве. Будучи внучкой писателя, я старалась продолжить ее работу — в 2001 г. вышли «Дневники» Иванова, в 2012 г. в серии «Литературные памятники» переиздана подвергшаяся в 1920-х гг. истребительной критике книга «Тайное тайных». А сейчас я искренне радуюсь, что к нелегкому этому делу постепенно присоединяются молодые исследователи. Особенно приятно, что Ирина Алексеевна Махнанова, подготовившая к первой публикации в журнале «Сибирские огни» роман «Проспект Ильича», — сотрудник Омского государственного литературного музея им. Ф. М. Достоевского. С Омском, где Иванов жил с 1917 по 1921 г., в трагическое для Сибири и России в целом время, тесно связана творческая судьба писателя. Здесь формировался его удивительный талант жесткого реалиста и фантаста, экспериментатора. Здесь, в Сибири, он был свидетелем революции, стремительной смены правительств, братоубийственной Гражданской войны. Все это нашло отражение в «Партизанских повестях», особенно в знаменитом «Бронепоезде 14-69». «Партизанами он начал, партизанами надо ему кончить» — так, по воспоминаниям Т. В. Ивановой, в 1940-х гг. пошутил один из руководителей Союза советских писателей. Однако ни во время Великой Отечественной войны, ни позднее роман «Проспект Ильича», где по-другому, чем в 1920-х гг., рассказывалось о другой войне, не был напечатан. Не помогло ни то, что Иванов с июня 1941 г. стал военным корреспондентом «Красной звезды» и «Известий», ни то, что в 1943 г. он был на Орловско-Курской дуге, а в 1945-м — в поверженном Берлине. Какие «еретические» мысли Иванова так напугали редакторов и издателей — это современному читателю предстоит понять, читая само произведение в журнале «Сибирские огни». Мне же хочется выразить глубокую благодарность всем тем, кто помог осуществлению мечты писателя о публикации романа «Проспект Ильича».

**Елена Папкова (Иванова),**

сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН

---

\* Публикация Ирины Махнановой. Публикуется по машинописи. Орфография и пунктуация оригинального текста сохранены.





*Сожрал бы волк кобылу, да на оглоблю напоролся.*  
(Пословица)

## Декабрь 1941 — апрель 1942 г.

### Глава первая

Проспект Ильича, во всей своей громаде, виден оттуда, откуда вы придете, миновав старинные губернские улицы, наполненные ампириными зданиями и купеческими особняками «модерн» тех времен, когда городские походили на царей; а цари, разумом и видом своим, не очень-то отличались от городских. Вы входите на площадь, до сих пор носящую название Базарной, хотя уже много лет с нее сметен базар, и разве напоминает о нем гул в пивной, где сталкиваются кружки да бильярдные шары, выщербленные временем. Трамваи с певучим звоном, свойственным только этому городу, обгоняют вас, звеня над самым ухом. Но вы не сворачиваете. Вы стараетесь вникнуть в атмосферу старинных строений...

И, вдруг, со середины площади вы видите нечто похожее на странную, сказочную процессию кубов, полушарий, колонн, шпилей, ромбов, соединенных в удивительно стройном разнообразии... Перед вами — Проспект Ильича. Как весела и легка эта улица! Какой талант мог вообразить и вычертить эти линии? Чьи вдохновенные руки выстроили ее? Вы спрашиваете, смотрите, — взор ваш не в состоянии оторваться от этих то лазоревых, то зеленых, то белых зданий. И вот, вам кажется, что удивительная процессия сейчас уйдет от вас, гремя, хохоча; и распевая сказочные песни. Боясь упустить ее, вы упиваетесь красками. Вы рассматриваете то черный бархат асфальта, на котором вышитым жемчугом искрятся точки, отмечающие переходы, и вам думается, что только по этому переходу, под светом этого светофора, вы перейдете на сторону счастья. К тому же, на бархате шаловливо сияют, словно воткнутые серебряные булавки с алмазными головками, столбы фонарей, и шары их, битком набитые электрическим светом, качаются под влажным ветром с реки. То вы глядите удивленно на красивый, недостроенный еще домик, сквозь багровый кирпич которого уже проступает, кажется, мрамор украшений и мыслятся витиеватые орнаменты. Голубой забор охраняет домик, — словно строители боятся, что здание понесется в пляс да так и не воротится, — потому что всякое бывает на свете! То вы поразитесь бесконечным плитам лабрадора, нежным, как атлас, обнимающим два или три этажа да еще, вдобавок, украшенным золотом вывесок и хрусталем витрин... Кому не понравится красота и легкость множества зданий во время заката, когда солнце, прощаясь, заливают их своими пламенными лучами и кажется: дивные заморские птицы, — розовые, зеленые, оранжевые — взмахнув крыльями, того и гляди исчезнут в глубоком небе, малящем их к полету.

Великолепен Проспект Ильича!

И над всем его великолепием господствует многоэтажный и многооконный дворец, называемый Дворцом культуры. Даже те, кому не нра-

вятся современные дома и кто называет их коробками, которые можно вложить друг в друга как дети вкладывают один в другой свои игрушечные кубики, даже те находят в этом дворце красоту изумительную, которой, видимо, не суждено погибнуть. И чем больше вы всматриваетесь в это здание, тем вам кажется убедительней мысль, что здание и само чувствует свое достоинство.

Дворец построен уступами. На одном из уступов возвышается громадная статуя Ленина. Он стоит, сделав шаг вперед, простерши руку на запад. Вы глядите, и мало-помалу вам начинает чудиться, что он уже отделился от здания, и сейчас вы услышите его тяжелый громоподобный шаг. Стремительность его — прекрасна! Одушевление, охватившее его, — необычайно и пленительно! А простота его, — его пиджак, любимый галстук в горошинку, кепка, — приближает его воодушевление так близко к вам, что кажется, вы слышите его дыхание, — и дышите в такт с ним. Словно огромная мысль, воплощенная искусством в камень и бронзу шагает впереди вас статуя Ленина! И, всюду, где бы вы ни стояли на проспекте, вы видите Ленина так же, как всюду в мире чувствуются теперь его мысль, его бессмертная воля, его неудержимый и стремительный гений.

Ленин!

Ленин стоит над Проспектом и видит не только его, но и весь город, все его сады, здания и заводы. Проспект переходит в мост, который пересекает большую реку. Ленин видит и мост, реку, и леса за рекой, и нивы колхозов. Закатывается солнце. Но — Ленин стоит так высоко, что думается: он видит не только закат, но ему уже виден восход.

Ленин стоит, простерши мощную руку на запад!..

Сияющий, искристый камень, темно-зеленый и твердый, из которого создана статуя, выламывали раскосые желтолицые люди в предгорьях хребта Туну-Ула. Длинный плот из столетних бревен нес камень этот по Енисею. Ревела река. Тайга шумела, как в песне. Плотовщичики, бородастые русские мужики, сидели, покуривая махорку у костра, возле рулевого бревна, и тянули старинные сибирские: о той ли о каторге, о тех ли бродягах, о том ли славном море Байкале, о той ли омулевой бочке... А, молодежь, послушав их, заводила песню о Ленине. Старики, подумав и решив, видимо, что молодежь права, подтягивали басом, от звуков которого просыпались и вздрагивали в тайге медведи. Гигантский легендарный камень возвышался на столетних бревнах, и плескалась у его подножья, во тьме, река словно плескалась сама вечность.

Ленин стоит, простерши мощную руку на запад!

Поезд, вздымая тучи пыли, несется степями Казахстана. Он везет тяжелые медные слитки, выплавленные там, где катит свои мелкие волны, длинный, окаймленный камышами и лихорадками, Балхаш; где роет пески Или, где нескончаем через нее плашкоутный мост, по которому бегут к меди автомобили; где жгуча жаром и холодом мрачная пустыня Бетпак-Дала. Эти слитки меди казак шлет из Балхаша, дабы блестели поручни лестниц, по которым поднимаются к тебе, чтобы ближе рассмотреть твое лицо, возвышающееся над Проспектом и над нашим счастьем.

Ленин стоит, простерши руку на запад!

И, везли золото. Его везли из гор Алтая; из долин южного Урала; его добывали на Алдане; возле Верхоянского хребта; за ним ходили старатели к горам Черского; и плыли по реке Индигирке; и по реке Омолон; и по реке Анюй; и шныряли вдоль всех рек и ручьев, где только блестят, как рыбы чешуйки, эти золотые искры. И гремели драги, и текла вода, и взрывали скалы, и размывали землю, и раздували огонь в плавильных печах, стучали молотом, плюща слитки, чтобы на фронтоне Дворца гигантскими золотыми буквами вылепить: «Просвещение — трудящимся. Дворец культуры имени Владимира Ильича Ленина».

Ленин стоит, простерши мощную руку на запад!

И, везли мягкий, нежный как улыбка в шестнадцать лет, алый шелк, взлеянный возле арыков Узбекистана, где тутовые деревья пьют воду из потоков, прорытых человечеством еще в те времена, когда Гомер правил первую корректуру Иллиады, списка, сделанного по его личному манускрипту. Из этого шелка, вечно прекрасного, как строй Иллиады, вытканы знамена, украшенные твоими мыслями и твоим обликом, знамена, которые колышатся ныне над гвардейскими полками, несущими победу; и стоят в залах цехов; и стоят в университетах; и стоят в колхозах; и стоят везде, потому что

Ленин стоит, простерши мощную руку на запад!

И по бешеным, неистовым волнам Каспийского моря везли сюда асфальт из Баку, чтобы залить его бархатом весь Проспект и все окрестные улицы, над которыми возвышаются твоя мысль и твоя статуя. И, на пиры народа, когда поднимали бокалы в твою честь, и вставал Сталин, и вставал весь народ, — на столах лежали плоды и вина Азербайджана, Грузии, Армении, и холодок сладостных винных паров напоминал всем ледники и горный воздух Кавказа.

Проспект Ильича!

Ты создан в обычном провинциальном городе некоей бывшей губернии некоей бывшей империи. Ты выстроен за пределами городской черты губернского некоего города, а значит, — и за пределами империи. Ты выстроен на том месте, где еще недавно торчала городская свалка, голели пустыри да малоприбыльные огороды. И, посейчас еще откуда-то из окрестностей Проспекта везут осенью возы с бледно-зеленой капустой, и хотя на гладком асфальте возы не колышатся, все же падают с них вялые и вогнутые листья капусты, словно напоминая о том, что они некогда господствовали здесь. Вряд ли так уж много людей в мире знают о твоей красоте, Проспект, потому что выстроен ты ни в Москве, ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, словом, не там, где любит бывать людская пытливость, а выстроен ты в бывшем губернском городе некоей бывшей империи, возле территории громадного завода сельскохозяйственных машин — СХМ — и возле некоторых других заводов и шахт.

Проспект Ильича!

Смотрите, как великолепен Проспект весной, когда снега набухнут и станут мягки будто вата: дотронешься до него и думается, что снег за-

грустил и плачет, жалея зиму. Из-под снегов уже вылазят ручьи, сверкая бойкими голубыми глазенками. Лепеча и бормоча, булькая и шлепая, стремятся они по Проспекту, так что тысячи машин, бегущих к воротам СХМ, не в силах заглушить их торжественного и растущего лепета. Наверху горит солнце, внизу блестят ручьи, и все окружающее их, охваченное весенним порывом, так, кажется, и летит к реке, через которую проложен такой высокий, мост, что до него не добраться никаким водам и льдинам мира. Но, река наша, сильна, могущественна и горда! С каждым часом, вместе с солнцем, она поднимается выше и все выше. Вы глядите вниз с моста. Как решительны воды! Какой грохот на реке от ломающихся льдин! Вот-вот — и вода уже моет подошвы ваших сапог. Чудесная штука — весна, замечательная штука — весна! Шагайте по весне, промачивайте ноги в лужах, отталкивайте льдины от берега, падайте лицом в молодую травку, — весна проходит так же быстро, как и весна вашей жизни.

Да, изумителен весной Проспект Ильича!

Но, куда великолепнее Проспект зимою, когда посыплется с неба, крупный, как лепестки, снег; когда на улице, забыв свои книжки, вывалят ребята; когда множество машин пытаются убрать снег, расплавить его, разгрести, а он все валит и валит, колет и щекочет глаза своим блеском, и лебедино-спокоен и величественен, ибо он-то знает, что такое красота. И кажется, прошло не более минуты, а уже — Новый год! Вот тогда-то и начинает снег крутить, и выть, и возноситься, как будто самый лучший поэт, и прискакивать, и приседать, и менять ежесекундно очертания сугробов и вообще делать такое, что вы способны вообразить, будто он выпьет и высосет всю вашу душу, и запугает вас насмерть. Никакие фонари на Проспекте не могут пробить этой удивительной прекрасной синей мглы его, которая сама в себе купается, охорашивается, и сама себе поет подобно соловью или же лает хриплым воем невесть для чего.

Да, великолепна и живописна жизнь в бурных снегах моих, дующих зимою по Проспекту Ильича!

Однако, и тогда, когда снега лежат спокойно, они тоже прекрасны. Достаточно посмотреть на толпу, которая ночью, под месяцем, выходит из Дворца, где смотрела она фильм или слушала скрипку московского гостя. Над нею недвижно повисло небо, такое тихое и чудесное, что и выразить нельзя. Звезды, словно золотая дробь, рассыпанная охотником, а само небо — дымчато-черно, будто порох, и также таинственно таит в себе силу, глядя на которую, даже самый спокойный человек впадает в лихорадку ожидания. Люди, пораженные неслышанной красотой ночи, говорят шепотом. Они не знают, чего и зачем им хочется. И как замечательно то, что они этого не знают!

Да, живописны снега на Проспекте Ильича. Хорош он в этих снегах, — удалой, могучий, вечный!..

Но, больше всего мне нравится Проспект Ильича поздним летом, когда уже отчетливо предчувствуется осень. Когда начинают жать хлеба; когда из-за руки, по черноземным полям, доносится сюда в город звук падающих на землю тяжелых колосьев нашей страны, и запах засыхаю-



щего жнивья так сладок и так замечательно трепещут и вьются в жнивье перепела; и так уверенно гудят комбайны; и так быстро несутся грузовики с зерном; и так прекрасна девушка, остановившая машину возле вас, и неизвестно почему, пристально взглядывающая в прозрачную даль своими большими карими глазами. Что она видит? Кого? Не на вас ли она засмотрелась? И вы, как дурак, двигаетесь к ней. А она что-то кому-то крикнула, завела машину, — и не успели вы протереть глаза, как ее уже и нету! Но, вы спокойно идете дальше, ибо мир велик и прекрасен, страна наша огромна и надежд много...

Но, свернем, пожалуй, с проселка и выйдем опять на Проспект! Да и пора. По Проспекту, из сел, на возах и машинах везут яблоки. Какой трепетный и какой разговорчивый запах. Вот сладость, которую не выразишь никаким междометием! Какое редкое и величественное спокойствие, в котором лежат они рядком, словно бы подернутые розоватым пеплом! И тогда-то весь Проспект, все дома, все заводы, все магазины, даже торгующие рыбой, наполняются запахом яблок. Тогда-то, словно привлеченные этим запахом, возвращаются из экскурсий студенты многочисленных институтов. Они складывают байдарки и раскладывают книги. И тут, как бы стремясь найти еще более густой запах, охотники собираются в поле, чистят ружья, то и дело заглядывая в дуло. И тогда над рекой, над парками и садами, над Проспектом такое множество песен, что не знаешь, какую и выбрать, и получается так, что плачешь над всеми и вместе со всеми непререкаемо думаешь, что вопрос об удаче твоей жизни решен, как говорится, в положительном смысле, хотя и предстоит, несомненно, гигантская работа...

Гигантская, удивительная и песенная работа уже давно гремит на Проспекте!

Когда из заводов и фабрик слышатся густые, рокочущие звуки, не наполнится ли ваше сердце радостной гордостью, при виде тысячи умелых людей, идущих на отдых из ворот заводов и фабрик? Не забьется ли ваше сердце патриота, когда вы увидите этих людей, входящими в большие, красивые, статные дома Проспекта Ильича?.. Но что?

...Что произошло?

Почему все с такой тревогой и болью смотрят на запад? День и ночь в темноте и свете, вдоль Проспекта Ильича идут за реку, на запад, войска, орудия, танки, автомобили.

Туда же летят самолеты.

А с запада двинулись через мост бесчисленные крестьянские фуры, забрызганные кровью и слезами. Старики и жены гонят стада. Вопли людей покрывают мычание стад.

Солнце кажется испуганным бледным пятном в облачном небе. И облака повисли над миром, дикие и встревоженные, словно бы политые кровью. И тревога заворачивает ко всякому, будто ей по дороге. И тоска такая, что, кажется, дубы с той стороны реки простирают свои ветви к уходящим, умоляя их взять с собой...

Война вторгалась в отчизну!

Враг, подлый и низкий, самый низкий и жестокий из врагов напал внезапно, неся смерть и пожары.

Из Германии, Италии, Румынии, Венгрии, из множества стран, летят на нашу землю крючья свастики, скребут нашу землю железные гусеницы, взрывают наши поля длинные мины, пули пронзают сердца наши, сердца наших братьев, наших отцов и сестер, фашистские злые пули.

Враг напал внезапно, думая внезапностью этой затмить наш разум, разбить сердце, растоптать душу.

Но будь ты сто раз подлей и внезапней, — не затмишь ты разум, не разобьешь сердце, не растопчешь душу!

С нами наша Жизнь, с нами наша Родина.

Мы — Жизнь!

Мы — Родина!

Ленин стоит, простерши руку на запад!..

— Товарищи, братья и сестры! — воззвал он устами Сталина. — Отечество в опасности. Отдадим ли врагу мы свое отечество?

Народы, простерши оружие на запад, ответили Сталину:

— И в радости, и в горе, и в труде, и в битве, и на пиру, и на дороге к бою — мы едины. Не отдадим отечества!

— Русские, не отдадим отечества!

— Украинцы, не отдадим отечества!

— Белорусы, не отдадим отечества!

— Казахи, не отдадим отечества!

— Грузины, не отдадим отечества!

— Никто из нас не отдаст отечества!

— Товарищи, друзья и братья, на защиту отечества!

## Глава вторая

Случилось так, что Полина Вольская, знаменитая певица, почти пятнадцать лет не бывавшая в своем родном городе Р., стоящем на границе России и Украины, посетила его летом 1941 года, когда немецкие войска стояли не более как в ста километрах от той Базарной площади, в одном из домиков которой она родилась.

Отец Полины, инженер-электрик А. Г. Смирнов, капризный, красивый мужчина, увез ее из родных мест, когда она оканчивала пятый класс школы. Они переехали в Германию: отец ее работал в торгпредстве, покупая оборудование для электростанций. Полина два года училась в немецкой школе, обнаружив при этом большую способность к языкам. Вскоре отец заболел — берлинский климат повредил ему легкие. Они направились в Боварию. Полина помнила длинное белое здание с зеленым куполом, парк и пруд с множеством ступенек к воде, так что казалось, тысячи людей должны были б стоять на этих ступеньках. Две большие рыжие собаки только дремали там. Санаторий оказался дорогим, да и ненужным. Родители решили переехать в более спокойное и недорогое место, — гонорар за две книги по электрике, написанные отцом и пере-





веденные в США, позволял им предполагать, что они смогут жить в Боварии до полного излечения. Они поселились в Ашау, боварском городе на границе Австрии. Полина опять стала ходить в школу. Они жили в предместье. Боварский говор еще сохранился здесь. Отец подсмеивался, что Полина скоро превратится в боварку.

Однажды отец почувствовал себя выздоровевшим. Он стал торопиться на родину. Но, в родной город Р. он не поехал, а направился в Москву. Он вез туда книгу, написанную в Ашау. Москва встретила его дождями — и консультациями. Сначала он консультировал по ряду строительных, а дальше уже к нему стали приезжать врачи и консультировать. Высокий седой старик с черными бровями, — Полина помнила его так отчетливо! — выйдя в коридор гостиницы, сказал басом: «Правильно, что приехал. Зачем русскому человеку умирать у немцев?» Когда они, проводив профессора, вернулись в номер, сестра, дежурившая у постели больного, закрывала его большие и ласковые глаза.

После смерти Андрея Григорьевича они переехали к родственникам, тоже электрикам, в Замоскворечье. Полина стала ходить в школу. Мать ее поступила на кондитерскую фабрику помощником директора по снабжению. Полина, учась, уже подумывала о заработке: мать часто хворала и торопила Полину с учебой. Чаще всего горе открывает таланты. На шестнадцатом году своей жизни Полина окончила консерваторию и в тот же год стала выступать на концертах. Ей предсказывали: нельзя такой молодой петь! Голос как бритва — попробуй-ка расколи полено! Однако, — голос ее не оскудевал, а, наоборот, ширился, крепчал и через три года ее имя делало сборы, пластинки, напетые ею, раскупались нарасхват, ее пригласили в кино на главную роль какого-то заранее знаменитого фильма, — но, глаза ее не выносили света юпитеров, и она отказалась, после пробы, не очень-то грустя о пленочной славе.

В тот же год она вышла замуж. Муж ее был известный оперный тенор, избалованный гонорарами и поклонницами. Они поселились в большом доме артистов на Брюсовском переулке. Замужество оказалось неудачным. Сначала мужу не понравилась теща, затем голос Полины, а там он влюбился в художницу-реставраторшу картин. Полина посмеялась, что ему еще рано реставрировать свое лицо, и без особой злобы, подписала заявление о разводе. Но, плакать она поплакала и настолько сильно, что слезы даже отразились на ее голосе: пришлось пропустить пять концертов и месяца два ходить на ингаляцию. Все это дало ей повод думать, что она непригодна к замужеству... да и действительно, сны ее были спокойны, глаза ее холодно глядели на мужчин, и в квартире ее жили только женщины: ее мать, аккомпаниаторша, страшно гордящаяся тем, что покойный муж ее был архиереем живой церкви, домработница и она, Полина. Все четверо были очень разные люди, но их соединяла одна страсть: чтение. Сотни книг по истории, путешествиям, стихи, романы, юмористические журналы, приключения — заполняли полки, столы, шкафы. Любимым подарком ко дню рождения Полины — у актеров считалась книга и еще щеголеватая закладка в нее. Но, если б Полину спросить: что же она



предпочитает читать.<sup>3</sup> Она б затруднилась ответом и, подумав, наверное, сказала: «все», что означало б: мне хочется узнать возможно больше о людях, не тратя особенно свои силы на личное знакомство с ними, а кроме того, так приятно видеть мир — ибо книга — это бинокль, через который вы можете разглядеть самые отдаленные пространства и времена...

Таким образом, если расширить это определение, родной город Р. Полина рассматривала как посещение прошлого. И как приятно было это посещение! С каким восторгом она выбежала на откос, по которому был расположен городской сад, наполненный сердитыми дубами, похожими на запорожцев. Полина, смеясь, смотрела на их тяжелые вершины. С откоса они напоминали шары перекаати-поле, когда на них блестит утреннее солнце. Но, стоило сделать вниз два-три поворота по песчаной аллее, как дубы плотно окружали ее, и ей делалось жутко и радостно, словно в детстве, когда она убегала от отца по аллее и пряталась где-нибудь за дубом, до колен утопив ноги в желтых шуршащих листьях, щекочущих ее голые икры.

А, река?<sup>4</sup> Едва только она выходила к ней, как река делалась ей такой близкой и привычной, что и отойти от нее было невозможно. Она вспоминала, как с отцом и матерью каталась на лодке, как поднимались и падали весла, поскрипывали уключины и город отдалялся, голубел... и отец, баском, заводил: «Среди долины ровныя»...

Она посетила одноэтажный деревянный домишко на Базарной площади, и каждая щель в нем, каждая гнилая тесина, казалось, радостно улыбались ей. Она нашла извозчика. Лошадь — несомненно, та, которая катала ее в детстве! — была впряжена в длинную-длинную, сырую, несмотря на жаркое лето, колымагу, украшенную по бокам двумя большими фонарями. На этом странном экипаже она проехала по многим улицам города, и все время ее наполняло такое ощущение, которое, наверное, испытывают верхушки трав и деревьев, колеблемые ветром. И отсутствовало то чувство, о котором говорят многие, возвращающиеся из столицы в свой провинциальный город: родные улицы им кажутся маленькими, дома — крошечными, а люди — пустыми. Нет! Полина была потрясена этим городом, как в детстве, когда впервые, без провожатых она шла в гости к подруге. Она попыталась найти эту подругу. Увы! Годы раскидали всех в разные стороны. Не было ни подруг, ни родственников, ни знакомых.

Одна-одинешенька бродила Полина по городу. И, словно стремясь подчеркнуть это одиночество, в небе проносились самолеты, и несколько раз в день были сирены воздушной тревоги. Полина не чувствовала одиночества. Из пяти назначенных концертов состоялось уже четыре, и хотя они назначались из-за воздушных тревог днем, посетителей было так же много как и ночью. Кроме этих концертов для, так называемой, «кассовой» публики, Полина пела у красноармейцев, в клубах и в Доме Красной Армии, на заводах и у студентов. Где-то падали бомбы, но ни одной не упало там, где пела она, и она была уверена, что и не может упасть — такое огромное, удивительное чувство уверенности и силы наполняло ее. Со стороны глядя на нее, нельзя было и подумать, что она вся наполнена крепкой и мощной силой, такая она была хрупкая, беленькая, нежная, с большими голубыми глазами.

В день, перед последним концертом, она особенно много ходила и ездила по городу. В одиннадцать часов утра, после завтрака, она пела у студентов какого-то, трудно произносимого, института. Концерт прервала воздушная тревога. Она ушла, вместе со студентами, в подвал. Где-то неподалеку упали две бомбы. Дом задрожал. Девушки-студентки окружили ее плотной стеной, словно спасая от осколков бомбы. Полина спросила:

— А, может быть, мы споем?

И, не ожидая ответа, она запела широким, грудным голосом знаменитую «Песню о хорьке». Студенты подхватили. Звуки взрывов замерли и скрылись, как, иногда, в лесу замирает у самых ног ваших влетевший ветер. Полина пела. Хор девушек и молодых людей вторил ей.

Вошел студент. Это был высокий и крайне серьезный мужчина в очках. Наклонив голову, он хотел сказать басом фразу, которую он произносил с особой тщательностью: «Всех мужчин от шестнадцати до пятидесятилетнего возраста прошу в охрану». Но, он забыл эту фразу. Подняв голову, он присоединился к хору, поющему песню, которую пела вся страна. Ему, как и всем, чудилось отвратительное чудище, выползшее из какой-то мезозойской эры; вставал перед ним витязь, взмахивал мечом, — и одна за другой катились к ногам его вонючие головы с длинными клыками...

От студентов, Полина прошла в городской сад, сходила к реке, отнесла на могилу деда, живописца и владельца мастерской вывесок, букет хризантем и, нехотя, вернулась в гостиницу. Ей хотелось еще погулять, но надо было отдохнуть: в шесть часов она выступала во Дворце культуры на Проспекте Ильича перед рабочими СХМ.

Аккомпаниаторша, сухая и длинная дама с крашенными хной волосами и с неизменным черно-бурым мехом на шее, укладывала чемоданы.

— И вечером успеем, — сказала Полина.

Аккомпаниаторша проговорила многозначительно:

— Успеем ли?

— Вы больны, Софья Аркадьевна?

— Болен весь город. Говорят, даже СХМ назначен к эвакуации.

В областном городе нельзя скрыть, какие орудия теперь вырабатывает бывший завод сельскохозяйственных машин. Полина сказала:

— СХМ вырабатывает противотанковые пушки. Его нельзя эвакуировать. Пока наладят производство на новом месте...

— Тем не менее он эвакуируется, — повторила аккомпаниаторша.

Зазвенел телефон. Голос начальника радиостудии просил ее выступить по радио для бойцов фронта. Она посмотрела на часы. До шести часов еще было много времени, особенно, если не обедать, а сразу поужинать.

Подали машину. Полина усадила недовольную аккомпаниаторшу и «ЗИС» понес их к радиостудии. Полина ехала туда с удовольствием. Ей нравилось длинное зало, где на полированном столе стоял блестящий микрофон, и зеленые и красные огни сигналов мелькали возле него. По залу тянулся толстый витой металлический шнур, и, переступая через него, Полина всегда думала, что как это приятно, когда твой голос течет

по этому красивому шнуру, чтобы устремиться в пространство... а, ведь, возможно, что на какой-нибудь планете сидит радиолюбитель и ловит твой голос. Серые сукна покрывали стены. Серый ковер устилал пол. Это зало не имело окон. Ему незнакомы были перемены погоды, перемены звуков и красок, это была какая-то таинственная наземная пещера...

Совершенно не таинственный милиционер, пахнувший луком и сапжным кремом, поскрипывая подошвами, посмотрел внимательно на пропуск, который подала ему Полина в то время, как правую ее руку почитительно целовал, гладко причесанный, диктор, встретивший ее у прохода в студию. Полина посмотрела в лицо милиционера:

— А что, неправильно написан? — спросила она.

— Пожалуйста, — сказал милиционер, дотрагиваясь до фуражки и возвращая ей пропуск и паспорт. — Только, что я хотел спросить у вас, товарищ?

— Пожалуйста, — сказала шутливо Полина, дотрагиваясь до своего зеленого берета.

— В паспорте у вас пишется Смирнова Полина, а поете вы — Полина Вольская. Как понять?

— Псевдоним, — пояснил диктор томным голосом.

Милиционер посмотрел на него недоумевающе.

— Прозвище, — сказала Полина.

Милиционер, сдерживая негодование, притронулся к фуражке и сказал скромно, но решительно осуждающе:

— Вся страна знает — и под прозвищем.

— Начала петь маленькой, лет шестнадцати. Фамилия мне показалась некрасивой — Смирнова. Я была совсем не смиренная. Вот и выбрала: Вольская. Побойчее, да?

Милиционер молча притронулся к козырьку. Глаза его говорили: «Если в паспорте сказано — Смирнова, то зачем обижать милицию, которая выдает паспорта, зная кому».

Полина с удовольствием увидела, что здесь, как и всегда, в зале студии, вдоль стен сидят молчаливо много людей. Это были работники радио, актеры, выступавшие в этот день, и просто знакомые дикторов, которые сообщили им, что в шестнадцать двадцать по московскому времени перед микрофоном будет выступать знаменитая Полина Вольская. Ласково улыбаясь направо и налево, и говоря этой улыбкой, что она особенно ценит это внимание, когда того и гляди фашистская бомба упадет на радиостудию, Полина подошла к микрофону, и диктор торжественно объявил:

— Начинаем передачу концерта. Внимание, фронт! У микрофона заслуженная артистка республики Полина Андреевна Вольская. Она исполнит «Песню о хорьке».

Гибкий, и какой-то рдеющий голос певицы, наполнил студию.

Актеры переглянулись. Даже те, кто ее слышал много раз, должны были признать, что сегодня она пела с редким воодушевлением. Задорные, в очень быстром темпе, слова песни походили на действие четырехствольного пулемета.



Песня поднималась, ширилась, облегла все сердца, наполняя их ненавистью к врагу, презрением. Вот вспыхнула она словно красный огонь, и припев, будто гром, грянул тяжело и сердито:

Мы мечом и кулаком,  
Здесь расправимся с хорьком.  
Да, судьба твоя горька,  
Мы ухлопаем хорька!  
Наши реки широки!  
Наши балки глубоки!  
Здесь утопим навсегда!  
Здесь не встанешь никогда,  
Ужасающий хорек!  
Отвратительный хорек!!!

### Глава третья

Стахановец СХМ, токарь завода, Матвей Потапович Кавалев, или в просторечии Каваль, как всегда, шел и сегодня по цеху той плавной, слегка в развалку, походкой которую наблюдаешь только у весьма опытных рабочих. Каваль слегка прихрамывал, — он повредил ногу на военной службе, — но и прихрамывание это не лишало его плавности и, если уж говорить вернее, изящества. Это не та плакатная, рассчитанная плавность, которую видишь иногда в театре, в так называемой, «индустриальной» пьесе или же на экране, и которая только отдаленно напоминает истинную плавность человека, изучившего труд и умение экономить свои движения, человека, всем телом и разумом своим понявшим, как нужно управлять машинами; плавность, унаследованную и неповторимую, появляющуюся только в цеху, сливающуюся со всеми движениями цеха, с его металлом, энергией электричества, графиком труда, даже с ежесекундно меняющимися оттенками света, льющимися сквозь окна и застекленную крышу.

Матвей шел своей походкой. Однако, внутри его, походка его сердца, если можно так сказать, была совсем иная, чем несколько дней тому назад. Он был очень недоволен собой.

Матвей Потапыч Кавалев в последние дни много работал, и много думал. Недавно он окончил курсы мастеров социалистического труда при учебно-производственном комбинате СХМ. Учился он там три года, получил диплом, и теперь проходил стажировку мастера, в то же время работая у станка. Казалось бы, чего лучше? Еще две-три недели — и Каваль мастер!

«Мастером-то мастером — это верно, мастером он станет. Но как и чтобы такое сделать, дабы среди мастеров-то быть первым? А как ты тут будешь первым, если ты у станка не первый? Вот ты покинешь станок, станешь мастером, но с каким лицом отойдешь ты от станка?» — такие вопросы задавал сам себе Матвей.

Появились эти вопросы вот почему. Сильный, ловкий, гордящийся своей силой, ловкостью и умом, — лет пять тому назад, — приехал Мат-

вей на военную службу, пограничником, в Среднюю Азию. Ему нравились оружие, кони, дисциплина, весь строгий и точный строй службы — он надеялся стать командиром, капитаном, а то и полковником... Но — конь попался норовистый, всадник — гордый, и Матвей упал с коня, сломав ногу.

Хмуρο вернулся он домой. Нога зажила. Осталась только легкая хромота — был бы калекой, и то лучше. Тосковал Матвей долго и упорно. В то время, как назло, приехал окончивший институт приятель по школе Ося Коротков. Он быстро пошел в гору, год-два — и Коротков начальник цеха, инженер, помощник главного инженера, а теперь уже и главный. А велик ли ум у Короткова? С горошину! А, вот, отшлифовал, отграницил — и теперь блестит, как бриллиант, и дает директивы, указания наш Ося!..

Матвей пошел на курсы. Окончил. А тут — война. Стоит он у станка, соседи уходят на войну, он ставит за соседние станки учеников, сам учит — и то ли он переутомился, то ли совсем ослабел, но ряд станков, которыми он ведает почти на положении мастера, заметно снизил свои показатели.

«Что произошло? Почему? Потому ли, что Матвею хотелось в бой и скучно было стоять у станка? Или он не понимает действия многих станков, а только-только разбирается в своем?..» Ему казалось, что он потерял ту свободу и легкость выдумки, которой, — чуть ли не с детства, — он гордился. Он знал, что неприятное положение, в котором он находится, ему помогут изжить, но «надо и самому думать!»

Он остановился. Шагах в десяти находился шестигранный бетонный столб, у которого колыхалось знамя «Правды» и чернела доска показателей. За столбом тянулись станки, где работали его ученики и он сам... Он стал перебирать в уме: каких рабочих можно найти и пригласить к станкам: «Осипенко? Инвалид. Служит теперь в мороженой... Пойдет. Телесов? Мобилизовали. Егоркин? Вот, надо съездить к Егоркину. А тот Степанушкина потянет». Поставив более опытных рабочих у станков, конечно, он поправит положение, но все же этого мало... «Надо...» — «А что надо?»

Он растерянно оглянулся.

Черные клубы «затемнительной» бумаги, скатанные на день, создавали вокруг цеха мрачную, но героическую раму. Минуя эти черные плафоны, свет стремился на станки и разливался по ним розовыми и желтыми пятнами.

Две тележки, картаво перезванивая, пробирались по бетонным дорожкам цеха. Они поравнялись с Матвеем. Хорошенькие девушки улыбнулись ему, и одна, покрывая шум цеха, крикнула ему:

— Ну, как дела, Каваль?

— Поднимаются, — ответил Матвей.

— Приветствую!

Матвей вел скупую и суровую жизнь — как раз противоположную той, которую вел его отец. Женихом он считался хорошим. Не одна девушка вздыхала по нему, но Матвей гулял с ними редко. Он ждал. Чего?



Кого? Э, мало ли кого и чего мы ждем. Разница только та, что одни дожидаются, а другие, не дождавшись, так и уходят... проходят, как вот эти две тележки и две девушки.

Третий месяц цех держал почетное знамя «Правды». А, теперь? Из-за Матвея Кавалева знамя придется отдать?

Матвей взглянул на показатели группы станков, за которой наблюдал. Белым по черной доске: «48 % плана». Матвей вытер лоб. Вчера было — 54 %. Он рассчитывал, что сегодня цифра поднимется, хотя бы до 70 %!..

Девушки вернулись. Тележки их звенели. Матвей стоял, припав на хромую ногу, и у него, должно быть, был такой растерянный и глупый вид, что улыбающаяся девушка подтолкнула локтем подругу, и та обернулась и, пристально поглядев на Матвея, расхохоталась. Спецовка ее распахнулась, мелькнула белая кофточка с ажурной застежкой из кости. Каждый день повторяющаяся улыбка девушки, уверенный свет из окон, золото на знамени, чмокание станков, запахи масла, и в особенности, могучее влияние странной силы, спрятанной в проводах и вырывающейся в действие, едва лишь ты повернешь рычаг, в действие разумное и обещающее победу, в действие, уподобляющее машины войску на плац-параде, — все это должно было поднять в Матвее то ослепительное пламя воображения, всегда придававшее движениям его пластичность, которую можно разве бы сравнить только со слогом Платона, ту пластичность, в результате которой все детали, выходящие из его станка, походили на того неизвестного, но великого солдата, по которому выравниваются все солдаты полка и который, в сущности, и создает победу! Сегодня Матвей не чувствовал этого пламени. Вдохновение покинуло его.

Сильно припадая на ногу, что всегда указывало на раздражение, он пересек Проспект и подошел к длинному зеленому дому, в котором жил вместе со своими родителями. Сосед его по станку, Пётр Сварга, пожилой, с черными мохнатыми бровями и угловатыми движениями, проводил его до самого подъезда:

— Може, не ходить тебе в город, Матвей? — спросил он хрипло, видимо, страдая не менее Матвея. — Сухие листья горят огнем, от сырых только чад. Кого ты завербуешь на наши станки в таком вредном настроении?

Матвей ничего не ответил, легонько толкнул Сваргу в плечо, что означало расставание, и стал подниматься по лестнице. Мешки с песком, черные ленты на стеклах, кадушка с водой, деревянные лопаты, брезентовая кишка от пожарного крана — все, на что он уже давно не обращал внимания, теперь раздражало его. Он спросил самого себя: «Может быть, действительно, не ездить в город?» Но, тотчас же ответил: «А кто о тебе будет волноваться, когда ты сам не поволнуешься?» Это было неправильно, но именно эта-то неправильность утешала его. Сильный человек тогда только соберет целиком все свои силы, когда вообразит, что он одинок.

На площадке лестницы стояла Мотя. Эта рослая, стройная и румяная девушка недавно, вместе с другими беженцами приехала из того села,



где родился и Матвей. Село захватили немцы. Они ворвались внезапно. Под пулеметом, Мотя запрягла коня, навалила воз скарба, и вывезла родителей и трех теток, случайно оказавшихся тут же в хате. Теперь все шестеро жили у Кавалей. В небольшой квартирке было тесно, душно, но Кавали любили потчевать и принимать гостей, особенно старый Потап Кавалев.

Уже четыре дня Мотя встречала Матвея на площадке. В первый день она сказала, что в комнатах душно, и она вышла проветриться, но весь вид ее встревоженного и напуганного лица, все ее нервные движения, говорили, что иная духота волнует ее. Они дружили с детства. Старик Кавалев работал издавна на сельской паровой мельнице механиком. Отец Моти заведовал кооперативом. Оба они говорили о себе: «Мы — сельская интеллигенция». Сейчас старик Кавалев уже говорит о себе: «Мы — заводская интеллигенция», и отец Моти почтительно соглашается с ним.

Мотя стояла, заложив за спину крепкие и длинные руки, наклонив корпус и так глядя на Матвея, что смысл этого взгляда нельзя было не угадать. «Дружба кончилась, — говорил взгляд, — началась любовь. Я — люблю, а ты?»

Матвей боялся ответить утвердительно. Мужчина в двадцать пять лет еще не женившийся пребывает в таком состоянии или потому, что очень неприятен внешне, или потому, что внутренне являет собою урода, или потому, что считает брак институтом для дураков. В Матвее не было ни первого, ни второго, ни третьего. Он не женился по простой, но как ни странно, редко встречающейся причине: он не находил подходящей по характеру ему подружки. Какой у него был характер, он и сам толком не знал, но во всяком случае, он сильно уважал его, раз не нашел себе до сих пор подходящей по душевному росту девушки. Многие ему нравились, но стоило ему подумать: «женюсь или нет?», как сразу же выходило: «не женюсь!». Девушка это чувствовала, и они расставались.

Сейчас Мотя смотрела в его темные и тяжелые глаза. Он подошел к ней ближе. Он положил ей руку на плечо. Она придвинулась к нему, чуть касаясь его своею грудью. Позже анализируя себя, — Матвею нравилось предаваться иногда тому несложному анализу, которым мы всегда пытаемся измерить нашу любовь, — Матвей объяснял свой неожиданный и горячий поцелуй в сочные Мотины губы тем, что он-де искал в тот день ласки и сочувствия. Возможно, — если поцелуи, вообще, нуждаются в оправданиях.

Как бы то ни было, когда Матвей попробовал разобраться в густых и высоких чувствах, охвативших его, как в сенокос вас охватывают густые и росистые травы, Мотя уже лежала у него на плече, устремив в его глаза свой влажный и дымчатый взгляд, в котором, казалось, она видела Матвея, словно в пелене.

Они стояли, прислонившись к решетке, окружающей лифт. Мотя спрашивала его:

— А ты скажи, когда полюбил? Вот я тебя всегда любила, — как на селе рос маленький, и как в городе встречала. А ты?





— Некогда вспоминать...

И Матвей попробовал подтвердить свое изречение поцелуем. Она весело возвратила поцелуй, будто выпуская птицу из клетки, а затем спросила:

— Да, все-таки скажи! Я сколько дней стою на лестнице, шаги слушаю, думаю — любит ли? И когда полюбил? Скажи!

Матвей еще раз поцеловал ее и повернул от дверей:

— Ты куда, Матвей?

— А, мне в город.

— Обедать?

— Какой там обед!

Восклицание это она отнесла на свой счет. Она засмеялась счастливым смехом, и смех этот было очень приятно слушать Матвею. Он осмотрел ее статную, хорошую фигуру — и тоже рассмеялся. Почему бы, действительно, не пообедать?

Он вошел в квартиру, наскоро съел две тарелки супу и, не дожидаясь второго, ушел. Отец крикнул ему вслед, чтобы возвращался пораньше, будут гости.

— Вот тебе прилетят фашистские стервятники, узнаешь гостей, — смеясь, сказал сын, тут же добавив, чтобы без него не давали гостям вишневой. Он хочет сам откупорить и попробовать.

Он спускался по лестнице. Мотя проводила его до подъезда.

— Когда вернешься? — спросила она таким просящим голосом, что у него от радости похолодело сердце.

— Часа через три. Плохо учу, что ли... Надо других свербовать.

— Навербуешь?

— А чего не навербовать? Мое имя известно.

Трамвай миновал центр и повернул на Гоголевскую. Матвей спрыгнул на перекрестке. Он увидел рыжий деревянный домишко, в котором жил токарь Егоркин, работавший совсем не по специальности — в какой-то примусной мастерской. Матвей направился к домику.

Из радиорупора, возле трамвайной остановки, неслась песня. Матвей услышал знакомый мотив. Он недавно купил эту пластинку. Полина Вольская пела «Песню о хорьке». Он увидел на заборе синюю афишу с ее фамилией. Посмотрел на часы: четыре двадцать четыре. В шесть во Дворце культуры назначен ее концерт. «Успею, — подумал он. — Мотю надо захватить, она любит песни». И чтобы поделиться с кем-нибудь своим предстоящим удовольствием — слушанием знаменитой певицы и наслаждением, что рядом находится любимое существо, он сказал гражданину, который стоял рядом и внимательнейше слушал пение:

— Вот поет! Кабы я так пел, мои бы станки первыми в мире выделялись!

— По вежливости, надеюсь, — ядовито сказал гражданин, повертываясь к нему спиной.

## Глава четвертая

Как только они вошли в номер, аккомпаниаторша, не переодеваясь, кинулась к чемоданам.

— Хотите снести в камеру хранения? — спросила Полина, смеясь.

— Вы, видимо, не слышали, что мне сказали в студии?

— Хвалили вашу игру?

Аккомпаниаторша, обычно принимавшая самую грубую и гнусную лесть за самую толковую и некрикливую истину, — тут даже не расслышала слов Полины.

— Завтра к утру немцы будут в городе, — сказала она, не отрывая головы от крышки чемодана.

Полина переделась в домашнее платье и взяла книгу. Она читала У. Локка — «Обломки крушения», историю, которая казалась ей необычайно правдоподобной.

— Вы что же, перед немцами хотите выступить? — спросила аккомпаниаторша.

— Да, в роли пулеметчика — с удовольствием бы.

Вошел наборщик из типографии. Он учился пению и был поклонником Полины. Краснея, он подал только что напечатанную афишу о завтрашнем концерте и остановился возле стола, застенчиво переминаясь с ноги на ногу.

— Вот что значит, родной город! — воскликнула Полина. — Мне нигде такой красивой афиши не печатали. Благодарю вас, Серёжа. Можно вам контрамарку? — спросила она.

— Благодарю вас, — сказал наборщик, покраснев чуть ли не с головы до пят. Он глядел на нее. Она понимала его, как ей казалось: «Почему так мучительно трудно людям признаваться в любви, и почему они все-таки признаются?» Наборщик помялся, одернул платье и сказал: — До свиданья. Надеюсь, завтра увидимся?

— Конечно, увидимся, — уверенно сказала Полина, никак не считывая, что этот бодрый, искренний возглас ее скоро станет ложью.

Опроверг его, равно как и высказал то, что желал ей высказать наборщик, принесший афишу, — Стажило, секретарь Обкома партии, вошедший в комнату, как только закрылась дверь за наборщиком.

Михал Михалыч Стажило, в куртке, с прямым воротом и с накладными карманами, слегка закинув назад крупную голову с мясистым носом и светлыми глазами под опухшими от бессонниц веками, подошел большими шагами к столу и, ласково глядя на Полину, сказал, указывая на афишу:

— Никогда не рассчитывал, Полина Андреевна, что мне придется сорвать ваш концерт.

— Если вы и сорвете мой концерт, то я знаю, только для того, чтобы мой голос прозвучал где-то еще лучше, — любезно ответила Полина, умевшая составлять гладкие, хотя и терпящиеся часто в бессмысленности, фразы.





— Вы и сами не подозреваете, какую сказали истину, Полина Андреевна.

Полина встревожилась.

— Вам придется сегодня же покинуть наш город, — сказал секретарь.

— Почему?

— Эвакуация.

— Вздор! Песню нельзя эвакуировать! — воскликнула Полина. — Я очень признательна Обкому и, в частности, вам, секретарю. Но, я не уеду! Я должна дать последний концерт в моем городе. Я здесь родилась. Я не была здесь почти пятнадцать лет, и никакие немцы не заставят меня отменить концерт!

— Немцы не заставят, верно. Мы просим вас, Полина Андреевна, — почтительно сказал секретарь Обкома и странно было слышать эту почтительность от такого властного человека. — Наша первейшая обязанность беречь и защищать наш золотой фонд.

— Вы говорите от имени Обкома или от себя лично? — неизвестно для чего спросила Полина.

— Я, говорю, Полина Андреевна, и как секретарь Обкома и как представитель Советского Правительства. Я — депутат Верховного Совета.

Он извинился, что спешит. Автомобиль к гостинице подадут, придет товарищ, который посадит в вагон, так как возможны недоразумения. Он положил талоны, по которым Полина войдет в эшелон, поклонился и ушел.

Полина взяла талоны, посмотрела на них. Вагон № 8, места — 4 и 5. Поезд отходит в 6.20.

— В шесть часов мне надо выступить во Дворце культуры.

— Приедем еще, — сказала аккомпаниаторша.

— А все-таки я не уеду!..

— Зачем же вы тогда взяли квитки в эшелон?

Полина бросила талоны на стол, схватила сумочку, сунула в нее портсигар...

— Куда? Надо вещи собирать. Мне одной не справиться, Полина Андреевна! Я же вам говорила, не берите соболью накидку...

— К черту соболью накидку, к черту! — крикнула Полина. — Я должна последний раз увидеть свой город.

Всякий кто захотел, мог бы угадать по ее лицу, что она, действительно, последний раз видит свой родной город. Она торопливо пробиралась сквозь толпы, стоявшие возле сводок Советского Информбюро, написанных крупными буквами на высоких щитах. Она не могла прочесть их. Слезы мешали ей. Ей показалось только странным, что строки коммюнике расположены так симметрично. «Значит, еще не все потеряно?» — подумала она с надеждой. Она вышла на откос. За дубами белел пляж. Купалось много людей. Какой-то длинный мужчина в желтых трусиках, бурно размахивая руками, выскочил из воды, схватил огромную

простыню, похожую на парус, и стал упорно растирать свое тело, словно температура стояла ниже нуля. «Значит, не все еще потеряно?» — повторила Полина. И ей захотелось протянуть к тому мужчине руку и спросить его, через дубы, откос, плоские лодки, лежащие килем вверх на песке: «Потеряно все или не потеряно?»

Она постояла минуту, словно прислушиваясь к ответу, затем опять углубилась в улицы, безмолвное пространство которых, казалось, не имело границ. Она увидела широкий деревянный щит, возле которого, увы, не толпились. Она улыбнулась над собой. Деревянный щит держал афиши лекций, спектаклей и концертов. Рядом с «Королем Лиром» афиша фамилия известного киевского поэта, а, почти наступая ему на ноги, И. Бах обещал преподать вам урок торжественности посредством звуков, исходящих из органных труб. И, тут же, натянуто, на синей бумаге, сообщалось, что будет петь Полина Вольская... Та самая афиша, которую недавно принес наборщик? Теперь, более чем понятно — он приходил не затем, чтобы подарить афишу, а чтобы помочь ей уехать.

Чем дальше она смотрела на афишу, тем менее ей нравились те ростки, которые пускает в ней этот деревянный щит с афишами. Она раскрыла сумочку и достала портсигар. Курила она редко, обычно после концерта. Тот, кто часто слышит овации, тому трудно не курить.

Вложив папиросу в рот, она осмотрела внимательно внутренность сумочки. Пудреница, в золотой оправе, краска для губ, паспорт, двести рублей денег, три открытки, полученные сегодня от поклонниц... а спичек не нашлось. Молодой человек, слегка прихрамывавший, вышел из-за угла и встал спиной к ветру, чтобы закурить.

— Позвольте спичку, — сказала Полина, ласково улыбаясь.

Молодой человек протянул ей коробок. Она зажгла одну спичку. Ветер потушил ее. Она зажгла вторую.

— Не умею, — сказала она, возвращая спички. — Может быть, разрешите, закурю от вашей папироски?

Цвет лица у молодого человека был какой-то темноватый, словно бы кто слегка прошелся по нему серой краской. От этого оттенок суровости, который слышался в его голосе, был особенно чувствителен Полине. Он не протянул ей папироски, а сказал, глядя на ее крашенные губы:

— И, тебе не стыдно?

Полина знала, что рабочие почти ко всем обращаются на «ты» и она ответила, не обидевшись:

— Чего ж стыдного? Я всегда курю, когда нервничаю.

— Курить — что? Курить всем можно... А вот заниматься в такое время таким делом — позор.

— В какое время?

— В военное время.

— Каким же делом? — ответила Полина, не понимая его.

— Проституцией, — ответил он резко и отчетливо, словно передавая телеграмму. Потом он кивнул сам себе головой, будто подтверждая свою мысль, — «да, так оно и есть».

Полина рассмеялась бы, не произнеси он этого позорного и унижительного слова. Она взглянула на себя, потому что он презрительно морщился на ее домашний костюм, сшитый по моде. Как странны вкусы. Ведь костюмчик-то казался ей таким скромненьким. Она сказала серьезно:

— Конечно, позор, кабы занималась.

— Ну, ты брось трепаться! Что я вашего брата мало видел? Боишься — в милицию заберу? Нет. Я тебе говорю просто — стыдно. Брось!

И, очевидно, желая показать, как он умело угадывает местности, из которых приезжают сюда подобные, он спросил:

— Из Москвы?

— Из Москвы, — ответила почему-то робким голосом Полина.

— Ну вот, видишь? Советую — девка ты, на вид, отважная — брось!

Желая смягчить свою суровость, он подал ей коробку спичек, дотронулся до фуражки и пошел.

Полина обиделась на свою невольную робость, с которой она ответила ему, что — москвичка. Москвичи все — отважные, действительно, смелые... чего ж она испугалась? Она пошла рядом с ним, желая объяснить. «Надо его на концерт пригласить». — подумала она и тут же вспомнила, что концерт, наверное, уже отменен. И ей стало грустно.

Молодой человек посмотрел на нее и, не хвастаясь воздержанностью, а только указывая на свою волю, сказал:

— Уходи. Не такой.

— Мне по дороге, — солгала Полина. — А вы что, стыдитесь меня?

Решительно шагая, отчего на виске его надулась толстая жила, молодой человек сказал:

— Не стыжусь, а противно. Люди кладут жизнь против фашиста, а она... тьфу! Из Москвы? — повторил он вопрос.

— Из Москвы.

— Как можешь думать, — если ты московский гражданин, — раз немцы город заберут, ты у оккупанта останешься? За такую технологию тебя, как паршу, надо вытравить!

— Вовсе я и не думаю оставаться у оккупантов.

— И не останешься! — решительно сказал ее спутник, припадая на ногу. — Не отдадим города! День и ночь будем работать, день и ночь будем биться, а немцу здесь не бывать. Вот такова моя оценка положения!

Он остановился у столба, на котором висела красная запыленная табличка с указанием номеров трамвая. Прислонившись плечом к столбу, он посмотрел на подходивший вагон. Шел «5», а ему надо «7». От нечего делать, он стал рассматривать Полину, которая смотрела на него приветливым взглядом огромных голубых глаз. Горячие струи крови то приливали к ее лицу, то отливали, и, казалось, что ее лицо трепещет, как трепещут листья под ветром. Что-то простое и ясное чудилось в ней... Матвей спросил, чтобы как-нибудь оправдать хорошее чувство внимательности, возникшее в нем:

— Давно таким делом занимаешься?

Полина ответила своим вопросом:

— У вас нога болит?

— В кавалерии служил. Конь попался бешеный. Сшиб. — Тут он рассердился, что она не отвечает на его вопрос. — Ты что ко мне пристала? Тебе что надо? Ты где остановилась?

— В гостинице.

— Вот, и иди в свою гости-ин-ницу... — протянул он насмешливо. — Твоя гостиница в тюрьме должна быть. Убирайся, пока я тебя, вместе с твоим классовым сознанием, в милицию не передал!

Непоследовательность и явно обнаружившееся отсутствие гуманности у молодого человека, взволновали Полину. Она сказала с задором:

— Что это вы так оклеили себя идеологией, как обоями? Вы кто такой? Стахановец?

Напоминание о его позорном отставании в цеху заставило его помрачнеть. Он пропустил «7». Ему захотелось сказать ей, что тут не столько его вина, сколько, так называемые, объективные обстоятельства, ссылку на которые у других он всегда осмеивал.

Полина же, подумав, что уже установлен «тариф его жизни», как она говорила в подобных случаях, продолжала его дразнить:

— Чем вы кичитесь? Подумаешь, шишка, всех презирает! А вы бы взяли в голову, каким путем человек доходит до того положения, в котором вы меня воображаете. Думаете, легко, при советской власти, быть воровкой или проституткой?

— А ты что ж, воровала?

— Нет, не доводилось. Ваш трамвай?

— Успею, — с усилием ответил Матвей.

Полчаса спустя, они ехали в вагоне маршрута «7», направляясь к Проспекту Ильича. Оба они держались за одну и ту же деревянную ручку, прикрепленную ремнем к шесту, тянущемуся вдоль всего вагона. Несмотря на открытые окна, в трамвае было душно, пахло пеленками, хлебом и слегка яблоками, которые уже появились на базаре.

Матвей говорил с таким увлечением, что даже привыкший ко всяким разговорам трамвай внимательно слушал его:

— Понимаешь, я шел в цеху первым! Что ни декада, я им — рекорд. Ты слышала о многоместном гудовском приспособлении?

— Нет.

— Ну, как же, нельзя не слышать! Ты просто забыла. Раньше на вертикальном фрезерном станке деталь обрабатывалась по одной штуке. А гудовское приспособление позволило производить обработку одновременно десяти деталей. А я так нащупал, что у меня обрабатывалось и до тридцати! Но теперь у меня не выходит... За другими слежу, а у самого... отстал...

— Как же быть?

— Как быть? Не колебаться! Жизнь тебе не сладкий пирог с начинкой. Я еще покажу, как Матвей Каваль повышает норму выработки в смену! Ты спросишь, почему?

— Почему? — спросила с любопытством Полина.





Глаза ее упали на электрические часы улицы, мимо которых проходил трамвай. Они показывали — 7.12 вечера. Значит, поезд ушел? «Ну и слава богу», — подумала Полина, и она повторила:

— Почему же вы повысите норму выработки?

— А потому, что я мастер, а они мне в подметки не годятся. Вот, скажем, ты... Тебя как зовут?

— Полина.

— Мне не имя. Мне — фамилию.

— Воль... — начала было Полина, но затем задорная мысль охватила ее: «а не попробовать ли остаться с заводом?» И весело сверкнув глазами, она сказала протяжно и вятно: — Полина Андреевна Смирнова.

Матвей кивнул головой, как бы одобряя фамилию. До сих пор некоторые люди, часто, по впервые услышанной фамилии определяют, подсолнательно, разумеется, свое отношение к человеку. Таков был и Матвей. Позже он мог менять свое отношение к человеку, но впервые услышанная фамилия, тем не менее, оставалась рядом с этим первым впечатлением.

Одобрив фамилию, он, однако, не одобрил веселого тона, с которым была названа эта фамилия. Он слегка нахмурился и, давая понять, что разговор не шуточный и он человек достаточно серьезный и взрослый, строгим голосом сказал:

— Тебя, например, Смирнова, я могу поставить возле детали. Деталь у меня ответственная и для нее надо ловкую руку. Дело, кажись бы, пустяковое, а с перспективой...

Он поглядел на ее руки, которые ему казались достаточно ловкими, перевел взор на ее лицо и, не без важности, добавил:

— Перспектива — это значит, когда человек на верном пути стоит.

## Глава пятая

Семейство Кавалевых происходило из села Карнява, километрах в ста двадцати от областного города, где находился СХМ. В город старик Кавалев приехал лет двадцать назад, да и до того, в молодости, он жил в городе. Сельская жизнь всегда казалась ему тесной, но, обычно, покинув село, он начинал по нему тосковать и необычайно радовался всякому приезду родственников или знакомых «с села», как он говаривал.

Квартира Кавалей состояла из двух, довольно крупных, комнат и небольшой кухонки, метров на одиннадцать квадратных. Помещалась она на пятом этаже. Отсюда было видно и мост, и реку, и дубы за рекой, а когда влажный ветер с реки колыхал открытые рамы, то в стеклах колыхались соседние дома и матовые шары фонарей по ту сторону Проспекта, и радиаторы машин, мелькавших мимо столбов, и головы коней, но ни топота, ни гудков не доносилось сюда, и казалось, что кони и машины проходят мимо вас словно в воспоминании.

Потап Иванович Кавалев, седоусый и седобровый, утверждавший, что род его идет от запорожца Игната Коваля, который, мол, служил вместе с Тарасом Бульбой, любил принимать гостей, потому что любил



гостям рассказывать всякие замысловатые истории — случившиеся с ним или которые могли бы случиться, или же, наконец, не могли случиться. Гостей было пятеро: тот самый Пётр Сварга, который провожал с работы Матвея; Герчиков, кассир заводоуправления, чахоточный и носатый пьяница; Силантьев, бригадир бригады теплой промывки паровозов, работавший в городском железнодорожном узле, тощий, похожий на подсвечник; слесарь Вержбовский, лысый и веселый, одноклассник с Потапом Иванычем, все еще стоявший у станка, — да как стоявший! Месячное задание он выполнил на 170 процентов.

Вспрыскивали возвращение Потапа Иваныча на СХМ, механиком. Лет шесть тому назад он, почувствовав недомогание, ушел на пенсию. Потап Иваныч угощал гостей селедкой, копченой колбасой и салом. Гости ели медленно. Звон противней и запах, доносившийся с кухни, указывали, что скоро в комнату войдут пироги.

— Кушайте, дорогие! — говорил Потап Иваныч, поднимая чашку с водкой. — Мы угощать и пировать любим. Мать, мы любим угощать?

Из кухни донесся голос старушки:

— А, любим.

— Ну раз любим, где же пироги?

— Зараз.

Мотя, вежливо улыбаясь, задев стул, прошла вдоль стены на балкон. Вслед за нею вошел отец ее. Он был выше дочери почти на голову, но казался гораздо ниже — такое грустное и траурное выражение чувствовалось в каждом шаге его. Мир для него отныне был окутан черным туманом, вторгавшимся в душу со звуком тех взрывов, которые сопровождали его прибытие сюда. Это была тоска о том, что никогда не вернется: двух сынов его, комсомольцев, повесили немцы, раненую сестру раздавил танк, все братья его были убиты...

— Алексей Кузьмич, може выпьешь? — спросил его робковато Потап Иваныч.

— Не. Благодарствуйте, — ответил устало Алексей Кузьмич, садясь в углу, за спиной хозяина.

Тотчас же, как только фигура Алексея Кузьмича скрылась, Потап Иваныч обратился к гостям:

— Две причины, как известно, по которым я вас угощаю. То есть первая известна: возвращение на завод, а вторая такая — что сын у меня сегодня поставит всемирный рекорд на своих станках!

— Какой там рекорд! — ревниво сказал Вержбовский. — Когда у него половина нормы отсутствует?

— Поставит!.. — упрямо повторил Потап Иваныч. Легкая закуска способствовала его охмелению. Ой, надо б было старушке поспешить с пирогами. — У него — ум! У него воспитание. Домашнее и в школе... и в армии. Поставил я на крылья пять сынов, но таких крыльев, какие имеет Матвей, они сверхприбыльны!

И, как всегда, неожиданно для самого себя, он поднес один из тех сюрпризов, которые затем долго обсуждали, дивуясь, все гости его:

— Все мои сыны дошли до высоких ступеней, но только никто, кроме Матвея, не поднялся на ступень полковника!

— А, хйба, Матвей Потапыч, полковник? — раздался за его спиной грустный голос селянина.

Потап Иваныч чокнулся с гостями и, не оборачиваясь к селянину, ответил:

— Полковник кавалерии и артиллерийских войск! Баллистику проходил. Три года! — Слово «баллистика», после того как завод СХМ переключился на производство противотанковых пушек, стало здесь очень модным. — Но, только он — скрывает! Он у меня — гордый. Его сбросил конь... и он повредил ногу... он бы теперь генералом был бы... он бы теперь весь город наш защищал бы, получше Микола Горбыча!

— Микола Горбыч — хороший генерал, — сказал кассир Герчиков, много раз видевший генерала, который дружил с директором завода СХМ Рамадановым. — От Микола Горбыча командиры выходят, как из озера вытекает речка.

— Не спорю, — сказал Потап Иваныч. — Хо-о! Ему воли нет от ноги, а то какой бы был полковник! С ним происходил такой случай на Сахалине...

— На Сахалине служил?

— Половиной Сахалина командовал, а другая половина у японцев...

Тут старушка позвала Мотю, и они внесли пирог. От пирога пахло рыбой и горячим хлебом. Свет играл на поджарой корке его, удивительно славно блестящей. Потап Иваныч протянул к пирогу руку, вооруженную ножом, и продолжая рассказ о сыне своем Матвее, отличившемся на Сахалине, стал резать пирог.

Как раз тогда, когда остро отточенный нож, изделие павловской артели, рушил пирог, Матвей, уже произведенный отцом в полковники, и Полина, проехали половину пути к Проспекту Ильича. От того места, где они сели в маршрут номер «7», до Проспекта считается не менее десяти километров, и, следовательно, когда они подошли к подъезду, — пирог уже был съеден гостями, вишневка, о которой беспокоился Матвей, выпита, и утомленные сытным обедом гости, ссылаясь на возможность бомбежки и на то, что их бомбоубежище гораздо удобнее, направились домой спать.

Гости целовались с хозяином в коридоре, клянясь в вечной дружбе, а на кухне — Мотя и мать Матвея говорили о любви. Мотя призналась в сегодняшнем поцелуе. Но как только она призналась, она тотчас же спросила быстро, резким испуганным движением подняв голову:

— А колы пошутил Матвей Потапыч?

— Мой сын не шутит, милая, — ответила ей Агриппина Борисовна. — Раз он сказал, его слово твердо. Свадьбу назначил?

Мотя потупилась.

— Свадьба не назначалась. Да и как пировать под бомбами? Одно дело — пригласить гостей на пирог, другое — на свадьбу. Свадьбу с собой в бомбоубежище не возьмешь.

По этим словам было видно, что Мотя долго и упорно думала о свадьбе. Она была как бы перенаселена желаниями подольше и покрепче удержать при себе Матвея. И, понятно, что ей хотелось, чтоб никакой враг не заставлял врасплох ее счастье, не пугал бы ее, не отгонял бы от нее Матвея.

Делая усилие улыбнуться, она проговорила:

— Вот, може завод в тыл начнут эвакуировать?..

— Распоряжения не было увозить в тыл, — сказала Агриппина Борисовна, боящаяся бомбежек не меньше Моти, но того более боявшаяся Матвея, который грозно хмурил брови, как только мать заводила речь об эвакуации. — Распоряженье было: заводу вместо сельских машин грузить орудия...

— А, може, и увезут?.. — повторила Мотя. — Страшно, Гриппина Борисовна, под бомбами. У нас что творилось на селе... что творилось!..

Тут Моте показалось, что она слышит идущего Матвея. Она побежала в коридор, и распахнула дверь. Внизу она слышала голос Матвея и его слегка шаркающие шаги. Тонем приказания он говорил кому-то:

— Остальные, которых я навербовал, перейдут на казарменное положение, а ты, Смирнова, поселишься у нас. Девка ты избалованная, за тобой еще надо следить да следить.

— Обещаю вам, — услышала Мотя чей-то женский, сочный и как бы плещущий голос.

Матвей прервал этот голос:

— Все вы обещаете, а там, смотришь, из-за вас — поножовщина!

Мимо Моти прошли гости. Она не имела силы разглядеть их. Словно какая-то буря согнула ее, как гнет она тополя, и как будто холодный и едкий дождь хлестнул ей в глаза. Она прислонилась к косяку.

Пролетом ниже, остановился Матвей, не желавший, видимо, чтобы гости видели, как он поднимается, хромя. Смеясь, он спросил у гостей:

— Попировали? Мало!

— Уж и скрытный ты, Матвей Потапыч, — посылшался голос Вержбовского. — Сколько лет тебя знаю, а только сегодня узнал главное...

— Что такое оно главное? — спросил Матвей.

— Да то — шутка, — сказал второй гость.

— Не-е! То не шутка. Потап Иваныч гарантийный документ искал да не нашел! Матвей, говорит, куда-нибудь спрятал. Матвей Потапыч, твоему отцу можно верить?

Матвей любил отца. Сквозь решетки лифта, перила и ступени несется вверх любящий его голос. «Вот бы меня так любил!» — подумала, вздохнув, Мотя.

— Раз мой отец утверждает, то — святая истина.

— Значит, — святая истина, что ты, Матвей Потапыч, — полковник?

— Хай живе Матвей Каваль — полковник! — воскликнул пьяный гость. — Пошли, Вержбовский, скоро бомбы начнут падать.

Мотя захлопнула дверь.

Она сидела на кухне, когда туда вошла встревоженная Агриппина Борисовна.

— Родственницу привел? — спросила Мотя, не поднимая глаз.

— Никогда и не видали такой.

— Пьяный?

— То-то, что трезвый, — сказала старушка, усаживаясь возле Моти.

Она наклонилась к ее уху и прошептала: — Бомбы эти всех с ума свели. Накрашенная...

— Уличная?..

— О, господи! Боюсь и подумать.

— А я думала — родственница...

В дверях кухни стоял Матвей. Он поднял на Мотю тяжелый и темный свой взгляд и проговорил:

— Все мы родственники перед Конституцией.

Он перевел глаза на мать и добавил:

— Мама! То — девица с моих станков. Посели ее пока на кухне.

Старушка сдержанно побагровела. Она могла простить, что девицу поселят, где обедают, — но на кухне, в ее святыне? Повернувшись на стуле, она возразила:

— На кухне Мотя живет... селяне...

— Вот и будут жить вместе, — сказал твердо Матвей. — Один беженец от немца, другой — от своего характера!

Мотя от этих слов так огорчилась, словно бы голова ее поседела в одну ночь. Как быть? Что делать? Отказаться? А, может быть, тут ничего нет. Она чувствовала, что презрение к этой девке растет в ней неудержимо. И она пробормотала, стараясь сделать холодное лицо:

— Которым, и не за характер платят деньги...

Матвей уставился в пол. Лицо его было сурово. Он сжал челюсти и сказал с трудом:

— Прошу, мама, без колебаний.

Мотя и Агриппина Борисовна вышли. Матвей показал Полине на топчан. Здесь она будет спать. Затем он посмотрел ей в лицо. Казалось, что она ощущает слабость и головокружение. Но, Матвей не верил себе: «И не такое ей приходилось выдывать», — подумал он. Указывая на губы ее и щеки, он спросил:

— А это зачем?

— Что?

— Да краска.

Он подвел ее к крану.

— Чтоб у меня такого больше не было. Завод тебе не улица. Я у моих станков не позволяю краситься. Не нравится, переходи к другому мастеру, а то к лешему с завода!

Он пустил воду, намылил руки и, смеясь, сказал:

— А ну, наклонись, я с тебя все грехи смою, отныне и навеки.

*(Продолжение следует.)*

---

Ирина МАХНАНОВА

**НЕИЗДАННЫЙ РОМАН  
ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА «ПРОСПЕКТ ИЛЬИЧА»:  
К ПРОБЛЕМЕ ПУБЛИКАЦИИ**

Великая Отечественная война оставила немного материальных свидетельств тех страшных лет. Эта память бесценна: вещи, письма, дневники, печатные издания военной поры укрепляют связь времен. И без сомнения, более семидесяти лет бережно хранимый и ожидающий своего часа роман Всеволода Иванова, доказывающий несломленную веру в Победу, заслуживает публикации и включения в массив научного и культурного наследия эпохи.

Роман «Проспект Ильича» до настоящего времени не опубликован. Известны несколько машинописных вариантов, но экземпляр, хранящийся в фондах Омского государственного литературного музея им. Ф. М. Достоевского, по ряду обстоятельств следует считать первой редакцией (ОЛМ 29/38). Наши предположения при текстологическом сравнении подтвердила Е. А. Папкова, исследователь творчества писателя, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, внучка Всеволода Иванова.

В 1960 г. Вс. Иванов отдал свой роман на ознакомление М. В. Минокину (1918—1999), в то время доценту Орловского педагогического института, впоследствии — доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой советской литературы Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (в настоящее время — Московский государственный областной университет). Михаил Васильевич передал эти документы в Омский краеведческий музей в 1980-х гг., уже после смерти писателя. С начала 1990-х они хранятся в Омском государственном литературном музее им. Ф. М. Достоевского.

Музейное дело — объемная картонная папка с машинописным текстом в 406 страниц, на обложке которой прочитывается рукописная надпись, сделанная простым карандашом: «Тов. Минокину (от автора)». Адресат подчеркнут двумя линиями, ниже по центру той же рукой сделана надпись — «Вс. Иванов», под фамилией — «Неопубликованный роман».

Первый лист, отличающийся по плотности от остальных страниц, вложенный отдельно, имеет наклонную надпись карандашом красного цвета — «Проспект Ильича», также подчеркнутую двумя чертами,



ниже — «Роман» (подчеркнуто одной чертой). Этот лист, без сомнения, сохранил для нас руку автора. Такая уверенность появилась, когда мы сравнили его с еще одним листом, где имеется заглавие другого произведения Вс. Иванова, выполненное тем же карандашом и подчеркнутое подобными же решительными двумя чертами. Ниже заголовка следует пояснение в скобках: «Написано рукой Вс. Вяч. Т. В. Иванова».

Также на первом листе сделаны две короткие записи, уже другим почерком, написанные одной рукой, но в разное время: карандашом синего цвета — «Рукопись с правкой автора хр. в ЦГАЛИ», простым карандашом — «Автограф Вс. Иванова (записка в архиве ИРЛИ) 1960 г. Орел». Сравнивая эти надписи с записью М. В. Минокина на последней странице, убеждаемся, что автором их является ученый.

Авторская машинопись «Встречи и переписка со Всеволодом Ивановым», хранящаяся в архиве ученого в фонде ОЛМ, прояснила ряд фактов.

«К сожалению, я слишком поздно заинтересовался неопубликованными романами и повестями, да и пьесами», — сетует в своих воспоминаниях М. В. Минокин.

«Если Вас интересуют мои писания, я Вам подарю перепечатанные экземпляры романов “У” и “Проспект Ильича” — обещал мне В[севолод] В[ячеславович], в том же году известил по телефону, чтобы я зашел на Лаврушенский получить машинописные копии романов “У” и “Проспект Ильича”. Когда я дома раскрыл одну и другую папку, то в них нашел по записке. <...> Вторую записку-автограф привожу:

“Роман “Проспект Ильича” был написан в 1942 году в Ташкенте, куда я эвакуировался с семьей из Москвы и Куйбышева глубокой осенью 1941 года.

Роман был принят к печати в издательстве “Советский писатель” и журналом “Новый мир”, откуда был выброшен чьей-то мощной рукой без объяснения причин — мне. Я попытался объясниться: ходил к т. Стецкому (тогдашний Поликарпов в ЦК) и к т. Щербакову (тогда секретарь МК). Они меня любезно приняли, но тоже ничего не объяснили.

В Ташкенте отдельной книжкой, листов 5—7, вышли тогда же отрывки из романа под названием “Матвей Ковалев”. И — всё.

Рукопись не выправлена и не перечитывалась мною с 1942 года. Вс. Иванов. Ноябрь 1960. Переделкино”». (ОЛМ 29/21)

Далее М. В. Минокин продолжает (для нас важно это мнение):

«Вскоре я прочел “Проспект Ильича” и написал горячее письмо В. В. В нем я говорил об утрате советской литературой военных лет, ведь в 1942 году мог увидеть свет один из первых романов о первом этапе войны, в нем впервые ярко показана как героическая защита советского города, так и самоотверженный труд людей этого города (видимо, в основу легли впечатления от обороны г. Смоленска в 1941 году).

“Спасибо за “Проспект Ильича” и за горячность письма, — быстро откликнулся В. В. — Конечно, подлецы, что запретили “Проспект Ильича”. Но — кто запретил? Я до сего дня не знаю. И, конечно, роман можно и сейчас напечатать, — но вот руки не доходят подредактировать его. Да я и не совсем уверен, что его сейчас напечатают”».

А что же написал на последнем листе авторского экземпляра ученый? Под впечатлением от прочитанных строк М. В. Минокин эмоционально высказал свое профессиональное мнение: «Преступление совершил тот, кто отказался печатать роман в войну, преступление совершает сам автор, сегодня не печатающий его, — ибо это высокопоэтическое произведение волнует и сегодня! М. М. 16.XII.60».

Свыше 400 страниц машинописного текста не содержат более поздних правок, которые автор вынужден был делать по требованиям цензуры. Непростой путь подготовки романа к печати, стремление донести свой труд до читателя отражены в дневниках писателя. В военные годы, как и в предыдущее десятилетие, литературное творчество должно было соответствовать канонам соцреализма. Казалось бы, требования, изложенные в Уставе Союза писателей СССР, выполнены: «Правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной перделки и воспитания в духе социализма...» Так в чем же засомневались цензоры?

Всеволод Иванов мастерски применял свое умение показать особенности времени, отразить контрасты идеологии. Образ Ильича, воплотившийся в монументальном проспекте, возвеличивающий на века фигуру основателя Советского государства, может рассматриваться и как своеобразная дань литературным канонам соцреализма, и как образ, противопоставленный действительности. Прославление вождей Отчизны — Ленина и Сталина, незыблемая вера в коммунистическое будущее умело передаются автором, но скрытая между строк ирония, неприятие стереотипов поведения не единожды встречаются в романе.

Стремление главных действующих лиц открыто заявлять о своем мнении, мыслить и действовать самостоятельно становится основной сюжетобразующей линией романа. По мере погружения в его текст бдительная советская цензура, вероятно, обнаруживала все более двусмысленные моменты, чего допустить не посмела... Скрытые и явные протесты, выраженные в романе, автором не объясняются и не комментируются. Возможно, именно эта авторская свобода повествования, искренняя правдивость переживаний и мыслей героев оказались слишком смелыми...

Избирательно и кратко процитируем «Дневники»\* Всеволода Вячеславовича, отмечая последовательность событий, связанных с цензурным «воздействием» на роман и некоторыми «итогами».

\* Иванов Вс. Вяч. Дневники. — М., 2001. — С. 88—215.



«Ташкент. 1942. Заметки.

6/IV. Окончил роман “Проспект Ильича”. Испытываю живейшее удовольствие от этого события.

8/IV. Пришел редактор Киевской киностудии <нрзб>, сообщить, что сценарий мой, “Проспект Ильича”, в основном принимается. Нужны доработки.

<...>

11/IV. Читал теорию права. Роман лежит направленный.

13/VI. Получил из Узгосиздата предложение прийти и подписать договор на “Проспект Ильича”.

15/VI. Подписал договор на “Пр[оспект] Ильича”.

<...>

20/VI. Днем правил роман.

23.[VI.] Окончил правку романа “Проспект Ильича”.

4.[VII.] Позвонили из Союза и предложили вечер: “Проспект Ильича”.

5.[VII.] Напечатан в “Пр. В” (“Правде Востока” — комментарий Е. А. Папковой. — И. М.) отрывок из романа “Проспект Ильича”.

7.[VII.] Телеграмма из “Нового мира” о получении романа.

8.[VII.] Подписал договор с “Советским писателем” на отрывки из “Проспекта Ильича”.

30.[VII.] Исправил “Проспект Ильича” по замечаниям Лежнева.

28 августа. Вчера, в ответ на хамское письмо А. Фадеева ответил не менее хамским письмом».

Письмо Вс. Иванова, опубликованное в комментариях к «Дневникам», дополняет краткие записи автора, воспроизводя контекст эпохи:

«Одновременно с получением Вашего письма от имени Пресс-бюро, я видел письмо от газеты “Литература и искусство” (подписанное тов. Горелик), адресованное тов. М. Живову, представителю газеты в Ташкенте. Газета, Вами редактируемая, выговаривает М. Живову свое негодование, что он осмелился похвалить новый роман Вс. Иванова “Проспект Ильича”, ибо неизвестно, что ждет роман. Не участь ли “Ивана Грозного” А. Толстого... (передаю не текстуально, а смыслово). Нужно сказать, что М. Живов передает не свои впечатления, а впечатления нескольких собраний писателей Ташкента, которым я в продолжение трех вечеров читал свой роман, но даже важно не отношение к роману и не заранее Вами определяемая судьба его, а то, что Вы великолепно знаете, что я написал большой роман в 18—20 печатных листов о современной войне, — первый роман, написанный старшим поколением группы советских писателей, к которой я принадлежу, — и тем не менее Вы, совершенно безответственно, и, извините меня, преступно пишете мне, что я не выполняю обязательств перед Родиной и то мол беспокоит Вас. Да еще рядом с этим Вы осмеливаетесь писать о любви народа ко мне. Неужели вам, руководителю Союза Советских писателей, неизвестно, что Всеволод Иванов написал роман “Проспект Ильича” и что роман этот находится уже два месяца в Москве —

в издательстве, руководимом Чагиным, и в редакции журнала “Новый мир”. Неужели я пишу романы каждый день и в таком количестве, что о появлении их в редакциях не говорят и не слышат».

И далее из «Дневников»:

«6.[IX.] Из Москвы получил сообщение — обязательно переменить название «Бой за Дворец культуры». Почему? Я понимаю, когда выключают у меня электричество, но не понимаю, почему нужно выключать название книги, если вся книга разрешена к печати.

8.[IX.] Правил “Ненависть” — отрывок из романа. Заметки и правки в рукописи сделал какой-то узбек из ЦК...

13.[IX.] Телеграмма от “Нового мира” с предложением изменений в романе.

26.[IX.] Письмо из “Нового мира” о моем романе (три месяца спустя после получения ими романа!). В общем благожелательное, но трусливое».

Московские события:

«27.[X.] Был у Чагина. Роман признают оторванным от жизни.

15.[XI.] Днем переделывал “Проспект Ильича”. Так как глава о еретиках напугала наших дурачков, то я ее выкинул. Эта глава была стержнем, на котором висела глава вступительная — песня о “проспекте Ильича”, и поэтому пришлось выкинуть и первую главу, а раз выкинул — надо менять и заглавие. Я назвал роман “Матвей Ковалев”.

16.[XI.] Исправлен “М. Ковалев”. Занятие оказалось более сложным, чем предполагал. Из Ташкента события рисовались несколько в розовом свете. Эта розовая дымка пафоса и реет над романом. Здесь же в Москве, конечно, больше серости, чем розовости. После войны, года три спустя, роман в розовой дымке, наверное, был бы хорош, но сейчас, пожалуй, несколько слащавый. Вот я и снимаю эту слащавость. Трудно, ибо можно, невзначай, снять столько мяса, что и кость обнажится.

15.[XII.] Позвонили из Союза писателей и попросили у меня экземпляры романа “Проспект Ильича”. “Как можно больше, так как роман выставляется на Сталинскую премию”. Тамара сказала, что есть один экземпляр, его можно дать в четверг, и если им хочется читать, то пусть перепечатают. <...>

Боюсь, что Союз писателей заказывает мне на визитной карточке: “Кандидат Сталинской премии”.

Исправил, наконец, роман».

Роман Вс. Иванова «Проспект Ильича» так и остался неопубликованным. Современное прочтение романа позволяет утверждать, что цензурные нападки на автора не были безосновательны.

«Пройдут годы. Литература, настоящая, верная, не умирает. Она вспомнит, в каких условиях и что делали настоящие писатели во время Великой Войны», — писал Вс. Иванов в упоминаемом письме председателю Союза писателей СССР.\*

Творческий труд писателей, ученых, подвижников культуры, работавших в годы войны, являлся, по сути, героическим самоотречением, ежедневным подвигом, принесенным на алтарь Победы. Обязанность современников — выполнить долг перед памятью авторов, передать их наследие потомкам — опубликовать эти труды, открыть дорогу к читателям и исследователям.

Возрождаемый нами текст — это документальный свидетель эпохи, исторической трагедии в судьбе нашего государства. И издание как самого произведения, так и всех документов, что с ним связаны, важно для понимания особенностей отечественного историко-литературного процесса XX столетия.

При подготовке отдельного издания текста романа будет проведена сверка с автографом, хранящимся, как следует из пояснений М. Минокина, в Рукописном отделе Института русской литературы РАН, и анализ авторских исправлений в машинописи из Российского государственного архива литературы и искусства. В «Сибирских огнях» роман публикуется по авторизованной машинописи из фондов ОЛМ.



---

\* Иванов Вс. Вяч. Указ. соч. С. 342.

---

Мария ВОЛКОВА

## ПРИМИРЯЮЩИЙ ЗАПАХ ЗЕМЛИ\*

### Тени

День земным дуновеньям открыт,  
Суета — это главное зло.  
Ночью громче душа говорит  
И все дольше о том, что прошло.

Поступь вечности ночью светлей,  
Осязательней горечь утрат.  
Тени ближних когда-то людей,  
Задевая тебя, шелестят.

Сколько света ушло в темноту,  
Сколько слов онемело навек,  
И какую всегда пустоту  
Оставлял по себе человек!

Но не жалуйся, не прекословь,  
Смертный ропот гони, как змею!  
Пусть бессмертьем наполнит любовь  
Благодарную память твою!

1950

\* \* \*

Сибирь, Урал — уже за мной,  
И позади осталась Волга.  
Я покидала край родной,  
Не думала, что так надолго.  
Живет надеждой человек:  
Прощаясь, жаждала я встречи.  
И тихо падал мне на плечи  
Последний нежный русский снег...

---

\* Публикация Ольги Тарлыковой.





Пока дышу, пока жива,  
 Мне этот день все будет сниться.  
 Первопрестольная Москва —  
 Опустошенная столица,  
 И этот мягкий зимний свет,  
 Чуть затуманенный метелью,  
 И перед близким новосельем  
 Печаль, которой меры нет.

Москва была не та, не та:  
 Рвалось чужое отовсюду.  
 Но храм Спасителя Христа  
 Еще сиял, как Божье чудо.  
 Еще у Иверских ворот,  
 Презрев опасности гоненья,  
 Искал, как прежде, утешенья  
 Изнемогающий народ.

И я в часовню побрела  
 С душой, тоской обремененной,  
 Туда, где свечи без числа  
 Пылали ярко пред иконой.  
 Последний день — последний срок!  
 Но дивная в молитве сила...  
 И, уходя, я уносила  
 Благословенный образок.

Текут года, потоки лет.  
 Темны, темны чужие дали.  
 А Иверской часовни нет,  
 Ее давно с землей сровняли...  
 И все — не то, и мир — иной,  
 И жизнь висит на нитке тонкой,  
 Но деревянная иконка  
 Везде со мной, всегда со мной...

### На Чиглинке

Берег густо порос тальником,  
 Что идет на отличные дудки.  
 Мы под горкой уселись молчком —  
 Ведь рыбешки пугливы и чутки!

Взор как будто прирос к поплавку.  
 Трудно тихо сидеть, а ни слова! —  
 Каждый миг надо быть начеку  
 В этот день небывалого клева.

Мы сидим на Чиглинке с утра —  
 На рыбалке не ведаешь скуки.  
 Чебаков уже есть с полведра  
 Да еще три чудесные щуки!

От черемухи длинная тень  
 Свисла в тихую славную заводь.  
 Разбирает сонливость и лень:  
 Вот бы где побродить да поплавать!

Жарко. Китель отец расстегнул,  
 На лице загорелом улыбка.  
 Вот он удочку ловко рванул,  
 И взвилась красноперая рыбка.

Рядом в белом кадет-рыболов,  
 Мой приятель смешливый и храбрый,  
 Молча нижет своих чебаков  
 На ободранный прутик за жабры...

Полдень. Вкусно запахло ухой:  
 Вон разложен костер над оврагом.  
 Эх, беда: зацепилась лесой  
 За какую-то, видно, корягу!

Я тяну. Не дается никак.  
 Сколько силы потрачено даром.  
 Но спешит мне на помощь казак,  
 Закатав до колен шаровары.

Ну, довольно! Обедать пора.  
 Черви плотно в жестянках закрыты,  
 Лески смотаны. Что за жара! —  
 Человек от нее как избитый!

На лужайке постлали ковер,  
 Одеяло, две старые шали.  
 Голосов укоризненный хор:  
 «Что так долго? Уж ждали мы, ждали!»

Разлеглись и расселись кружком  
 Возле миски с душистой ухой.  
 Искры пляшут, трещат над костром.  
 Скатерть так и спит белизною.

Бакенбарды... усы... кителя...  
 Блузки дам увлекательно-ярки...  
 А на скатерти, глаз веселя,  
 Приютились графинчик и чарки...



Смех и говор звучат над рекой.  
Густо льется струя запеканки.  
И, надувшись, сидят с «мелюзгой»  
Двое важных кадет в коломянке.

Заклубились дымки папирос.  
Вьются мошки назойливым роем.  
И под редкую тенью берез  
Не уйти от палящего зноя.

Стихло все. Разбрелась детвора.  
Кто вздремнул, кто цветы собирает.  
А веселый денщик у костра  
Сапогом самовар раздувает!

### Темная печать

О нездешней думая отчизне,  
Все теплее любишь этот свет...  
Мысль о смерти — спутница по жизни  
С самых ранних помнящихся лет.

Времени приметив быстрокрылость,  
Я росла в предчувствиях утрат,  
Оттого так часто сердце билось  
На совсем, совсем недетский лад.

Никому нельзя было открыться,  
Да и как могла бы я сказать,  
Что на любящих спокойных лицах  
Темная мне видится печать!

По ночам к подушке крался ужас  
И грозил двуострым лезвием:  
Чем земное перерезать хуже —  
Вечностью или небытием?

И в глухом измучившем вопросе  
Зрела жизнь, превратностей полна.  
Не дала поздней ответа проседь,  
Как не даст в конце и седина...

Первое исчезло окруженье,  
Вихрями трагедий сметено,  
И уже совсем другие звенья  
Окружают среднее звено.

Смен не будет: то, что есть, навеки  
 К жизни приросло — не оторвешь!  
 Не текут к своим истокам реки...  
 Каждый год на прошлый не похож...

Все ясней, все резче превращенья  
 Тех же лиц... и страшно сознавать,  
 Что увижу вдруг в какой-то день я  
 На любимом темную печать!

Спутница! Ты поотстань немного,  
 Не шепчи мне про нездешний край  
 И на эту здешнюю дорогу  
 Предо мною тени не бросай!

1961

### Половодье

Луга и пашни под водой,  
 Кругом стена из перламутра,  
 Какая глушь, какой покой,  
 Какое пасмурное утро!

Неслышный грохот колеса,  
 И жизнь, проснувшаяся рано,  
 Как эти ближние леса,  
 Неясно брезжит за туманом.

Мой одинокий островок  
 В чужих разливах и болотах!  
 Давно истек заветный срок,  
 Но сердце ждет и ждет чего-то.

И в жизни, залитой совсем  
 Тяжелым буйством половодий,  
 Не истребленная ничем,  
 Растет уверенность в исходе —

Куда, зачем, в какую даль,  
 На испытание какое?  
 О, эта долгая печаль  
 Лугов и пашен под водою!

1941



## Прялка

Ни одна не сказала гадалка,  
 Что придет и такая пора,  
 И мне в руки достанется прялка  
 Вместо милого прежде пера.

Вот и снова бездомною стала!  
 Все случайно — и пища и кров.  
 Но полжизни бы я променяла  
 На живую сменяемость строф.

Суховато стучит моя прялка:  
 «Потрудись — заработаешь хлеб!»  
 Пусть живется ни шатко ни валко —  
 Дух в превратностях больше окреп.

Нить выходит все тоньше и глаже,  
 Все размеренней бег колеса.  
 Коротай свое время за пряжей,  
 Раз такая пришла полоса!

Надо молча сносить перемены,  
 Надо вжиться в любую беду!  
 И хотя сердце рвется из плена,  
 Я сижу и пряду... и пряду.

## Миф

Говорят, что я — это не я.  
 Говорят, что вовсе нет меня  
 Ни среди поэтов, ни в природе,  
 Имя же мое — случайный щит  
 Для кого-то, кто за ним таит  
 Нарастанье собственных мелодий!

Я при жизни превратилась в миф  
 Оттого, что долог мой отрыв  
 От других моих сестер и братьев.  
 Невидимкой годы прожила  
 И, должно быть, этим навлекла  
 На себя какое-то заклятье!

Что в ответ на вымысел скажу,  
 Мерно приближаясь к рубежу,  
 За которым должен скрыться каждый?  
 Все равно мой голос слишком тих,  
 Не услышат люди слов моих:  
 «Есмь — живу, еще пою и стражду!»

## Страна отцов

Разве можно забвенью предать  
 Эту даль, эту ширь, эту гладь,  
 Окаймленные лишь небесами,  
 Оттого, что туда нет пути,  
 Оттого, что душе доцвести  
 Суждено за чужими стенами?

Разве можно не видеть во сне,  
 Как бредешь по родной целине,  
 Ни косы не знававшей, ни плуга,  
 Где ковыль, что в былинах воспет,  
 Оковал с незапамятных лет  
 Тело степи блестящей кольчугой?

Часто даже средь белого дня  
 Вдруг почувдится топот коня,  
 Свист лихого, как ветер, намета,  
 Чья-то песня до слуха дойдет,  
 Чей-то облик в глазах промелькнет —  
 И взгрустнется, и станет работа.

Позабыв, что попало в тупик,  
 Сердце слышит, как шепчет тальник  
 Про иное житье по старинке,  
 Как в хрустальной озерной тиши,  
 Чуть дрожа, шелестят камыши  
 И, кручинясь, вздыхают кувшинки...

## На крыльце

Вот как в божьих хоромах затеплятся свечи  
 И на землю росой упадет благодать,  
 Хорошо отдохнуть от жары на крыльце  
 И чуть-чуть перед сном помечтать!

На плечах до сих пор ни беды, ни заботы!  
 Этот маленький мир так привычно знаком...  
 Всюду тяжело хрипят, закрываясь, ворота —  
 Домовитость на страже кругом.

словно сонные веки смыкаются ставни.  
 Глуше лай притомившихся за день собак.  
 Все следы суеты и работы недавней  
 Незаметно уходят во мрак.

Потухают и гаснут голоса ребятишек.  
У дверей хороводами кружатся сны.  
Серебром заблестели железные крыши  
По желанью хозяйки-луны.

Десять раз пономарь отсчитал для порядка.  
В закоулках сгустилась дрожащая мгла.  
Где-то горькой тоской захлебнулась трехрядка  
И на лад плясовой перешла...

Городок-островок брошен в море степное,  
Но порывы стихий не тревожат его!  
Ощущала ль тогда я свое коренное  
С той ушедшею жизнью родство?

1960

### **В чужих полях**

К неизбежной готовясь развязке,  
Ценишь все и вдвойне, и втройне.  
Убывающей солнечной ласке  
Сердце радо почти как весне.

Надо странствовать долгие годы,  
Много видеть и все испытать,  
Чтоб и самой неяркой природы  
Затаенную прелесть понять!

Может быть, что тем лучше, чем проще —  
Простота иногда глубока,  
И похожий на елочку хвощик  
Не презренней любого цветка!

Неказист полинялого цвета  
Торфяной кочковатый ковер —  
До чего не похоже все это  
На далекий ковыльный простор!

Много в жизни примет перелома,  
Но не странно ль, что годы прошли,  
А он тот же — простой и знакомый,  
Не иной на чужбине, чем дома,  
Примирающий запах земли!



---

Ольга ТАРЛЫКОВА

## ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МАРИИ ВОЛКОВОЙ

*И навек потерявши покой,  
За чужим очутившись порогом,  
Я кочую, кочую душой  
По родным недоступным дорогам...*

М. Волкова

Имя выдающейся поэтессы русского зарубежья Марии Волковой, ее творчество по сей день практически неизвестны. Между тем о М. В. Волковой в превосходной степени отзывался знаток художественной литературы генерал П. Н. Краснов\*. Ее стихи высоко ценили литераторы и общественные деятели русской эмиграции: Георгий Гребенщиков, Алексей Ачаир, Таисия Баженова, Борис Зайцев, Владислав Ходасевич и другие. В зарубежье вышли три книги ее стихов: «Песни Родине» (Харбин, 1936), «Стихи» (Париж, 1944), «Стихотворения» (Мюнхен, 1991). Она публиковалась во множестве русскоязычных сборников, газет и журналов: «Возрождение» (Париж), «Муза диаспоры» (Франкфурт-на-Майне), «Содружество» (Вашингтон), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Родимый край» (Париж), «Русская мысль» (Париж), «Современник» (Торонто), «Сибирский казак» (Харбин).

Первым рассеял мрак неведения вокруг ее имени журналист, представитель Союза Православных Граждан Казахстана в Санкт-Петербурге Максим Николаевич Ивлев, опубликовавший в 2002 г. в журнале «Простор» (Алматы) страницы воспоминаний Марии Волковой, датируемых 1980 г. Эти воспоминания писались для Владимира Андреевича Рудинского, журналиста, литературоведа и писателя, проживавшего во Франции и работавшего над предисловием к сборнику ее стихов.

---

\* П. Н. Краснов — генерал-лейтенант, атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией. С 1919 г. — в эмиграции в Германии, где активно участвовал в антибольшевистских организациях. В годы Второй мировой войны — пособник немецких фашистов. По приговору Верховного суда СССР в 1947 г. повешен. Автор популярного в 20-х гг. романа-эпопеи «От двуглавого орла к красному знамени», иных изданных в зарубежье романов, многочисленных повестей, рассказов и эссе, очерков и статей.



Оригиналы упомянутых воспоминаний, а также письма Марии Волковой М. Н. Ивлеву недавно любезно передал в наш Областной историко-краеведческий музей (Казахстан, г. Усть-Каменогорск).

Итак, что же на сегодняшний день нам известно о творческой и трагической личной судьбе поэтессы?

Много, много родная страна  
Мне открыла своих благолепий.  
Я иртышской водой крещена,  
Первый путь мой — сибирские степи...

Мария Вячеславовна Волкова — гласит запись в метрической книге усть-каменогорской Троицкой церкви — родилась 2 (15) октября 1902 г. в городке Усть-Каменогорске Семипалатинской области (теперь — Восточно-Казахстанской. — *О. Т.*) в семье сотника 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка Вячеслава Ивановича Волкова и его законной жены Анны Сергеевны [5].

Будущая певица казачьей доли могла гордиться своей родословной. Ее отец (1877 г. р.) принадлежал к роду, ведущему начало, по семейной легенде, от одного из казаков дружины Ермака. Он окончил Омский (Сибирский) кадетский корпус (1895) и московское 3-е военное Александровское училище (1897). В 1913 г. В. И. Волков успешно отучился в Офицерской кавалерийской школе. В истории сибирского



**Семья Волковых**

казачества Вячеслав Иванович известен как русский военачальник, генерал-майор, участник Первой мировой и герой Гражданской войн, кавалер ордена Св. Георгия IV ст., Георгиевского оружия и множества других наград. Мама Марии, Анна Сергеевна, родилась в Уральске в 1881 г. Она происходила из знатного старинного казачьего рода Толстовых: была дочерью генерала от кавалерии Сергея Евлампиевича Толстова, казака станицы Гурьевской, и Марии Павловны, в девичестве Сычуговой, — дочери войскового старшины Уральского войска.



Будущие родители Маруси познакомились в Семиречье, где отец Анны Сергеевны в 1895—1899 г. командовал Отдельной Западно-Сибирской казачьей бригадой. Как свидетельствует омский краевед, историк и писатель В. А. Шулдяков, именно дедушке Марии Волковой принадлежит идея защиты русской госграницы сплошной линией казачьих земель и создания нового, двенадцатого по счету, Тихоокеанского казачьего войска [11]. Во время Гражданской войны, после разгрома Уральской армии красными, С. Е. Толстов отказался покинуть Родину, в итоге был отправлен в концлагерь на Северной Двине, где его расстреляли. Мария Павловна Толстова умерла в 1921 г. в Баку.

П. Н. Краснов в книге «На рубеже Китая» (Париж, 1939), вспоминая боевых товарищей в бытность свою командиром 7-го Сибирского казачьего полка, писал: «...4-ю сотню при мне принял подъяесаул Вячеслав Иванович Волков. <...> Он был женат на уральской казачке. <...> У них была единственная дочь — Маруся. <...> Застал ее восьмилетней девочкой с густою темною косою и громадными пытливыми глазами. Кто мог подумать тогда, что в кабинете командира 4-й сотни, на тахте, в углу, наблюдая за нашим спором, лежит будущая незаурядная русская поэтесса, певица казачьей доблести, скорби и неизбывного горя?» [цит. по: 9, с. 1].

Маруся обожала отца, он представлялся ей «идеальным воплощением всего истинно русского». «Влиянию его на меня не было границ. Вера в Бога, любовь к родине и преданность казачеству — вот оставленное им духовное наследство. Никогда ни наказания, ни резкого слова — недовольно сдвинутых бровей было мне достаточно, чтобы понять сразу сделанную ошибку и в ней глубоко раскаяться». «Мама, — вспоминала Мария, — была не только ко всем доброжелательна, но и попросту добра, приветлива, сердечна, откровенна, способна на самопожертвование и как будто излучала тепло. Более преданной дочери мне за всю жизнь не пришлось встретить. Долгой разлуки с родителями она, живя уже своей семьей, переносить не могла и по меньшей мере раз в два года непременно отправлялась с Китайской границы в Петербург их навещать» [1, с. 111]. В Петербурге на Измайловском проспекте у семейства Толстовых было «родовое гнездо».

Самые счастливые воспоминания детства у Марии Волковой связаны с Джаркентом\*, Верным и тышканским лагерем — местами, где служил отец.

«Когда слышу слово “Джаркент” — невольно хочется улыбнуться хорошей, светлой улыбкой», — писала Мария Вячеславовна в эмиграции в мае 1933 г. в очерке «Старые места».

Одноэтажные саманные домики, широкие улицы, пирамидальные тополя, благоухающие акации, день и ночь журчащие арыки и мелодичное, «как колокольчики, кваканье лягушек по вечерам». «Джаркент

\* Джаркент (основан в 1882 г.; до 1942 г. — Яркент, в 1942—1991 гг. — Панфилов, с 1991 г. — Жаркент) — город в Казахстане, центр Панфиловского района Алматинской области.



был почти исключительно военным городом», где все друг друга знали. Он располагал к себе тишиной и каким-то удивительным спокойствием: «Нега особенная, восточная, разлита повсюду...» [3, с. 271].

Жизнь в Джаркенте протекала открыто. Каждое «семейное событие с молниеносной быстротой делалось достоянием всего города. Каждое общественное начинание сейчас же находило здесь живейший отклик и поддержку повсюду». А как коротали досуги! «В наше время уже трудно себе представить, чтобы можно было так искренно, так непосредственно веселиться... Если танцевали, то до упаду, если устраивали любительский спектакль, то отдавались сцене самозабвенно, находя постоянное одобрение и неподдельную признательность публики» [3, с. 272]. Вообще же, между «офицерами и казаками вовсе не было той пропасти, на которую впоследствии любили указывать те, кому это было выгодно. Офицерские дети сплошь и рядом вырастали на руках казаков-денщиков». А потому самые трогательные впечатления сохранила Мария о своих «усатых нянях» [3, с. 273].

А потом был Тышкан, как «продолжение и завершение Джаркента». С наступлением весны, обычно в день 15 мая, начиналось «великое переселение» из Джаркента в тышканский гарнизонный лагерь — на Тышканское плоскогорье, к подножию Алатау. И это был своего рода праздник.

Как и в Джаркенте, в Тышкане «жизнь кипела, как в муравейнике»: шли походным порядком части; на тройках, «в объемистых тарантасах, ехали семьи офицеров со всеми пожитками... Скрипели арбами татары и таранчинцы — бойкий торговый люд, кормившийся около “урусов”». В предгорье наскоро, «по большей части на походную ногу», раскидывался военный лагерь, устраивался быт: складывалась русская печь или плита, наспех сколачивался примитивный стол под простым деревянным навесом, оживали заброшенные солдатские бараки. А после: строевые учения солдат, залихватское пение казаков и пехоты, учебная стрельба, резкие крики команды, ржанье лошадей, звуки трубы под немолчный шум кристально чистой Тышканки. Дым от походных кухонь смешивался со сладкими запахами варенья из клубники и малины, что готовили «полковые дамы»; шумные детские забавы...

Жар земли ощущает рука.  
Я лежу за зеленой стеною.  
Надо мной в высоте облака,  
Волокнистая ткань их легка,  
Словно перья из крыл,  
Что, за солнце задев, обронил  
Ангел счастья в пути над землею...

По праздникам «кишмя кишело собрание», разносились «томные звуки вальса и веселое притопывание мазурки. И была бесконечная красота в этой гармонии: темные силуэты гор, бархатное небо, испещренное падающими звездами, и рыданье серебряного корнета, ведущего мелодию под глуховатый аккомпанемент всего хора...» [3, с. 281].



Отдых на реке. Вторая слева — Мария Волкова

В том же очерке «Старые места», написанном в Литве, вспоминала Мария Волкова и о днях своего пребывания в столице Семиреченской области — городе Верном (теперь — г. Алматы. — О. Т.). Не только светлые, но и трагические, связанные с землетрясением 1909 г., картины встают перед ней. «Воспоминание о нем и до сих пор свежо в моей памяти, несмотря на то что я была тогда семилетним ребенком...» [3, с. 282]. Первое, что запомнилось, — сильные руки отца, выхватившего дочь из постели, чтобы на нее не обрушилась печь, вблизи которой та спала. Далее Мария рассказывает, как металась в панике мать, порываясь выбежать на улицу «неодетую, как была». Как отец, со свойственным ему самообладанием, настояв на том, чтобы домашние тепло оделись, распорядился развести костры и «наметом помчался в сотню, чтобы узнать, как перенесли землетрясение его казаки». Вернулся он домой только утром следующего дня и рассказал, что в городе много несчастных случаев «и разрушения ужасны», что видел страшные развалины, «провалы без дна, через которые лошадь боялась перепрыгнуть», и взволнованно повторял: «Надо помочь, помочь немедленно». Затем он уехал с полковым доктором — организовывать помощь голодным и обездоленным. Следом за ним по его распоряжению отправились в город походные кухни и «из улицы в улицу, с утра до вечера в течение первых трех дней после несчастья, ездили, дымясь», нуждающихся подкармливали «жирными горячими щами с кашей и вкусным солдатским хлебом» [3, с. 283]. Так сибирские казаки первыми пришли на помощь пострадавшим верненцам.

В 1913 г. отец был вновь направлен в Верный со своей любимой 4-й сотней 1-го полка под командованием есаула И. В. Водопьянова.





Второе пребывание в верненском лагере было, как виделось Марии, особенно счастливым. Вместо неудобных бараков — красивые и благоустроенные дачи у самых гор Александровского хребта, утопавшие в зарослях яблонь, шиповника, терновника и калины. «Всем нам жилось тогда как-то особенно хорошо. Говорят, так всегда бывает перед большим несчастьем» [3, с. 285].

И оно не заставило себя долго ждать. «Великая война (имеется в виду Первая мировая. — О. Т.) катастрофически вторглась в жизнь страны и в жизнь каждого в отдельности. Наша семья была сплошь военная, потому из тревоги — общей и собственно за своих — мы не выходили». Вскоре В. И. Волков был назначен на Кавказский фронт, и Маша с матерью поехали в Тифлис попрощаться с отцом, а после отправились в Петроград к родителям Анны Сергеевны, где и прожили до 1917 г.

Анна Сергеевна, глубоко переживая разлуку с мужем и всеобщее горе, устроилась волонтеркой в лазарет для раненых. «Словно траур надела на себя до времени ставшая взрослою душа» Маруси, в это время учившейся в гимназии. В столь тревожное время девочке «как-то стыдно было чему-нибудь радоваться, думать о развлечениях, веселиться».

Отец героически сражался на Кавказском фронте, где «сразу же отличился: получил Георгиевский крест... затем Георгиевское оружие. Мы гордились им и дрожали за него...» [1, с. 111].

Отцу Марии полагался отпуск, «и тоска по родному краю пробудилась в нем безудержная». Родители уговорились встретиться в Кокчетаве\*, а оттуда всем вместе навеститься в Омск, после чего совершить «чудную поездку на пароходе по Иртышу».

Итак, в июне 1916 г. мать и дочь из Петрограда отправились в Кокчетав на встречу с отцом. Однако желанное свидание все отодвигалось и повидаться на короткое время им удалось лишь в конце августа. В том же очерке «Старые места» в главе «Кокчетав» Волкова вспоминает поездки казаков и детворы на рыбалку за семь верст от города. На телегах, груженных старыми одеялами и съестными припасами, они отправлялись на небольшую речку Чиглинку «с живописными берегами, поросшими тальником и черемухой» [3, с. 289].

Политическая обстановка в России между тем накалялась. «Следующий отрезок моей жизни, — писала Мария в воспоминаниях, — не поддается ни упрощению, ни сокращению: его до конца заполняет образ моего отца в его героической обреченности. О нем говорит история тех лет. Мне же остается тихо отойти в сторону...» [1, с. 112].

В 1917 г. В. И. Волков получил назначение возглавить 7-й Сибирский казачий полк, расквартированный в Кокчетаве. К этому времени жена и дочь через Украину и Тамбовскую губернию, пробыв некоторое время там, «с большими трудностями перебрались в Сибирь к отцу».

Далее был Омск, Иркутск, снова Омск и Петропавловск. В. И. Волков был одним из руководителей антибольшевистского военного

\* Кокчетав — город в северной части Казахстана.



подполья и контрреволюционного восстания мая-июня 1918 г., главным исполнителем колчаковского переворота в Омске и руководителем операции по ликвидации отряда П. Ф. Сухова на Алтае. Он был командующим Иркутским военным округом и командиром Сводного казачьего корпуса, воевавшего на Восточном фронте. В октябре 1918 г. «за выдающиеся боевые отличия» он был произведен Колчаком в чин генерал-майора.

В это тревожное и страшное время Мария Волкова выходит замуж. Александр-Гвидон Эмилиевич-Александрович Эйхельбергер — человек, ставший ей опорой на всю жизнь, — был соратником отца. «Образцового офицера», сына лютеранского пастора из Сувалькской губернии (Литва), полководец Волков назначил своим личным адъютантом. К тому времени Александр был уже подьесаулом и кавалером орденов Св. Станислава III ст. с мечами и бантом и Св. Анны III ст. с мечами и бантом.

По данным метрической записи, подьесаул Александр Александрович Эйхельбергер, двадцати семи лет, и дочь командующего войсками Иркутского военного округа Мария Волкова, шестнадцати лет, «обвенчались 27 (14) января 1919 г. в Михайло-Архангельской церкви города Иркутска, в том самом храме, в котором венчался А. В. Колчак» [10, с. 318].

Лидия Александровна Титова\* вспоминает: «Жили Маруся с Аликом на частной квартире, но комната была обставлена очень уютно их мебелью» [8, с. 18].

В марте 1919 г., по воспоминаниям Л. А. Титовой, В. И. Волкова назначили командиром Сводного казачьего корпуса, и Волковы из Иркутска переехали в Петропавловск, и уже вскоре, в конце мая 1919 г., после отправки корпуса на фронт, семьи офицеров в штабном эшелоне следовали по направлению к Уфе. Но в связи с отступлением эшелон в июле передислоцировали и «в это время случилось крушение» состава на станции Грбово — между станциями Михайловский Завод и Нижне-Сергинская. К счастью,



Эйхельбергеры Мария и Александр с сыном Аликом <1924—1925 гг.>

\* В девичестве Толстова; двоюродная сестра Марии Волковой.



«семья тети Нюси и дяди Вячи (родителей Марии. — О. Т.) уцелела...» [8, с. 19]. По данным В. А. Шульдякова, в результате той диверсии погибло 16 человек, 44 было ранено.

В конце июня 1919 г. В. И. Волков командовал конной группой Второй армии, передвигаясь вместе с линией фронта. Анна Сергеевна и Маша, несмотря на опасности прифронтовой полосы, следовали за ним. В планах В. И. Волкова, судя по выписанным удостоверениям от 26 августа 1919 г., было «заранее эвакуировать жену и дочь вместе с другими семьями офицеров и чиновников Конной группы в один из городов Сибирской магистрали, ...а еще лучше — в Харбин», — читаем в исследованиях В. А. Шульдякова [11, с. 6]. Однако по каким-то причинам этого не произошло. В результате с самого начала Великого сибирского ледяного похода\* семья Волковых следовала в обозе конной группы.

Л. А. Титова, также участница Ледяного похода, вспоминает, как казаки с семьями «на разных таратайках, плетеных шарабанах — не знаю даже, как их и назвать, — в одно дождливое холодное утро двинули в неизвестном для нас направлении. Как потом оказалось, на Восток, и на Запад мы уже ни разу не повернули, и так и ехали с конца августа 1919 года до 11 февраля 1920 года» [8, с. 19].

Бескрайние сибирские поля,  
Бескрайние сибирские равнины...  
Намокшая, продрогшая земля...  
Березки чахлые да голые осины...

Колеса, жалобно скрипя, уходят в грязь,  
Лошадки тащатся едва от утомленья.  
За ними вслед, нестройно разбредясь,  
Идут печальные, измученные тени... —

так поэтически обреченно рисует картину отступления белой армии Мария Волкова в стихотворении «Крестный путь» [2, с. 14].

Теснимые красными, остатки армии отступали на восток. Оторвавшийся от основных частей, небольшой отряд Волкова в 30—40 человек, включавший офицеров штаба, их вестовых казаков, около десяти человек женщин и детей, зимой 1920 г. продолжал свой неимоверно трудный поход через сибирскую тайгу.

В течение десяти дней они следовали по Транссибу в румынском эшелоне, бывшем в составе эвакуировавшегося Чехословацкого корпуса. Следуя на восток, им не единожды приходилось вступать в бой с преследовавшими отряд частями 5-й Красной армии. Готовясь к очередному бою, румыны порекомендовали отряду Волкова следовать дальше своим

\* Великий сибирский ледяной поход — принятое в белом движении название отступления Восточного фронта армии адмирала А. В. Колчака зимой 1920 г. В ходе операции в тяжелейших условиях сибирской зимы был совершен беспримерный по протяженности, почти 2000-километровый конно-пеший переход от Барнаула и Новониколаевска до Читы. Руководил походом главнокомандующий Восточным фронтом Генерального штаба генерал-лейтенант В. О. Каппель, назначенный на эту должность в середине декабря 1919 г. После его смерти 26 января 1920 г. командование войсками принял генерал С. Н. Войцеховский.

ходом, заверив, что впереди опасности нет. Тем самым они обрекли их на гибель. Небольшому обозу, значительно отстававшему от основных сил, угрозой были и иркутские большевики, и красные партизаны.

На пределе физических возможностей, четверо суток без единой ночевки, В. И. Волкову пришлось вести свой отряд по заснеженной тайге. «Говорить о постепенном умирании надежд, о горечи отступления в глубь Сибири и о роковом последнем дне даже и через 60 лет мне очень трудно», — писала Мария Волкова в изгнании [1, с. 113].

10 февраля 1920 г. в районе разъезда Китой, западнее Иркутска, обоз был окружен 15-м стрелковым полком Восточно-Сибирской советской армии.

Засада красных подпустила обоз на близкое расстояние и открыла огонь, а потом разоружила оставшихся в живых. Генерал Волков, «выдержанный, всегда владеющий собой человек», в котором всегда была «нравственная подтянутость и постоянная готовность к смотру Всевышнего», на глазах у дочери и жены предпочел пленению смерть. Анна Сергеевна просила разрешения проститься с мужем, но ей отказали.

«Когда я была моложе, — писала Волкова, — я утешалась мечтой увековечить то время, те события и людей, направлявших события, в живом и широком романе. Мне казалось, что данные для осуществления этого замысла тогда у меня были. Судьба не допустила этого... Те события давно заслонены другими — важными по-иному. Людей такого “калибра”... больше нет...» [1, с. 112].

Пленников, в их числе и семью Волковых, и младшую сестру Анны Сергеевны — Лидию Сергеевну Панкратову, ее мужа и детей, спустя два дня переправили в Иркутск и 14 февраля посадили в губернскую тюрьму. Л. А. Титова вспоминает: «Нас поместили в тюрьму, вещи все наши отобрали, сказав, что это военные трофеи, хотя была одежда, белье, нам ничего не дали, только одеяло стеганое... и 3 подушки, которые были в санях, где ехали дети. У мамы от всех переживаний сделалась нервная горячка...» [8, с. 19].

Седьмым заключенным в камере оказалась А. В. Тимирёва, возлюбленная Верховного правителя А. В. Колчака. «Она была в ужасном состоянии, — читаем в записях Л. А. Титовой, — и на каждый выстрел вскарабкивалась на железную печку, стараясь выглянуть в окно и увидеть, кого еще убили» [8, с. 19].

«В тюрьме мы пробыли недолго, — вспоминала Мария Вячеславовна. — Нас не ликвидировали, а выпустили по приказу председателя Сибревкома, ревизовавшего тюрьму, — товарища, видимо, принадлежавшего к вымирающему типу идеалистов» [1, с. 113].

В предместье Иркутска Анне Сергеевне удалось найти вросшую в землю крошечную избушку на Князе-Владимирской улице. «...Окна были над землей прямо, но все мы были счастливы, хотя из вещей нам, конечно, ничего не вернули...» [8, с. 20].

В этом убогом пристанище овдовевшие сестры\* и их дети вместе прожили недолго: в тюрьме Анна Сергеевна заразилась сыпным тифом. Она была слишком слаба и «измучена, чтобы перенести еще и это... Мамы не стало...», — пишет Мария Волкова. Скоро тифом переболели почти все. «Мы чувствовали себя как-то уже вне жизни — апатично ждали конца» [1, с. 113]. При этом Марии, полуголодной, еле державшейся на ногах, приходилось бороться за мужа — вызволять его из тюрьмы.

Участь главной опоры оставшихся в живых женщин и детей — Александра Эйхельбергера — была в руках, к счастью, хорошего следователя, «добродушного русского парня, которого впоследствии расстреляли за мягкое отношение к заключенным» [1, с. 113].

После освобождения мужа необходимо было срочно покинуть Иркутск, где еще недавно командующим военным округом был отец Марии. Александр окончил ускоренные курсы народных учителей, и осенью 1920 г. они укрылись в одном из бурятских улусов Забайкалья — в поселке Верхний Хамхар Нукутского района. А. Эйхельбергер «стал заведовать школой», за труды им «платили натурой», и Эйхельбергеры не голодали.

Изолированные от мира, «мы не знали о том, что на свете делается», — писала Волкова. Потом Эйхельбергеры завели хозяйство, купили лошадь и корову, что в скором будущем дало им возможность уехать «в Европейскую Россию». По воспоминаниям Л. А. Титовой, в феврале 1921 г. Мария родила первенца — дочь Асеньку. Время было тревожное, в лесах орудовали банды — «так называли отряды военных, оторвавшихся от основных частей. Кто они, кто ими командует и руководит — никто не знал, но буряты очень их боялись. Запирались накрепко и никого не пускали, особенно ночью. В сенях (и в школе тоже) были просверлены дырки, через которые было хорошо слышно разговор тех, кто стучится, и, если говорили по-русски, — никогда не открывали — так нас учили» [8, с. 23].

Узнав о том, что в Прибалтике возникли три республики и Сувальская губерния отошла к образовавшейся независимой Литве, Эйхельбергеры начали хлопоты о возвращении на родину мужа. Литовское представительство в Москве дало положительный ответ.

Зимой 1921 г. с десятимесячной дочерью на руках Эйхельбергеры тронулись в Москву, откуда должны были покинуть Россию. Сначала их путь лежал в город Михайлов, что в 180 верстах от Москвы, где в 1915—1917 гг. жили Панкратовы. Муж Лидии Сергеевны — Александр Петрович — был начальником гарнизона и комендантом города. Здесь у тети Марии осталось много вещей, мебели, ковров, которые они надеялись вернуть.

Во время пересадки из поезда Сибирской железной дороги на Рязано-Уральскую Асенька, надыхавшись холодного воздуха, простудилась. «Моя родина потребовала от нас еще одну жертву: наша девочка не пере-

\* А. П. Панкратов (1876—1920) умер в иркутской тюремной больнице.



несла зимнего путешествия в холодных вагонах, заболела воспалением легких и умерла...» [1, с. 113].

Беженцев приютили давние знакомые Панкратовых — чета Лебедевых. Они жили около Свято-Покровского женского монастыря на окраине Михайлова, на так называемой Черной горе. «И похоронили мы ее (Асеньку. — О. Т.) на этой самой “Черной горе” у алтаря церковного...» [8, с. 24].

Придя немного в себя после потери дочери, Александр отправился в Москву, в литовское посольство. Оказалось, что и деньги от его родителей, и документы на отъезд в Литву готовы. Несмотря на потрясения, пережитые Марией за два страшных года, и на то, что выезд Эйхельбергеров в Литву был, по сути, для них спасением, все же «как тяжело было покидать Родину навсегда!»

Итак, в феврале 1922 г. Мария и Александр Эйхельбергеры эмигрировали и «началась жизнь за рубежом»: в Литве, а потом в Германии.

Первым пристанищем беженцев был небольшой литовский городок Волковыск. К сожалению, в «Воспоминаниях» М. В. Волковой отсутствует вторая глава, где Мария Вячеславовна пишет о первых годах вне России. Остается лишь догадываться, чего стоило ей прижиться на чужой земле. В Литве в 1924 г. Мария родила сына Александра.

Но как бы трудно ей ни жилось, именно в Литве, а потом в Германии Мария Волкова написала, пожалуй, лучшие свои стихотворения и прозу. В Литве ею создан цикл «Песен сибирских казаков», который составили: «Степная сибирская» (на мотив «Рано утром весной...»), «Туркестанская» (на мотив «Словно море в час прибоя...»), «Прощальная» (на мотив «Поехал казак на чужбину далеку...»), «Кавказская» (на мотив «Алаверды»), «Западная окопная» (на мотив «Умер бродяга в больнице военной...»).

Прожив в Литве приблизительно десять лет, Эйхельбергеры переехали в Восточную Пруссию, в местечко Хейдебрух. «Не село, не деревня — просто три больших крестьянских хозяйства, каждое приблизительно в 60 гектаров и одно — всего лишь в двадцать. Все на один манер. Жилой дом с надворными постройками, садом, огородами...» — описывает Мария Вячеславовна свое новое место пребывания. Здесь им предстояло провести следующие десять лет.

Отец мужа, пастор Эйхельбергер, купил большой участок в 63 гектара с каменным домом, фруктовым садом и запущенным огородом, старыми коровами и лошадьми, — и во все это нужно было вложить немало труда. Обязанности распределили так: Александру досталось полевое хозяйство, его брату — молочное и денежное, Марии — домашнее и птица.

И потекли, полные забот, трудов и печалей, дни... Для дочери генерал-майора все было ново и тяжело. Притеснения свекрови, по сути, владелицы дома, иногда доводили ее до отчаяния, но Мария не сдавалась. Дело в доме она поставила «правильно и справедливо». Несмотря на нарекания свекрови, Мария заботилась о работниках, кормила их с хозяйского стола, чувствуя, что благополучие других зависело от нее.



Мария Волкова. 1928 г.

В Хейдебрухе у Эйхельбергеров в 1935 г. родилась дочь Ольга. Вопреки большому неудовольствию свекрови, Мария не взяла няньку, а воспитывала девочку сама и, несмотря на немецкое окружение, говорила с ней по-русски. Жизнь Марии была тяжелой: вставать приходилось в 5 часов, потом уборка дома, приготовление еды; уход за детьми, птицей, работа в огороде и саду — все лежало на ее хрупких плечах. «Но я была молода и, хотя с надтреснутым здоровьем, все же справлялась с несвойственной мне нагрузкой...» [1, с. 115].

А по ночам она находила время и для души, для стихов, хранящих ее родную речь и ее мысль.

Несмотря на «десятилетия прозябания на отшибе» [9, с. 5], Мария Волкова не прерывала связей с соотечественниками-эмигрантами, рассеянными по всему миру. Часто на помощь приходил старший друг, Пётр Николаевич Краснов, ее покровитель, бывший непосредственным командиром ее отца джаркентских времен и помнивший ее восьмилетней девочкой. «Благодаря П. Н. у меня всегда был обильный материал для чтения: каждую неделю неукоснительно я получала пачку русских газет! Это были “Возрождение” и “Последние Новости”, аккуратно сложенные и надписанные всегда одним и тем же знакомым, милым почерком. П. Н. знал обо мне все и не переставал оберегать меня от опасности в конце концов превратиться всего лишь в рабочую машину» [1, с. 115].

Казачья поэтесса старалась быть в курсе всех событий, случившихся в русском рассеянии. Так, в 1930 г. в парижском журнале «Родимый край»<sup>\*</sup> Мария Волкова откликается стихами на знаменательное событие, произошедшее в жизни казачества за рубежом. 6 сентября французский «Комитет пламени», с 1921 г. поддерживающий Неугасимый огонь на площади Звезды в Париже, предоставил внеочередное право зажечь пламя на Могиле Неизвестного солдата российским казакам.

Благодаря переписке с Красновым, с живущим в Париже известным русским писателем, журналистом, донским казаком Николаем Николаевичем Туроверовым, с харбинским поэтом Алексеем Ачаиrom, поэтессой Таисией Баженовой из Сан-Франциско и многими другими, Мария имела возможность быть в курсе того, что происходит в мире. «Я не чувствовала себя отсталой, могла в письмах свободно рассуждать о предметах, интересующих меня и моих заочных собеседников» [1, с. 115].

<sup>\*</sup> «Родимый край» — журнал, издававшийся Казачьим союзом под ред. Н. М. Мельникова. В 1929—1931 гг. вышло 36 номеров.



П. Н. Краснов же заочно ввел Волкову в парижский «Кружок казаков-литераторов»\*.

Уже в конце 20-х — начале 30-х гг. в эмигрантской казачьей периодике, в Харбине и Париже, стали появляться ее первые публикации. А в 1936 г. в Харбине при поддержке эмигрантов вышел первый сборник ее стихов «Песни Родине». Всю свою тоску и боль по утраченной родной земле и прежней жизни Мария Волкова выразила в «Посвящении».

...Пусть — ницета, пусть все кругом — не наше,  
Пусть коротка непрочной жизни нить, —  
Я пью безропотно мне посланную чашу,  
Благодаря за счастье РУССКОЙ быть!

И если не войду под сень Твою, Родная,  
Не устояв в болезни и в борьбе, —  
Умру, за то судьбу благословляя,  
Что петь могла Тебе и о Тебе!

Первый сборник стихов М. Волковой в казачьем зарубежье не прошел незамеченным. «...Стихи звучны и образны, прелестны своей простотой, без всяких модных кривляний. Прекрасная книга, то грустью щемящая до боли сердце, то радующая вас образностью воспоминаний и мощью казачьего духа», — отмечал в № 21 (1937 г.) журнала «Станица» (Париж) донской казак, писатель В. С. Крюков [цит. по: 9, с. 7].

В 1937 г. на литературном конкурсе, объявленном журналом «Станица», с поэмой «Ночная беседа» Волкова заняла первое место. А позднее, благодаря упомянутому «Кружку», в 1944 г. в Париже вышел ее сборник «Стихи».

Отрадным событием в духовной жизни Марии Вячеславовны была публикация ее стихов и очерка «Старые места» в юбилейном, посвященном 350-летию Сибирского войска, сборнике «Сибирский казак», изданном Войсковым представительством Сибирского казачьего войска под редакцией Е. П. Березовского. Этот «героическими усилиями» изданный сборник уникальных материалов по истории сибирского казачества вышел в 1934 г. в Харбине на собранные по крупицам деньги из Китая, США, Кореи, Франции, Литвы.

В 2009 г. «Сибирский казак», первая его часть, был переиздан в России, в городе Бийске, откуда наш музей получил его в подарок от редактора издательской программы Бийского отделения Демидовского фонда, редактора журнала «Бийский вестник» Виктора Васильевича Буланичева. Во вступительной статье к сборнику Войсковое представительство благодарит М. Волкову-Эйхельбергер за предоставленные ею из Литвы небольшие средства — «1 ам. дол.» — и за стихи, опубликованные во

\* «Кружок казаков-литераторов» учрежден сотрудниками журнала «Станица» (Париж) в 1937 г. с целью «поддержки и укрепления любви к родным краям и казачьему быту», собрания, хранения и публикации лучших литературных и исторических произведений казачьих авторов. Старшинами кружка были Н. Туроверов (поэзия) и П. Гусев (проза).



второй его части. В этом же предисловии написано: «Мы хотели дать нашим казакам, рассеянными ныне по всему свету, такую книгу, чтобы она будила образы прошлого, для нас дорогого безмерно; чтобы на любви к прошлому наши преемники создали лучшее будущее, дорожа тем, что было прекрасного и хорошего в прошлом» [7, с. 6].

О первом выпуске сборника хорошо отозвались казаки из Харбина, Парижа, Пекина. Ведь архив Войскового правительства «во время эвакуации» из Омска, как и войсковое имущество, типография, «дела Войсковой Управы и Войскового штаба» попали в руки красных. И эта сохраненная в очерках, написанных «по памяти», история сибирского казачества не могла не вызвать благодарности казаков и других представителей русской эмигрантской культуры.

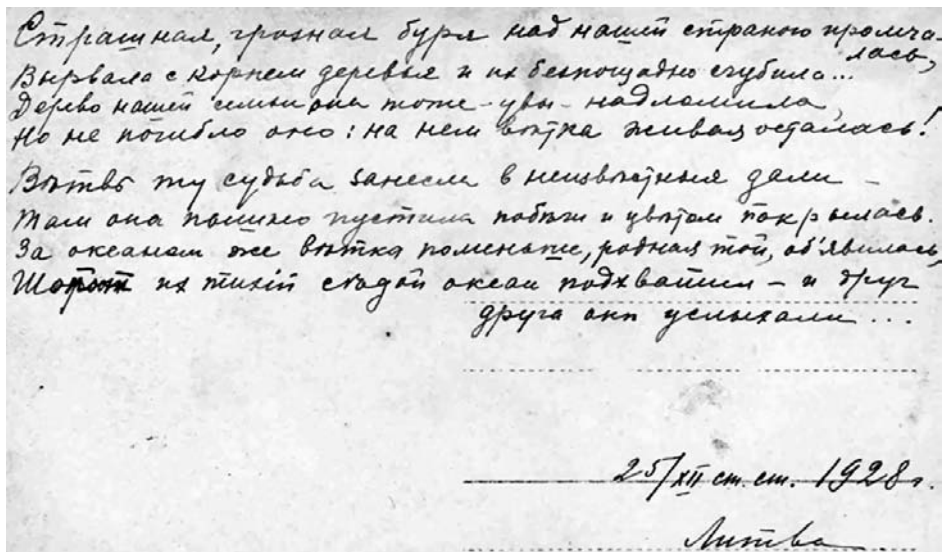
Восторженными были отзывы великого князя Бориса Владимировича, председателя Русского Обще-Воинского Союза Е. Миллера, атамана Семёнова, генерала Н. Головина, редактора «Белого Дела (Летописи Белой Борьбы)» А. фон Лампе, Н. К. Рериха. Мария Волкова в письме от 20 января 1935 г. Е. П. Березовскому также в превосходных выражениях отзывается о «Сибирском казаке». Она отмечает, среди прочего, «любобное отношение составителей Сборника к той задаче, которую они добровольно возложили на себя, то есть — поведать “земли русской минувшую судьбу”, напомнить забытое, описать неизвестное словом, собрать все, чтобы ничего не пропало. Честь им и слава за это!...» [7, с. 199—200].

В конце 1930-х гг. «Кружок казаков-литераторов» выпустил «Казачий Альманах». Владислав Ходасевич в «Возрождении» посвятил подробную, очень сочувственную статью этому казачьему изданию. Особо Ходасевич отметил напечатанное в нем стихотворение М. Волковой «Землепроходцы»: «... Тут столько уменя сказать все, что надо, что это приходится назвать уже настоящим мастерством». «На очередном собрании Кружка много говорили тогда об этой статье... и пили за мое здоровье», — признается Мария Вячеславовна [1, с. 116].

О лестном отзыве Ходасевича на стихи сибирячки Волковой не без иронии и высокомерия 1 марта 1939 г. М. В. Карамзина\* пишет И. А. Бунину: «...Вот стихи в “Казачьем альманахе” он... расхвалил без всякой кислой мины, особенно какую-то Марию Волкову, о ней прямо восторженно отозвался. Я бы хотела прочесть ее стихотворение, чтобы знать, что именно Ходасевичу нравится...» [6, с. 678], на что Иван Алексеевич с не меньшей издевкой 29 марта 1939 г. из Ниццы отвечает: «...Волкову не читал. Ходасевич всегда такой — чего моя нога хочет — вот захочу и превознесу, захочу — в порошок сотру или по плечу похлопаю» [6, с. 679].

\* Карамзина Мария Владимировна (1900—1942) — русская и эстонская поэтесса, прозаик, литературный критик, переводчик, автор книги «Ковчег». Эмигрировала в Чехию, затем в Эстонию. В 1941 г. сослана в Сибирь, в спецпоселок Волково Нарымского края. Умерла в лагере Нового Васюгана Томской обл.





Автограф стихотворения «Страшная, грозная буря над нашей страной промчалась...» 1928 г. Из семейного архива В. Г. Толстовой

К сожалению, тому, к чему стремилась Мария душой, — стихотворчеству она могла себя посвящать только урывками и по ночам. Моральная обстановка в доме мало располагала к поэзии и была порой невыносима: «О, эта жизнь — ни воля, ни тюрьма! / Поверь, я не случайно молчалива!» [4, с. 19]. Деспотизм свекрови и брата мужа, не выдававшего ей денег даже на марки, порой доходил до крайностей. «И в таком климате надо было жить — жить годами...» — пишет она в воспоминаниях. Александр ее всячески поддерживал и защищал, но скоро в беде оказался и сам.

По доносу гестапо арестовало и заключило в Дахау его второго брата, доктора, с которым Эйхельбергеры поддерживали хорошие отношения. Затем из прибалтийской республики репатриировали родителей Александра. Это было трагедией для старого доброго пастора, и расставание с прихожанами, которым он духовно служил 50 лет, стоило ему жизни.

В Германии окончательно утвердился национал-социализм. Происходили присоединения чужих территорий. Не миновала эта участь и Мемельскую область, где жили Эйхельбергеры. Муж вынужден был переменить литовское подданство на германское, подрастал Алик — «потенциальный солдат»! Скоро его призвали в Arbeitsdienst (на трудовую службу. — Ред.), а с началом войны мобилизовали в армию, где он потерял здоровье.

Рабочий персонал Эйхельбергеров тоже был призван в армию, и в хозяйстве им помогали теперь военнопленные, к которым у Марии было доброе отношение: она их хорошо кормила, лечила, тайком писала на родину письма, за что однажды, по доносу брата мужа, чуть было не угодила в тюрьму. К счастью, донос не сочли заслуживающим внимания и Марию Вячеславовну отпустили, а обидчика отправили «в заво-



еванный немцами Киев для надзора за днепровским речным транспортом» [1, с. 117].

В 1944 г., несмотря на сложную обстановку в мире, в Париже при финансировании Краснова, возглавлявшего тогда Главное управление казачьих войск при Министерстве по делам оккупированных восточных территорий, вышел следующий сборник М. Волковой «Стихи», которым она была крайне разочарована вследствие небрежной работы по изданию Н. Н. Туроверова. «Время для издания было выбрано неблагоприятное — всем было не до стихов!» [1, с. 118] Присланные ей личные экземпляры остались нерассланными и вскоре были преданы огню.

А несчастья продолжали сопутствовать Марии. Напряженная жизнь без отдыха, эмоциональное перенапряжение дали о себе знать: начали отниматься ноги. Правда, интенсивное лечение и отдых в больнице поддержали ее здоровье на «период особенных испытаний». Но беда не приходит одна... «Непоправимо-больного сына», большую часть времени проводившего в лазаретах, отправили на фронт, на верную гибель. И вновь Марию выручил Краснов. Он устроил Алика переводчиком при казачьем управлении, а с приближением советских войск к Берлину сын вместе с управлением эвакуировался в Северную Италию.

Фронт приближался, предстояла эвакуация за Неман. Краснов советовал уехать подальше от Восточной Пруссии, в безопасный уголок Австрии, где их ждали готовые помочь люди, но в средствах на эвакуацию было отказано. И все-таки нужно было покинуть Хейдебрух. Пять дней Мария Вячеславовна жгла книги, газеты, рукописи, тетради и письма. «Как это было страшно! — пишет она. — Господи! Какая это была боль! Не только душевная, но и явственная — в сердце... До тех пор я не имела представления об ужасе — предавать огню письма друзей... Они казались живыми — оживали в огне, и строчки перед тем, как сгореть, принимали вид напитанных кровью... С каждым письмом уходил кусок жизни...» [1, с. 118].

...Все то, что собирали мы, любя,  
 Все то, что сохраняли мы ревниво,  
 Все то, чем долго сердце было живо,  
 Отнять навек у самого себя!  
 Должно быть, утонченной пытки нет,  
 Той пытки, что не раз уже прошли мы:  
 Бросать в огонь единственный портрет,  
 Бросать в огонь дневник неповторимый...

Осень 1944-го и зиму 1945-го Эйхельбергеры провели в деревне Крафтсхаген, в Восточной Пруссии. Впереди ожидал последний, не менее тяжелый путь отступления. Нервы Марии Вячеславовны были расстроены до крайности. Снова скитания, ночевки в лесу и в случайных углах незнакомых деревень, голод, страдания, страх перед неизвестностью, опасность мобилизации в гитлеровскую армию мужа...

В письме к старинному заочному другу 19 октября 1944 г. Мария писала: «Теперь “волна событий” несет нас куда-то: вынесет на какой-нибудь голый откос или захлестнет навсегда...» [1, с. 119]. Нужно было обладать, по ее же словам, какой-то «особой, упорной живучестью духа», чтобы все это вынести... В том же письме другу читаем: «Уходя с тысячами чужих мне по крови и внутренне очень далеких людей куда-то в неизвестность, с душой, полной тревоги за тех, кого я люблю, — я не перестала жить своей собственной, глубоко запрятанной жизнью и думать о самых неподходящих вот к этой обстановке вещах! Боже, неужели нам никогда уже не увидеть хорошей, простой человеческой жизни, когда не будет больше пафоса уничтоженья, когда можно будет громко, на весь мир говорить людям простые и искренние слова — всех любить, всех жалеть? Неужели не будет того времени, когда можно будет избрать себе дело по сердцу и отдаться ему честно, искренне и горячо?..» [1, с. 119—120].

Оставаться Крафтсхагене семья посчитала невозможным, и, хотя опасность воздушных налетов в пути была высока, сидеть в ожидании участи не было сил. Эйхельбергеры — Александр, его мать и сестра, дочь Оля и Мария — тронулись в путь. «В составе длиннейшего обоза», необозримой вереницей передвигавшегося по бескрайней белой равнине, они шли на север к побережью Балтийского моря. По сути — второй Ледяной поход. Над головами кружили разведочные самолеты, опасность бомбежки подстерегала каждую минуту, и беженцам лишь оставалось надеяться на чудо.

Двенадцатого февраля Эйхельбергеры вышли к Балтийскому морю, к городу Браунсбергу. Отсюда им предстояло по льду Фриш-гафа «перекинуться в окрестности Данцига...» [1, с. 121].

В начале февраля выдались теплые солнечные дни, лед давал трещины. «Под толстым пластом уже не вполне благонадежного льда было море — только подумать!» Весь ночной путь, едва освещаемый фонарями, Александр выдержал стоя, «натянув вожжи и глядя все время вниз...» С рассветом началась бомбежка. «Во многих местах лед окрашивался кровью... А бесконечный обоз двигался и двигался дальше» [1, с. 121]. И так все тридцать километров...

Наконец показалась земля, но прибрежный лед был покрыт водой и пройти по нему было невозможно. Обоз вынужден был еще несколько часов ехать вдоль берега, пока не достигли местечка Кальберг\*. Дальше путь лежал через лес. По обеим сторонам дороги валялись брошенные вещи, домашняя утварь, на обочине — мертвый человек. Щадя десятилетнюю дочь, Мария пыталась заслонить от нее «все страшное», но Оля все видела. Миновали лес, крестьянские участки, где-то в домике, напоминавшем «картинки к сказкам Гримм», заночевали, а утром тронулись дальше.

И вот обоз в Померании, но поход продолжается...

\* Ныне — г. Крыница-Морска (Польша).

Неожиданно беженцев окружили советские танки. В этом местечке, где располагалась русская комендатура, им пришлось провести полтора года. «Комендант, спокойный, мирный человек, никого не преследовал, а мужа моего сразу же приставил к делу, сначала по хозяйственной части, а с весной назначил надзирать за полевыми работами — в совхозе», — пишет Волкова в воспоминаниях [1, с. 121]. Оторванные от мира, Эйхельбергеры вынуждены были жить «одним днем». Особенно тяготило отсутствие вестей о судьбе сына.

Весной 1945 г. Эйхельбергеры узнали о Потсдамском соглашении, предполагавшем репатриацию немцев. Стали прибывать поляки, желающие занять немецкие хозяйства, и люди вынуждены были выезжать в другие области Германии.

Взяв только то, что могли унести, «в кошмарных условиях» две недели Эйхельбергеры ждали поезда в сборном лагере Трептова. Здесь от бывших прихожан отца Александра они наконец услышали радостную весть о том, что их сын жив и находится в английском плену в Пирмонте. Потом открылось, что никакого лагеря и вовсе не было, а пленные были размещены в частных домах курорта. Радостным был и благоприятный исход репатриации: Эйхельбергеры попали в Западную Германию.

И вновь лагерь, завешенные одеялами чужие неуютные углы, жизнь впроголодь, недружелюбные взгляды местных немцев, пайки, карточки. Надо было начинать все сначала в местечке Хеммингштедт\* (Гольштиния), куда беженцы были распределены. Скоро вернулся сын, став к тому времени вполне свободным человеком. Семья воссоединилась. Они делились друг с другом пережитым, и тогда Мария узнала, что Алику выпала участь быть в «роковом Лиенце»\*\*. «Он успел вовремя скрыться и потому уцелел» [1, с. 123].

Есть долина такая в Тироле,  
А в долине той Драва река...  
Только вспомнишь — и дрогнешь от боли,  
Как от вскрывшего рану клинка!.. —

стихотворение «Долина смерти» звучит как реквием по казакам, погибшим в том роковом побоище.

Семейство Эйхельбергеров комиссия признала «безнадежно-безработными». Они кое-как перебивались, голодали, но скоро нашлись сочувствующие им люди, ставшие друзьями: жена беженца из Эстонии, временно возглавлявшего приход, Ильза Васильевна Фрей, и жена младшего пастора того же прихода. Они помогали продуктами, теплыми вещами, спасая тем самым семью Марии от гибели.

\* В другой транскрипции — Геммингштедт.

\*\* Лиенц — австрийский город, куда в мае 1945 г. съехалось более 40 000 казаков, воевавших против советского режима. В конце мая — начале июня 1945 г. английскими оккупационными войсками происходила выдача казачьих семей советским представителям Смерша и НКВД, закончившаяся массовым побоищем безоружных людей. Среди выданных были П. Н. Краснов, А. Г. Шкуро, С. Н. Краснов, М. К. Соломахин и др.

Ильза Фрей выросла в России, была русской по культуре, с подобной горестной судьбой. В эпистолярном наследии Марии Вячеславовны остались только письма единственно духовно близкого ей человека — Ильзы Фрей. Подруге в изгнании Мария посвятила стихотворения «Встреча» и «Венок», а также подарила рукописный сборник своих стихов, который Ильза бережно хранила.

Но вернемся в 1947 год... Осенью дочка Оля пошла в школу, но четырех кусочков хлеба в день для успешной учебы не хватало, нужно было найти работу. По совету Ильзы Васильевны Мария Вячеславовна научилась пряхсть. («Ни одна не сказала гадалка, / Что придет и такая пора, / И мне в руки достанется прялка / Вместо милого прежде пера...») Из-за того, что приходилось часами сидеть «в облаке пыли», у нее развилась хроническая болезнь глаз.

Пройдя через тяжелые испытания, Мария, казалось, навсегда утратила способность писать стихи. Большую помощь в этот непростой период ей оказывали сибирские казаки-литераторы, рассеянные по свету. Постепенно она возобновила переписку с оставшимися в живых членами не существующего уже «Кружка казаков-литераторов».

Объявился и кубанский атаман, генерал, донской казак В. Г. Наumenко, живший в Париже. В США он издавал журнал «Казак», где Мария Вячеславовна публиковала статьи, стихи и очерки под общим заглавием «Черты казачьего облика».

Постепенно, благодаря заочному общению с друзьями-литераторами, Мария вновь обрела радость стихотворчества. Н. Н. Туроверов пересылал ее стихи в газету «Русская мысль», издававшуюся с 1947 г. в Париже. Добрый ее друг Н. Н. Евсеев, живший в Германии, а потом в США, по воспоминаниям Марии Вячеславовны, «долго копил деньги», чтобы помочь ей в издании сборника стихов. Но поэтесса от выпуска книги отказалась, потому что принять такую жертву не могла.

Воодушевляли изгнанницу вести о том, что ее стихотворения имели резонанс. Из отдаленных уголков «рассеяния» приходили добрые письма от читателей. Писал и земляк — Г. Д. Гребенщиков из США. Он присылал ей фотографии процветавшей тогда Чураевки, русской деревни, организованной им в 75 милях от Нью-Йорка в штате Коннектикут. Роману Гребенщикова «Лобзание змия» — седьмому тому его эпопеи «Чураевы» — Мария Вячеславовна посвятила большой очерк «Седьмой том. Перечитывая “Чураевку”», напечатанный во французской газете «Русская жизнь».

Приходили к Волковой и радостные весточки из Сан-Франциско от соотечественницы Таисии Баженовой\*. Узнав о бедственном положении подруги, Таисия Анатольевна организовала ей помощь, и скоро Эйхельбергеры стали получать продовольственные посылки, поддержавшие их в тяжелый период.

\* Баженова Таисия Анатольевна (1899—1978) — поэтесса русского зарубежья, дочь казачьего полковника, мемуариста А. Д. Баженова. Родилась в г. Зайсане. Эмигрировала в 1920 г. в Харбин, затем в Сан-Франциско.



Жизнь в Германии постепенно улучшалась: отменили карточки, Алик, как инвалид по здоровью, получал государственное пособие, женился, поступил в университет в Марбурге. Как будто бы все налаживалось, но душу Марии, ее мысли не оставляла ностальгия:

Во сне порвется, громыхая,  
 Давно заржавевшая цепь...  
 И на свободе я узнаю  
 Мою покинутую степь.  
 Над нею небо в чистых звездах;  
 Мерцающая, манит Млечный Путь.  
 Живительный, бодрящий воздух  
 В последний раз вольется в грудь.  
 Невнятные, как в детстве, сказки  
 Зашепчут стебли ковыля.  
 И я прильну в последней ласке  
 К устам твоим, моя земля!

Вскоре семья Марии Волковой обрела достойное пристанище. Вслед за пастором Фреем и Ильзой Васильевной Эйхельбергеры перебрались с севера на юг Германии, в Баден-Вюртемберг, неподалеку от Баден-Бадена.

... Но вот пришла пора начать сначала  
 И в жизнь войти ступенька за ступенью,  
 С оглядкой, неуверенно, несмело,  
 Чтоб исподволь приноровиться к ней!

Как это трудно все-таки и странно  
 Привыкнуть к свету после преисподней,  
 К дарам освободившейся свободы  
 И просто к позабытой тишине!  
 Не верится, что можно невозбранно  
 Загадывать не только на сегодня,  
 А даже на недели и на годы,  
 Как и другим, обещанные мне...

Так значит — жить! — Не самосохранением,  
 Но чтобы распрямилось и окрепло  
 В широком безопасном поднебесье  
 Затравленное горем естество...

Но несчастья продолжали преследовать Марию Вячеславовну: свалившаяся на нее болезнь была как приговор. «По причине неосторожности местного врача» ей случайно удалось прочесть свой диагноз, который ничего хорошего не сулил. Финал недуга был один, но к нему вели «три варианта»: скорченность, слепота или паралич. Надо было обладать невероятной силой духа, чтобы не пожаловаться, не поделиться бедой с семьей: «Свою роковую осведомленность я должна оставить только для себя» [1, с. 129].





Семь лет Мария Вячеславовна находила в себе силы скрывать диагноз от родных. «Никто не знает, чего мне это стоило...» Но надо было держаться, не отравлять неизбежным жизнь другим. Особенно огорчало Марию то, что она постепенно стала вновь терять способность излагать свои мысли в письмах и стихотворных строках. Временами на нее находил какой-то «эпистолярный столбняк» и мысли не укладывались «в надлежащую форму». Несмотря ни на что, она продолжала печататься в «Русской мысли», благодаря чему регулярно получала газету и была в курсе литературных новинок.

Вскоре Мария Вячеславовна попытала счастье опубликоваться в тетрадях «Возрождения»\*, отправив туда стихи, потом «маленькую повесть из казачьего быта», — и попытки были удачными.

И тут — неожиданная и дикая новость! Из Парижа донеслась молва о том, что никакой поэтессы Волковой не существует, а за женским псевдонимом скрывается Николай Туроверов! Удивительно, что в этот слух в писательской среде поверили. Творцом его, по мнению М. Волковой, был секретарь редакции «Возрождения» Владимир Смоленский, друг Н. Туроверова. Сам же Туроверов — не хочется в это верить! — не опровергал слухов...

Бунтарский дух поэтессы не давал ей молчать: «Необходимо было доказать, что я существую и как индивидуум, и как поэт!» [1, с. 129] Вновь пришли на помощь верные друзья. Знавший ее с детства полковник Солнцев, бывший атаманом Сибирской казачьей станицы в Сиднее и имевший первую книжку ее стихов, подтвердил существование поэтессы Волковой. Заявление от станицы было размещено в «Русской мысли». Не стал молчать и Науменко, возмущенный лживыми сплетнями и выступивший на страницах той же газеты. Смоленскому ничего не оставалось, как письменно извиниться перед поэтессой, добавив к тому, что он сам был введен в заблуждение. Так всем миром друзья-казаки заступились за Волкову. Но это явилось для нее тяжелым разочарованием, ибо то «был *единственный* случай “черной измены” среди многих, многих заочных друзей».

Между тем Мария Вячеславовна продолжала жить с мыслью о финале зловещего диагноза и постепенно стала сомневаться в его правильности. За уточнением она обратилась к авторитетному неврологу Баден-Бадена. Тот пришел к выводу, что диагноз ошибочен и что ее плохое самочувствие связано с крайне расшатанной нервной системой. В результате он вынес ей другой, менее угрожающий вердикт.

А потом было неудачное замужество дочери, прогрессирующая болезнь сына, его постоянные мысли о смерти. От бесконечных волнений муж Марии не выдержал и слег. В это время и до конца дней они жили в деревне Оттерсвейер, недалеко от Баден-Бадена.

\* «Возрождение» — с 1925 по 1940 г. — русская эмигрантская газета, выходившая в Париже. С 1949 г., после перерыва, связанного с оккупацией, издается уже как журнал. В период с января 1949-го по декабрь 1960 г. журнал печатается под названием «Литературно-политические тетради», «Возрождение».



В 1972 г. Александр Александрович Эйхельбергер умер. После ухода мужа, а потом и близких друзей Мария крайне тяжело переживала одиночество. Слабела память, «на стихи как будто положен был запрет», наступала немоцность. Дочь звала ее к себе, но Мария, не желая никого тревожить, отказывалась. В чужих землях, «в своем ущемленном бытии», несмотря на угасающую память, она продолжала работать, готовя к изданию последний сборник стихов.

...Распрямись, крохи сил собери,  
 Принимая страданье как милость! —  
 Есть таинственный стержень внутри,  
 Чтоб душа твоя не надломилась!

Что это за «таинственный стержень»? Откуда такое терпение и мужество? Этот вопрос я задала племяннице поэтессы — В. Г. Толстой. «Все Толстовы... были военными... поэтому характеру и стойкости Марии Волковой и других женщин в семье удивляться не приходится, — это гены и строгое воспитание: не жесткое, а именно по-дворянски строгое. Убеждена в этом!» — ответила Вера Георгиевна.

А еще, думается мне, вера в Россию и надежда вернуться.

Мария Вячеславовна Волкова умерла 7 февраля 1983 г. в госпитале Оттерсвейера.

К сожалению, поэтесса при жизни не успела увидеть последний сборник своих стихов. Авторы вступительной статьи Э. Добрингер и Б. Штайн писали, что выход книги задерживался «из-за болезни поэта и тщательной, самокритичной правки рукописи» [4, с. 10]. Тщательной, самокритичной правки... Как это похоже на М. В. Волкову!

Итоговый сборник «Стихи» вышел через восемь лет после смерти казачьей поэтессы, в 1991 г., в Мюнхене, в издательстве «Петер Д. Штайн». Книга появилась «в своем первоначальном виде благодаря стараниям Ильзы Фрей» [4, с. 10], верной подруги, утешительницы последних лет изгнания. В сборник вошли 150 стихотворений, многие из которых публиковались в литературных сборниках, журналах и газетах за рубежом: «Русская мысль» (Париж), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Сибирский казак» (Харбин) и других.

Читаю-перечитываю книгу, и не покидает мысль: как могла Мария Вячеславовна Волкова, знавшая *безоблачную* Сибирь лишь в детстве, до 12 лет, впитать в себя столько любви и нежности к Сибири, к России? Почему она до конца дней чувствовала себя дочерью страны, которая, словно бы «поддавшись наваждению», от нее «сама же отреклась»?..

## КОВЫЛЬ

Под ногами вереск лиловый,  
 Сосны высятся прямо и строго, —  
 Даже в этой стране суровой  
 Красоты бесконечно много.

По верхушкам кружится ветер.  
Шуму леса привычно внемлю.  
Грустно, грустно тому на свете,  
Кто родную покинул землю.  
Сколько всюду великолепий  
Ты рассыпал, Господи Боже!  
Но мои далекие степи  
Мне навеки всего дороже.  
Ах, когда-то было иначе...  
Захлебнешься порой тоскою —  
Вот как вспомнишь простор казачий  
С серебристой ковыль-травой.  
Можно свыкнуться с каждой болью,  
Но одна свежа и поныне:  
Нет былого душе раздолья,  
Не растет ковыль на чужбине!



## Литература

1. Волкова М. В. Воспоминания. Предисловие, подготовка текста и комментарии М. Ивлева // «Простор». 2002. № 10.
2. Волкова М. В. Песни Родине. — Харбин, 1936.
3. Волкова М. В. Старые места // Сибирский казак. Выпуск второй. — Харбин, 1941.
4. Волкова М. В. Стихи. — Мюнхен: Петер Д. Штайн, 1991.
5. Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Ф. 7520. Оп. 6. Д. 12. Л. 22, об. 23.
6. Литературное наследство. Иван Бунин. Т. 84. Кн. 1. — М.: Наука, 1973.
7. Сибирский казак. Выпуск первый. Переиздание войскового юбилейного сборника Сибирского казачьего войска, изданного в Харбине в 1934 г. — Бийск: Издательский Дом «Бия»; Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2009.
8. Титова Л. А. Воспоминания. 1984—1987 гг. [Текст не опубликован. Семейный архив В. Г. Толстовой, Москва].
9. Хохульников К. Н. Живая летопись страдания... [Текст не опубликован. Семейный архив К. Н. Хохульникова, Ростов-на-Дону].
10. Шулдяков В. А. Гибель генерала В. И. Волкова и судьбы лиц из его ближайшего окружения // Сибирский исторический альманах. Т. 2. Сибирь на переломе эпох. Начало XX века. — Красноярск: Версо, 2011.
11. Шулдяков В. А. Сибирский период жизни казачьей поэтессы Марии Волковой // Казачество Сибири от Ермака до наших дней. История, язык, культура. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (28—29 октября 2010 г.). — Тюмень, 2010.

Анатолий БАЙБОРОДИН

## БАЙКИ ДЕДА БУХТИНА



*Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный — как связанный заяц.*

*Возвратим смеху его настоящее значение! Отнимем его у тех, которые обратили его в легкомысленное светское кощунство над всем, не разбирая ни хорошего, ни дурного!*

Николай Гоголь

Известно, без сказителя и балагура-баешника на рыбацьем и охотничьем промысле — живая погибель; без богатырской старины, без охотничьей, рыбацкй бывальщины и потешной байки заунывно в сумеречном зимовье, где промысловики, мрачно поглядывая друг на друга, неделями изнывают от грешной праздности в пору, когда дрожат и стонут в крещенскую стужу листовничные венцы с угрюмо торчащими из пазов бурыми куделями мха. Но благодаря затейливому, замысловатому сказу, благодаря назидательной, обличительной байке промысловые охотники и рыбаки, переживающие тяготы, надсады и губельные опасности, не озлоблялись друг против друга, не впадали в грешное унынье и отчаянье. Молитва спасала душу от погибели, от злых помыслов; а бывальщины и байки умудряли, совестили, тешили, яко веселое солнышко после затяжной тоскливой мороси, и разгоняли грешную унылость, яко вольный ветер скучный осенний туман.

Помнится, деревенский мужик поминал славного балагура-баешника: «В деревне дед жил, он поселенец был. Его брали на охоту, чтоб веселе было. Зимой же ночи долги. Вот он с охотниками по тайгам ходил. Ружья у него не было. Он с досточкой ходил. И вот сидят в зимовье вечером, мужики шкуры оснимают, куренги варят, а дед имям заливает: на досточку смотрит и быдто читат как по писаному. А сам-то неграмотный был. Споткнется нарочи, перевярнет дошшечку на другу сторону и дальше врет. У него свой пай был. Мужуки добудут там чо — ему пай».

Поведанная крестьянским, ремесленным говором, байка крученными-верченными, ветвистыми корнями тaitся в испоконном устном и старокнижном слове, будь то хитромудрые подписи к лубочным картинкам, потешно обличительные сказы супротив греховодников или записанные грамотеями базарные скоморошины.

В прошлом и позапрошлом веках редкий писатель не потешился байкой, вводя ее в повествование либо выделяя в самостоятельный сказ. И, бывало, в сем легком, баешном жанре рождались истинные шедевры русской словесности. К слову сказать, байка по плечу лишь *русским народным*, избранным писателям, нередко взросшим и заматеревшим в деревенском говоре, поскольку трудно без ощутимых языковых потерь перевести байку из устной речи в письменную, где не подсобишь слову затейливым жестом, голосовой игрой, хитромудрым прищуром или, наоборот, круглыми от нарочитого испуга, шальными глазами. «Русское слово в книге молчит, — скорбно вздыхал Борис Шергин, чародейно слившийся в сказах устную и книжную поэтическую речь. — Напоминают ли нам о цветущих лугах засушенные меж бумажных листов цветы?..»

Иным грамотеям-книгочеям деревенские байки не глянутся, — на всех не угодишь; иные косоротятся, словно хватили горсть кислой облепихи: мол, псевдуха — от духа псевдорусского; ну да на всякий роток не накинешь платок. Хотя, верно, и псевдухи в литературе выше крыши... Творя байку лишь на словесных соцветьях и созвучиях, переиначивая книжную речь на деревенский лад, далеко не убредишь, запалишься, осрамишься, ибо простонародный говор — не «чо» и «почо», народный говор — пословично-поговорочная, затейливая, украсная речь. К сему, дабы байку испечь в деревенском наречии, надо густо ее замесить на потешном, завиральном случае, не договаривая, абы читатель (в досельную пору — слушатель) самолично доспел, где и над чем смеяться, а потом вывел и мораль, и мудрость. Нынешний бойкий анекдот лишь народился на белый свет — в люльке и оброс сивой бородой; а байка... байка не дряхлеет, — мудрая и вечная, увеселяет русскую душу, пока жива русская душа. Потешные сказы и веселят, и умудряют, и совестят, а посему имеют право на жизнь в русской словесности наравне с эпохальными романами.

\* \* \*

Однажды вольный ветер заметнул меня в забайкальское село Ботало, где я гостил у деда Бухтина — сивогривого, сивобородого, похожего на дремучего лесовика, но еще ладного и крепкого. Шел по лесам и лугам июль-сенозарник: мужики сено запасали, в небе зарницы играли. Красное лето — зеленый покос... до солнца пройти три покоса, будешь ходить в сапогах, а не босо...

Но со святого Самсона-сеногноя\* задождило, заморосил гнилой дождь на свежую кошенину. По-доброму грести бы кошенину, копнить и метать в зароды... сено в куче, не страшна и туча... но разверзлись хляби небесные и старик, переживая за скошенную траву, сидья сидел на займке.

Дабы не томить душу печалью, дед Бухтин сплел три корзины под грибы-ягоды. Плел в ребячьем упоении, от усердия высовывая кончик языка. И чудилось, корзинки быстро и ладно росли из корневатых стариковых пальцев, как растут грузди из тепло дышащей сырой земли, распихивая шляпками прелые листья, хвою и мох. При этом старик заливал потешные байки — их еще зовут потрусками, домогами, бодягами и бухтинами. И все в стариковских бодягах вроде случалось на самом деле, с родными и знакомцами. А то вдруг на политику накинется, что зверовой пес на волка, и вывернет из заглавника политические байки. А что?! Не пень замшелый, газеточки почитывал, правителя

\* Сеногной — дождь, льющий на скошенную траву, отчего сено гниет.

бранил, американцев-британцев и прочих французов материал. Бывало, наденет круглые очки на резинке, и читает, и читает; а потом вдруг возьмет да, осерчавши, газетку и порвет. Метнет на лежанку русской печи: мол, согдится на растопку.

Житейские выюги выстудили из памяти, словно тепло из ветхой, щелястой избы, иные байки и бывальщины деда Бухтина, но избранные пали в память, и ныне я, не обессудьте, как смогу, так и выплету потешные сказы.

### Скупой покойник

Крещенские морозы о ту пору так лютовали, что боязно было и нос высунуть из избы — как бы не оставить его на морозе. И вот, паря, в голой степи помер один бурят. Но помер да помер. С кем, паря, не бывает. Дело житейско. Чабан был. Древний такой старик... На степном гурту\* жил. А в теплых кошарах\*\* укрывалась от стужи отара овец. А подле их и коровенки, и лошаденки.

Летом старик еще пас овец, а ближе к Сагалгану... праздник у бурят, Белый Месяц, паря, звать... дак вот, ближе к Сагалгану лег и помер. Дух испустил... А чабану тому, паря, еще при жизни поп ихний... лама по-бурятски... вычитал в сокровенной книге, чтобы сожгли старого бабая в тайге подальше от жилья. Вера у их такая, ага...

Короче, надо жечь дедушку. А кому, паря, жечь, ежели на гурту мужичьим духом и не пахнет?! Был мужик, и тот старик, да ишо и помер. А за баранами ходили бабы с ребятешками. Вот ума и не приложат, как упокоить старика, чтоб по ихней вере. Хоть воюшком вой...

Ладно... А тут ехал степью знакомый мужик... по-улишному Кузя Ловкач... ехал мужик, ехал да и завернул коня на бараний гурт. Думал, паря, брюхо чайком согреть, а коли подфартит, дак и бараниной разжиться.

Ладно, заехал, посадили чаевать. Бабы в голос ревут: дескать, бабай помер, жечь надо, мужиков нету, а самим страшно. Ага... А Кузя Ловкач возьми да и брякни:

— Мне вашего бабая спалить, что два пальца обмочить.

Старой чабанке не глянулась Кузина похабщина, а чо делать?! Надо жечь старика. Ладно, били по рукам, барана Кузе посулили, пьяной аракой мужика напоили — вроде русской водки, но из кислого молока. Послабже, паря, будет, но тоже ничо, пить можно.

Ладно, Кузя Ловкач выпил, закусил бараньим бухулером\*\*\* да и завалил старика в сани. Повез, паря. И вот, значит, едет тихонько степью, коня не понужат. Со стариком мало-мало балякат. Дивно уж от гурта отъехал. Степка кончилась, березовая грива пошла. Хмель выветрился, мороз, паря, стал пробирать, уши щипать. А у Кузи, не гляди, что Ловкач, шапчонка была старе поповой собаки. В ей деда и прадеда упокоили. В эдаком малахае тока из подворотни и выглядывать, заместо собаки брехать. А на люди казаться — народ смешить. Одно слово, худая шапчонка, наскрозь светится...

И тут Кузя Ловкач к старику-то пригляделся, к упокойному: мертвый бабай, а на ём бравый малахай, кому хочешь помахай. Дак соболя сплошные, чо

\* Гурт — степная усадьба бурятских чабанов.

\*\* Кошара — помещение для овец.

\*\*\* Бухулер — мясо, сваренное в бульоне большими кусками.

не махать... Тут Кузя и смекнул: «Грош мне цена и сажены ворота, ежели, паря, такой шапкой попущусь...» И бает упокойнику:

— И почо тебе, старому бабаю, шапка бравая?! Девок завлекать?.. Не-е, паря, тебе уже хама угэ\*, в чем гореть да к небушку лететь. В худой-то шапчонке оно и сподручнее. Примет тебя бурхан\*\*, посодит подле и скажет: мол, намаялся, дедка, всюю-то жись баран пас, в поте лица пропитание добывал, а и путней шапчонки не нажил. И примет тебя, паря, бурхан за милу душу. И грехи спишет, и Машка не сарапайся и Васька не чешись. От ить, язви тя в душу, кругом тебе выгода, дед. Короче, договорились: менямся шапками. Как ребятешки говорят, шух\*\*\* не глядя.

От ить чо удумал, хреста на ем нету... Ладно... Старик помалкиват, но головой киват: дескать, я, мол, согласный. Мне теперичи в чем гореть да к небушку лететь. А тебе, паря, для форсу сгодится: ты мужик ишо молодой, расхожий... Но коль старик ничо супротив не говорит, Кузя Ловкач евойный малахай на себя одеват, а своей шапчонкой старику плешь прикрыват. А шапчонка у Кузи обтерханная, древняя, деду к лицу...

Повеселел Кузя Ловкач в соболином малахае. Про ранешню жизнь со стариком судачит. Потом, паря, запел на радостях:

**Чудак покойник**  
**Помер во вторник,**  
**В среду хоронить,**  
**А он поехал боронить.**

Так, паря, с песнями и прикатил в лес. Натаскал гору сушняка и велит старику:

— Ну давай, бабай, в огонь полезай. Садись ловчее... Вот так, молодец, дедко...

Ладно, усадил старика да и запалил кострище. Потом, это, ишо и выпил на помин бабаевой души: ему на гурту, паря, плеснули пьяной аракушки. Выпил, закусил, достал кисет с махрой и завернул козью ножку. Дымит, на старика глядит, а тот, паря, горит. И вдруг!.. бабай-то как подскочит!.. да как бросится на Кузю Ловкача!.. А рукой-то, паря, рукой-то за малахаем тянется... Обмер Кузя, кинул бабаю евойный малахай, сиганул на сани да и погнал коня.

С перепугу-то лишь подле деревни у поскотины\*\*\*\* очнулся. И куда, паря, хмель подевался... Всю голову просвистело, скакал-то голоуший... Вот и вышло: и своей шапчонки лишился, и чужой не разжился. И бараном, что на гурту сулила, и тем попустился. Как говорится, на чужой каравай рот не разевай.

Грамотный мужик потом растолмачил Кузе Ловкачу:

— Это, дядя Кузя, у его жилы потянулись на огне, вот он и прыгнул...

Но Кузя Ловкач веры не дал тем словам.

— Не, — говорит, — это он, паря, малахай пожалел. Скупой бабай. Знатье бы, дак и хоронить бы не стал.

\* Хама угэ — все равно.

\*\* Бурхан — здесь: божество.

\*\*\* Шух — обмен.

\*\*\*\* Поскотина — изгородь, отделяющая деревенские пастбища от хлебных полей и сенокосных лугов.



## В селе Ботало коммерсант отелится

Было это... память щеляста, не соврать бы... было это при царе-косаре. Жил, паря, в селе лавочник, по-нонешнему будет коммерсант, — глаза завидушши, руки загребушши, и звали лавочника Хитрый Митрий. Он ить, паря, и Богу молился на варначий\* лад: «Господи, в чужу клеть впусти, помози нагрести да вынести...» Лавочник тот, паря, ежели седни никого не обманет, у его аппетит пропадат. А как он обманывал каждодневно, да по многу разов на дню, то у него был аппетит — не жевано летит. Дак вот и был он, паря, толстуший-здоровуший, аж бока заворачивались. Без чужой помочи в калитку не лезет, застреват. А пузочко, паря, растет да растет. Таскать чижало. Одно слово, коммерсант. Еле по деревне ноги волочит. Спотыкается, паря, как пьяный.

Но чо делать... Пошел к фершалу. Пришел, плачет, слезьми уливатися:

— Живот подпират, ходить задышливо. И жена в развод подала, несмотря на мое богатство. Така, паря, беда, така беда... Может, того... пилюли каки дадите, чтобы брюхо опало?

Покрутил фершал Хитрого Митрия и так и эдак. Помял брюхо, под хвост заглянул и бает по-ученому:

— Ташши-ко ты, Митрий, мочу. Поглядеть, паря, хочу.

И сует Митрию стеклянну баночку. А принимал фершал в некорыстной избушке — корова ляжет, хвост некуда протянуть. Ладно, паря... Завернул Хитрый Митрий за угол и полну склянку ташшит обратно. А фершал сревел няньку и ей — ту скляночку.

— Беги, девка. Ташши сестре на сверку. И чтоб мухой, паря. Одна нога там, друга здесь. Пускай поглядит, кака така зараза к мужику пристала.

Нянька та рысью через дорогу в соседню избу, где сестра с мелкоскопами сидела. А нянька, халда ишо та, заполошна, бежит, под ноги не глядит. Спотыкнулась, поскользнулась, шмяк оземь, скляночку-то всю и пролила. Всю, паря, как есть. За голову схватилась: вот горе-то, думат. Фершал шибко уросливый\*\* был. Но чо, думала-гадала... А тут, паря, корова бредет. Посередь улицы хвост и задрала, бесстыжая. Ну, нянька недолго думала, у той коровы анализ и взяла. Тоже была девка не промах... Полнехоньку скляночку, паря, сестре и принесла. Сестра гянула анализ через мелкоскоп, гумажечку черкнула. Нянька с той гумажечкой к фершалу. Почитал фершал гумажечку и манит Хитрого Митрия.

— Митрий Кириллыч, дело такое... — Даже, паря, и не знат, как молвить. — Ну, короче, ты, Митрий Кириллыч, ноне стельный\*\*\*. Вот-вот, паря, отелиться должен. Ага...

Коровенка-то, где няня анализ взяла, стельна ходила, теленка ждала.

Но чо, паря, Хитрый Митрий заперезживал: стыд, срам, — это же в кои веки видано, чтобы мужик телится? А как народ прознат... Засмеют же. Вся коммерция прахом пойдет. И порешил Хитрый Митрий из деревни бежать. От греха подальше. Умыслил в лесу отелиться, в лесу теленочка бросить. Да так, паря, чтоб ни одна душа не пронюхала. Ага...

Ладно, впотьмах, чтоб никто не видел, тихонько улизнул из села и, паря, как в песне, «бросился в лес... в лес, в тайгу глухую...».

И вот, паря, бродит по тайге. Бродит день, бродит другой, третий... Неделю. Ага... На одних ягодах пробивается. Тошшать начал. Но пока ишо не мычит,

\* Варнак — разбойник.

\*\* Уросливый — капризный, сердитый.

\*\*\* Стельная корова — корова, которая должна отелиться, принести теленочка.

не телится. Срок не приспел... И как-то под вечер бредет, паря, по тайге и видит — навстречу ему мертвяк лежит. Лежит, не дышит. Ага... Вроде как помер. Молчит, ничо не говорит.

Хитрый Митрий аж перекрестился:

— Господи, спаси... А на ем хороши сапоги.

И давай с мертвяка сапоги тягать. Мертвяк, паря, молчит. Ничо супротив не говорит. А бахилы не поддаются — припотели вроде. А как Хитрый Митрий был охочий до чужого добра, то и долго чикаться не стал: вынул из-за кушака топор да и отрубил сапоги с ногами. Не пропадать же добру... Сунул чужие ноги под мышку и дале побрел. А уж, паря, из силов выбился, еле ноги волочит. И свои, и которые с мертвяка взял. А уж так отошшал, так, паря, отошшал, кожа да кости да нос торчит. Ага...

Ладно... И вот на ночь глядя добрел до лесной заимки. Там, паря, лесник встречат, чаевать садит. Хитрый Митрий чайку пошвыркал да и залез на печку. Сморился. А сапоги с ногами... он их под полою прятал... в изголовье приладил. Ладно, спит-почиват.

А той ночью у лесника корова отелилась. Лесник телка принял и положил на печь подле Хитрого Митрия. Дальше, паря, ночуют.

Ладно... Еще петухи не голосили, просыпается Хитрый Митрий: екарный бабай, под боком телок полеживает. Мокренький ишо. И мордочкой-то в Митрия тыкается, вымя ищет... Но тут уж Хитрый Митрий возрадовался: дескать, вот и отелился... Тихонечко с печки слез — и ходу. Даже, паря, сапоги с ногами на радостях забыл. Ага...

Но в село идти, паря, боится — у лесника язык долгий, по всему белу свету растреплет. Разнесет, как сорока на хвосте: мол, Хитрый Митрий гостил на заимке и отелился. Решил лавочник за кордон\* махнуть, к бусурманам\*\* податься. Но чо, паря, пошел...

А лесник утром просыпается, глянул, паря, на печь и обомлел: телок-то ноги лижет, которы в сапогах... Лижет и лижет, вся морда красная.

— Мамочки родны! — Лесник-то страсть как испужался и ревет. — Мамочки родны!.. Телок-то наш Хитрого Митрия съел!.. Одне ноги остались...

Ладно, чо делать?! Лесник-то мужик был простой, бесхитростной, — пошел в деревню на телка заявлять. Дескать, такой-сякой и разэтакий, коммерсанта съел.

Пришел в село... Но, это, паря, уже друга история. Чайком отпочуешь, може, глядишь, и поведаю...

### **Деревенский бунт, или Как в селе Ботало отдули американцев**

Помню, паря... кажись, о девяносто третьем годе... была у нас гнедая кобылица. Не кобылица — зверь живая, ужась тихая. Сам ляд\*\*\* ей был сват. И звали ее пошто-то Демократка. Наш колхозный присидатель малость того... не в обсудку буде сказано. У его не все дома, к соседям ушли, — вот и дал кобыле срамную кличку. Тьфу!..

А страсти у нас, паря, вышли такие...

\* Кордон — граница.

\*\* Бусурмане — иностранцы, нехристи.

\*\*\* Ляд — бес.



Демократка наша вдруг в охоту вошла. Подай ей жеребца и не грехи. Оно, конечно, дело житейско, с кем не бывает. Да вот беда-бедушка: наши-то колхозные жеребцы обходили Демократку за версту. И не сказать, что никудышка, — краса и савраса. Да вот горе, со звоном в голове. Завьет хвост и гриву, заломит шею и носится по деревне будто очумелая. Ржет чо попало... Вроде как дури нанюхалась... С греха с ей пропали. Одно слово, непутявка. Выпряглась из дуги.

И порешили мы с бригадиром отвести Демократку в соседнее село к жеребцу Соколу. Авось, думаем, покроет, не побрезгует. Про его тамошний конюх баял: дескать, кого хошь огулят. Дескать, тому одна холера — демократка, партократка, лишь бы из годов не вышла, лишь бы мхом не заросла. Ядреной конек. Бегунец к тому же. На Егорьев день в колхозе конные бега — бегунцов со всей деревни выставляли. Дак его, паря, ишо никто не одолел. Сокол, одно слово.

Ладно, значит, решили мы к Соколу на поклон идтить: так, мол, и так, не побрезгуй, дорогой товарищ, покрой Демократку — колхозу приплод нужон... Горбачевские да ельцинские реформы свалились, паря, на наши головы бедовые... Вроде летела корова в небесах да прямо на наши грешные головы и... Вот и сидим теперича по уши в навозе. Как упали реформы, словно Мамай прошел, все хвостом смел. Забыли, паря, когда получку получали. Да... Но робим, надеемся: очухается власть... В колхозной казне ветер свищет, горючки ни грамма и техника старе поповой собаки. Ничо нету, один спирт. Шинкарки, что поганки, денно и ночью торгуют паленкой, катанкой... катка звать... хошь пей, хошь и за уши лей, хошь клопов травы — везде годится. Ой, паря, сколь народу с той катки перемерло!.. Могилки-то ноне поболе деревни.

Ладно... И решил колхоз по бедности снова переходить на конно-гужевую тягу. Трактористов послали учиться на водителей кобыл. А меня, паря, конюхом избрали всенародно, прямь как президента... Я же конево дело до тонкостей знаю — при конях вырос.

А ежели удумал колхоз на конно-гужевую тягу переходить, дак нужны же кони. А коней у нас, паря, раз-два и обчелся. Приплод нужен... Вот мы и решили для почину Демократку огулять, чтоб жеребеночек был.

Ладно... И уж наладилсь с бригадиром вести нашу Демократку к жеребцу Соколу — може, покроет, и ожеребится наша Демократка, жеребенка принесет; вот колхозу и конно-гужевая тяга. Все бы ладно, да присидатель пронюхал, вызвал на правление. И такой, паря, разгон дал, хоть голову завяжи да в омут бежи. Прямь как с цепи сорвался. Ревет... бык нелегчаный. В Америке гостил дак и привадился. В Америке, видно, все ревут как сумашедчии.

— Шта эта такая?! — Но, паря, президент вылитый. — Вы шта эта, порядков нонешних не знаете? Надо же перво-наперво нашему президенту отписать, чтобы тот, знашь-понимашь, с президентом США согласовал... Ох вы, рожки неумытые!.. — Тут присидатель скинул башмак и башмаком по столу забухал. — Ишь чо удумали, две чумы красно-коричневы!.. Как отпишет нам президент из США, так и будем Демократку крыть.

— Она же элитна, племенна... Демократка-то, — вякнул первый советник присидателя, ветеринар по фамилии Конский Врач По Женским Болезням. — У ей же порода!.. Ерусалимская казачья!..

— От едрит твою налево!.. — Присидатель даже матюгнулся. — Таковую породу чуть не сгубили.

— Мы восемьдесят лет породу выводили, — растолмачил Конский Врач. — Опять же, с помощью Америки, Европы. В девяносто третьем чуть не сгубили. Породу... Хорошо, мировое сообщество подсобило, а то пропали бы...

— Короче, — отрезал присидатель, — как США скажет, так и будем Демократку крыть.

— Там же кобыл-то по науке кроют, — поддакнул Конский Врач По Женским Болезням. — А в нашей стране... Страна дураков, чо с ее возьмешь.

— Ты... — бригадир опять загнул матом, — ты, коновал хренов, страну-то не трогай, а то жогну в лоб, и улетишь в Америку... Ты по делу говори.

— Ишь мы какие деловые, — усмехнулся Конский Врач.

— А вот этих вот ухмылочек не надо. — Бригадир зыркнул на Конского Врача побелевшими глазами, того аж пот прошиб.

— Ладно, скажу по делу... Покроет Демократку Сокол, и какое от него пойдет потомство?... Пьяницы да тунеядцы?... Охальные черносотенцы?... Знаком я с этим жеребцом, у его вся родова из белой конницы Буденного. Красно-коричневый, короче... Оно, конечно, господа конюхи, пастухи и скотники, вам решать. У нас теперичи свобода. А посему надо дозволение у Америки спросить. А уж потом кобылу крыть... Здесь же политикой запахло... — Тут правление учухало: от Конского Врача за версту пахнет гуманитарным спиртом, который нам из США послали безвозмездно... за пахотные земли под ихний ракетный полигон. — Так что, господа конюхи, пастухи и скотники, надо ждать указаний из Америки. Может, они пошлют демократического жеребца.

Ладно, послал присидатель грамотку аж в самую Москву. Он аж куда, паря! Так, мол, и так, принародно избранный, горячо любимый президент, во первых строках письма низко кланяемся за гуманитарный спирт. А посему в поддержке нашей даже и не сумлевайтесь. А во-вторых, надо срочно огулять кобылу Демократку. Водится у нас специалист по жеребцовой части — Сокол звать, но шибко уж старорежимный... А посему сумление нас гложет. Так что вы уж покумекайте с президентом США, как бы нам ловчее огулять кобылу Демократку, чтоб реформы взад не пошли.

Долго бродила колхозная грамотка. Демократка, паря, в труху поизвелась. Ладно... И вот, паря, с грехом пополам, а все же пришел рапорт от нашего дорогого американского руководства. Да... По-американски писано. Хорошо, колхозный сапожник — голован, по-всякому базлает, особенно ежели ноги зябнут и дерябнет. Сапожник и перевел дословно. И чо пишет ихний президент?! А то пишет:

«Шта эт вы удумали, сибирски катанки?! Вам что, овчины кислы, показать, где в Ираке зимуют?! Могу... Такого разгону дам, что вы у меня махом в Кувейте очутитесь. Дождетесь, я вам такую бурю в пустыне устрою, что вы у меня сербияночку запляшете. И Лазаря споете... Я вам покажу япону мать на Курилах. Я вам дам прикурить, сиволапые... Никаких Соколов... У ваших жеребцов ни кожи ни рожи. От ваших жеребцов пойдут пьяницы и тунеядцы, дураки и черносотенцы. Ваш жеребец Сокол — сталинист и монархист, чума красно-коричнева, сволочь белогвардейская. Ноне такой фокус не пройдет, кругом свобода и сплошная демократия. А посему не смейте своевольничать. Ишь, Сокол... Мы вам зараз с инспекцией — военные базы ваши проверять — пошлем и жеребца-демократа. Оне, демократы, кобыл крыть большие мастера. В Европе всех огуляли, теперичи до ваших добрались... Ждите нашего жереб-

ца — шибко породистый, Де Билл звать. Он вашу Демократку цивилизованно покроет. И все будет о'кей, оон и большая семерка...»

Прочитали мы, паря, указания нашего дорогого американского руководства и пригорюнились. А присидатель с перепугу пошел в речке штаны стирать. Да... А тут бригадир... мужик битый, его, паря, демократы на митинге били... вскочил да как заревел лихоматом:

— Да видел я эту Европу в... — Мы тут же и смекнули, где он Европу видел. — А эту Америку!.. Эту Америку видал в гробу!.. И в белых тапках!.. Им бы тока народ булгачить и страну зорить. Да Англия крутит-мутит...

— Шта-а?! — взревел и присидатель диким голосом. — Да как ты смеешь языком трепать, ботало коровье. У нас свобода слова!.. А посему, знашь-понимашь, не смей Америку ругать. И Англию... Они нас учат свободу любить, кормильцы наши...

— И поильцы... — добавил Конский Врач По Женским Болезням, он исподтишка опять принял заморского спирта.

— Вот откажут нам в гуманитарной помощи, дак завоем, — разорвался присидатель. — Третьего дня пришла, говорят, помощь из Америки — по аршину веревки на душу населения...

— И даже намылена, — подсказал Конский Врач. — У их же сервис. Мой брательник, Лева Бартер, будет менять гуманитарну помощь на шерсть и яйца. Так что сдавайте, мужики, у кого что есть.

Бригадир поскреб плешь и давай опять ругаться:

— Не знаю, как насчет... а шерсти у меня давно уж нету.

— Зато у нас есть светлое будущее кумунизма... — Присидатель аж сплюнул от досады. — Тьфу!.. капитализма.

— Веревки, конечно, сгодятся, — трезво рассудил Конский Врач. — Вот спирту бы ишо подбросили. Не хватат на операции. И закуску бы...

А бригадир, мужик дошлый, повертел грамотку нашего дорогого американского руководства и говорит:

— Все я, мужики, понял, хошь там и по-американски писано. Одно не разумею, как это ихний жеребец Де Билл нашу Демократку цивилизованно покроет?.. Я вот допрежь видел в кине... Тут к нам американскую картину привозили. На ферму, для быков-производителей. Но, паря, быки глядеть не стали — застеснялись. Срамотишща. Бегают в чем мать родила. Тьфу!.. Но я, покаюсь, грешным делом замест быков маленько поглядел. Попутал меня бома\*... Посмотрел я, паря, и вроде помоев нахлебался. Потом два дня плевался. Да... Видать, такая у их жизнь в Америке... Живут как нелюди и помрут как непокойники. И как ишо детей ростят, ума не приложу... Да в картине той, прости мя, Господи, всякое показано. А вот как цивилизованно, не показали. А может, того... может, ихний жеребец Де Билл с перекосом по жеребцовой части?.. Поговаривают, в ихней США сплошь и рядом мужики промеж себя живут. И бабы с бабами... При Сталине к стенке бы поставили. Да... Ох, как бы нам, господин присидатель и господин Конский Врач, с ихним жеребцом не вылететь в трубу. Опять же, Де Билл идет к нам в виде безвозмездной помощи... за сто гектар лугов под их ракетный полигон...

— Ты шта-а эта опять?! — снова заревел наш присидатель. — Знашь-понимашь, хочешь спортить наши сношения с Америкой?! От чума красно-ко-

\* Бома — черт.

ричнева, а!.. белогвардеец недобитый!.. коммуняка недоношенный!.. Тебе дали указания из США?.. Дали. Вот и сполняй, как велено, и неча мне демагогу разводиться.

— Хоша ты и присидатель, — бригадир-то ему в сердцах, — а калган у тя совсем не варит. Тока кепку и носить. Тебе и стыд, что дым, глаза не выест...

И дверью хлопнул. Да нашему присидателю хошь наплюй в глаза, все божья роса.

Ладно... но чо, паря, делать?.. Осерчали мы с бригадиром. А потом прикинули хвост к носу и смекнули: когда американский жеребец Де Билл дотащится до нашего сибирского колхозу, это сколь же воды учтет?! А колхозу приплод нужен... позарез.

И порешили мы с бригадиром темной ночью, когда еще черти в кулачки не били, пойтить супротив рекомендаций нашего дорогого американского руководства. Порешили отвести Демократку к жеребцу Соколу. Авось подсобит заради конского поголовья и гужевого транспорта.

Ладно, выбрали мы ночьку — темень, хошь глаз коли. Бригадир говорит, чтоб со спутника не углядели. А то шарахнут сдуру, как по бедному Ираку, дак, паря, и костей не соберешь.

Ну и вот, значит, идем. Приходим, паря, на конюшню, а та-ам!.. мамочки родны!.. слобода и сплошная демократия. Лихо смотреть. Меня аж затошнило... Ну, паря, чисто в Америку попали — бардак бардаком. Кобылица наша, как прослышала по сарафанному радиву, что из США к ней хахаль едет... Де Билл звать... дак вроде с печки упала. Рехнулась девка. Хвост кудрями завилла — девятимесячна завивка, а из гривы смастрячила такой начес, что мы с бригадиром чуть в обморок не упали. Ранешние старухи эдакие американские прически так звали: «Не одна я в поле кувыркалась» або «Я у мамы дурочка».

Ладно, завиллась, начесалась — семечки, это ишо ладно: на то и кобылица молодая, чтоб дурью маяться. Дак чо удумала, дикошара... Из холщовых кулей... в их комбикорм свиньям возили... шкеры замастрячила. Вроде лосины звать... Из лося ли чо ли?.. Ладно... А на круп, язви ее в душу, нашлепку прилепила: американский флаг — вроде полосатой матрасовки або лагерной пижамы. Да... А губы-то, паря, губы-то свеклой намалевала... прямо как эта... прости господи. Да курит ишо и жувачку изо рта не выпускает. Да такие пузыри надуват — поросенок... беженец из суверенного колхозу, при конюшне столовался... хохотал, хохотал, чуть со смеху не пропал. Едва отвадились. Да...

Ладно, стоит Демократка, крупом вихлят и орет, как сумашедчая. Видно, у их так поют, в ихней Америке... Базлат лихим матом:

**Я буду плакать и смеяться,  
 Когда усядусь в «мерседес»...  
 Американ бой, уеду с тобой!..**

А наш козел Борька... тоже дурак дураком... ей подыгриват: перевернул помойное ведро и наяриват копытом...

Бригадир, как увидал такой бедлам, аж весь остолбенел. Стоит, паря, как столб. Не может слова вымолвить... Ну кобыла, а! Нагляделась видиков. Образ жизни ведет...



Ладно... Бригадир очухался и говорит:

— Дура ты, дура!.. Пень пнем, хотя и тело нагуляла... Да ты же, мякинна твоя голова, эдаким крупом «мерседес» в лепешку раздавишь. И этого... дурака американского... и того раздавишь, как клопа. Оне же малахольны, эти самые американцы. А ты же у нас дева — о! В ворота не пролазишь. Да с твоими телесами токмо на завалинке сидеть. Орехи щелкать. А ты — «мерседе-ес»... А лучше, дева, пойдем к Соколу. Окрутим вас ладком и мирком. Почо тебе Де Билл амереканский?!

Чо тут началось, екарганэ! Демократка как заревет благим матом:

— Чума красно-коричнева!.. Не смей оскорблять Америку! Ноне свобода и сплошная демократия.

— Ах ты, курва с котелком! — Бригадир-то, паря, тоже осерчал. — Ты у меня, дика барыня, счас по-другому запоешь. Извадили тебя, талдычили: элитная, эли-итная... Совсем из дуги выпряглась... Я тебе такую чуму покажу, век будешь помнить.

— Не сме-ете, — заблеял козел Борька. — Права кобылы нарушаете. Я буду в Америку писать...

— Дак это ты ее, дуру, подучил? От обормот, а! Сам баламут и народ баламутишь. Права захотел?.. На, получай...

Подхватил бригадир совковую лопату и ка-ак дал Борьке по рогам, тот аж на задние копыта сел и глаза выпучил. А как очухался, опять заблеял:

— Права козылины нарушаш. Вот как в «нату» напишу да как пригонят «голубые каски» в ваш колхоз поганый, так от вашего колхозу одне пеньки останутся.

Взбеленился бригадир и опять схватился за совковую лопату. Тут бы козлу Борьке и хана, да успел, ноги в горсть и деру.

— А теперичи, милая, за тебя возьмусь, — посулился бригадир кобыле...

Долго чикаться не стал, ухватил ременные вожжи и давай охаживать. Учить уму-разуму. Учит да и ишо и приговариват:

— Толк-то есть, да не втолкан весь.

Вот и втолкал весь. Отбуцкал, дак с ее дурь-то махом слетела. Вместе с нашлепкой американской. Как шелковая стала. Куда с добром... Оно, конечно, попервости воем выла. А бригадир ишо и подразниват:

— Поплачь — дам калач, повой — дам другой.

Поревела-поревела да и утихомирилась. Деваться некуда. Взяли мы ее под уздцы и повели к жеребцу Соколу...

А ночка, паря, темна-темна, хоть мажь на сапоги заместо дегтя. И спутник американский низко так над колхозом спустился. Высматриват, змей летучий, чо в колонии творится. Видит, зашевелились, а чо удумали, разобрать, паря, не может. Да... Психует, лампами моргат. Того гляди перегорит ишо.

Бригадир спутнику американскому кулаком грозит:

— У-у-у, тарелка хренова!.. Дождешься, шайка банная. Вот бердану-то пощищу, картечью заряджу дак и сшибу тебя, керосинка лешева.

А мне-то говорит:

— Вот, паря, многим эти тарелки видятся... которы неопознанны американски, НЛО звать... А по мне дак с кашей бы тарелка опустилась. С гречневой... Или чо, у тарелок летающих кишка тонка, чтоб с кашей... с гречневой?..

Ладно, так с разговорами и пришли до Сокола. А он, паря, в конюшне похаживат, копытами постукиват. Из ноздрей дым валит, из-под хвоста головешки летят. Эдакий сивка-бурка, вещая каурка. От ить, паря, реформы свалились от нашего дорогого американского руководства — голод, холод; иные жеребцы копытья отбросили, а Соколу хошь бы хны.

Бригадир удивился:

— От ить соломоёй да свежим воздухом кормится, а гляди, паря, кака силишша в жеребце играт. Тут американскому Де Биллу делать некого. Кур топтать... Особливо французских... Лоньясь баба купила в сельпо французских кур. Соблазнилась — больно дешево, дешевше наших кур. А это, паря, чтоб наши птицефермы загубить... Ладно, принесла французских кур, глянул я: до чего же, паря, тошши!.. Истаскались, видно... Страх смотреть, краше в гроб кладут. Да... Но, паря, до чего форсисты!.. Губы накрашены, когти размалеваны... вроде Демократки нашей... Но чо делать?.. Баба ту курицу полдня варила, но я, паря, даже пробовать не стал: вроде не курица — блудница...

Ладно... Лишь заикнулись мы про Демократку, Сокол на дыбы: мол, я, паря, не знаю, с кем она ишо гуляла... Слыхал, демократка ишо та...

— Ты, паря, не переживай, — успокоил бригадир. — Она ить и демократка-то без году неделя. По дурости своей. Не успела развратиться... Да я ее маленько поучил... вожжами...

Короче, паря, огулялась Демократка. Ожеребится, будет приплод от Сокола вопреки нашему дорогому американскому руководству... И не пьяницы, не тунейдцы. Сокол — трудяга и в рот не берет... Придет времечко, будет у нас в колхозе и табун лошадей...

Ладно... Да, третеводни встречаю Демократку. Жеребятюк в речке купат. Паря, двумя ожеребилась. А я ее давненько не видал — на летнем пастбище жила.

Меня увидала, ржет:

— Здорово, дядя Ефим.

— Здорово, Демократка.

А та гривой машет:

— Обижашь, дядя Ефим... Я же, дядя, фамилию сменила. А то чо же, дали кличку срамну — Демократка. Как ишо Приватизацией не обозвали. С их бы стало... А пишушь я, дядя Ефим, ноне по отцу — Гнедуха. Да у меня и масть такая — гнедая...

— Вот оно и ладно, — отвечаю.

— И какая же я дура была набитая, — помянула старое. — Стыд и срам сказать, тошнее вспомнить. На придурка американского позарилась. А здесь такой Сокол без дела пропадал. Так что спасибочки вам. Вы мне с бригадиром теперь что отцы родные. Из такой беды выручили...

Вот такая, мужики, петрушка вышла. Детектива охальна... А этот жеребец американский — Де Билл звать — до нашего колхозу все ж таки добрался. Но, скажу я вам, мужики, против нашего Сокола — тьфу, соплей перешибешь. Вроде и на добрых харчах жил, а такой задохлик. Ветром качат. Не в коня, видно, овес.

Ну, прикатил к нам этот Де Билл. Сунули мы ему одну древнюю кобылицу — Роза Люксембург звать. Присидатель кличку дал ишо при социализме. А поменять забыли. Но мы ее просто, по-улишному, Розой кликали.



Она по конюшне идет, а я следом за ней песок подметаю — сыплется уже... Хотели мы эту Розу на шкуру сдать, а тут на тебе, сгодилась на старости лет. Окрутили мы ее с американцем, и все довольные.

Вот так, мужики, и живем, хлеб жуем, а ино и посаливам. Да-а, чуть не забыл... Когда открылось нашему руководству из Америки, что Демократка с Соколом сошлась, начал, паря, зреть скандал. Ихний президент нашего пужнул, тот и утух, посулился землю Америке продать. По дешевке, конечно... Коль заводы уж продали, пора и за землю браться. А потом дал разгону нашему присидателю и даже Конскому Врачу. Те перепужались и тут же подали в отставку. Укочевали в США. Они туда загодя своих баранов перегнали. Да не своих даже — колхозных... чтоб не с пустыми руками дереу дать.

Но бригадир наш грозился: дескать, вожжи в свои руки возьмем дак и за океаном их достанем. Покажем кузькину мать. Дескать, не таким фармазонам лен ломали и с этими, бог даст, совладаем. А я вот думаю: даст ли Бог?.. Не отвернулся ли? Но надежды не теряю. Без надежды уж не жизнь, одни дожитки.

### Сашка Ромашка

Жили в Ботало и русские, и буряты. Жили ладом. Иные переженились промеж себя и родили поболтов... крови поболтаны... и прозвали поболтов гуранами на манер таежных козлов. И жил у нас, паря, тракторист гуран — трудяга, каких ноне не сыщешь днем с огнем, а ночью с лучиной. И дородный такой, с черными, охальная смоль, густыми волосами и с лица чернее головешки... Поминаю его, паря, и диву даюсь: это пошто же ему дали такую улишну кличку — Сашка Ромашка? Он походил на ромашку, как его трактор на цвeток василек. Так его до старости и звали Сашка Ромашка. Ну, Ромашка да Ромашка... Хорошо хоть не Рюмашка. И такой в Ботало жил — Пашка Рюмашка.

А прозвище Ромашка прилепилось к Сашке в школьные годы. Учителка — нездешняя, беженка из Латвии, — шибко, паря, изнежена была. И вот как-то вызывает она родителей Сашки, а те летовали и зимовали в степи, баран пасли. Скричала она, значит, евоных родителей и говорит отцу:

— Надо вашему Саше почаще голову мыть — пахнет.

Отец Сашки посмотрел на учителку и говорит эдак со вздохом:

— Сашка не ромашка, Сашку нюхать не надо, Сашку учить надо.

Долетело и до ребячьих ушей про ту ромашку. Вот и прилепилось к Сашке чудное прозвище — Ромашка. Но, опять же сказать, характер у Сашки был как раз в ромашку — тихий, ласковый. А как у нас в деревне с керосином было туго, спать ложились засветло, много они с бабой завели ребятешек. Их так и звали — Ромашкины робяты.



## Диво

...В досельно время я, паря, охотился. Ага... Зверя промышлял. С ружья кормился. Всю тайгу излазил вдоль и поперек. Но, паря, шибко не люблю, когда байки заливают. Выпьют, наплетут сто верст до небес и все лесом. А сами живого зверя в глаза не видали. Один дак заливает: я, бает, охотился в позато лето, дюжину мерлушек\* добыл. Бабе на шубу. От трепло осиново, соврет и глазом не сморгнет... Оне же у нас не водятся, мерлушки-то... Оне же в Америке живут. Я по телевизеру видал...

А на охоте, паря, такое случается, что и без брехни диву даешься. Да... Вот у меня случай был... вроде о девяносто первом годе. Я о ту зиму соболя промышлял... И прикатили ко мне в зимовье из цирка... аж из московского. Ага... На вертолете, паря, прилетели. И прямо ко мне... Я же тут по Сибири, почитай, первейший охотник, с Доски почета не слажу.

Ладно, короче, ближе к ночи прилетают ко мне из московского цирка. Прямо в зимовье. Сидим, это, с комиком, чай швыркаем... А эти циркачи, паря, с ножом к горлу пристали: добудь им живого медведя и все... Десять тысяч посулили. Пять на бочку — задаток вроде. У их денег — как у дурака махорки.

Но и чо, паря, сомустился, клюнул на долгие рубли. Попутал меня леший... Ладно... А невзадолго перед тем надыбал я берлогу — кумушка легла. Медведица, в общем... Но и чо, паря, пошел будить... Беру жердину покрепше, лиственнишну, смолой смазал. Густо смазал-то... Ладно... Замастрячил снасть, пошел кумушку будить. А циркачи в деревню улетели, в заежке ждут с медведицей...

И вот, значит, пришел я к берлоге с Туманом, лайка зверовая. Ну, обмел куржак. Успела, кумушка, надышала, аж вся дыра-то... цело по-охотнически... снежным куржаком взялась. Ладно, паря, размел куржак, в цело-то жердину сую. Сую, сую, сую... Проснулась моя бравая да спросонь-то хлоп одной лапой по жердине — лапа и прилипла, хлоп другой — и другая лапа в смоле завязла.

А дальше, паря, дело привышное. Завалил жердину на плечо и повел Марью Иванну в село. Ежели медведь — Михаил Иваныч, то медведица же — Марья Иванна... Идет, дорогуша... как телка на поводу. А куда денешься?!

Ладно... И вот, паря, веду Марью Иванну, собаки уливаются. В деревне-то. Так и норовят Марью Иванну за пятки ухватить. Марья Иванна огрызается, а собаки пуще кружат и лают. Ага... Я собак-то шуганул и дальше топам. А тут сельповская лавка по дороге. Дай, думаю, заскочу, Марье Иванне гости-



\* Мерлушка — густой, с крупными завитками мех из шкуры ягненка.



нең возьму — конфеток або пряничков... Хошь и медведица, а тоже вроде баба звериная, до конфет охочая. Привязал Марью Ивановну к палисаднику, а сам скоком в магазин. А там, паря, давка. Народу полом, охальны бабы, тут ишо доярки с фермы набежали. Годом да родом средство от перхоти выбросили, а тут ишо и кариес без сахара....

Короче, ближе к ночи, бабы давятся, всем кариес охота. Без очереди не пушшают: дескать, в кои-то веки кариес выкинули... Опять же народ боится, как бы через задний ход не ушло по благу. Бают, спид забросили, весь по начальству разошелся. Кругом блат, паря... Ладно, занял очередь, стою... И то-око, паря, очередь подошла, слышу: екарный бабай, Марья Иванна ревет. Я ноги в горсть, вылетаю из лавки... Екарганэ, Марья Иванна с привязи сорвалась и вдоль по Питерской подула. Тока пятки засверкали. Но, смекаю, пропал мой калым, плакали мои денюжки горькими слезьми...

А чо вышло-то, мне потом растолмачили мужики... Постаивала Марья Иванна тихо-смирно, никому не мешала. А тут, как на грех, мужики на крыльчке сели, бутылку открыли и давай из горла понужать. А мужики, паря, нездешние, к главному охотоведу прилетели изюбрей стрелять... Начальство охальное: сам президент на пару с американским... Дебил Клином или Убил Клином, запамятовал, паря... А с имя ишо... как его?... дай бог памяти... Ворон или Хривой Ворон, леший его знат. И вот, паря, сидят они подле лавки, выпивают. Говорят, встреча без галстуков. Как ишо штаны не сняли, с их бы сталоь... Да ладно бы вино лакали принародно да помалкивали в тряпочку, а то ить шары бесстыжие залили и давай баланду травить. А у их слово да через слово мать-перемать, лаются как сапожники. А Марья Иванна шибко не любит, когда матерятся. Ладно... Терпела-терпела, да и терпелка вся вышла: сорвалась с привязи, дала президентам по плюхе да и пометелила в тайгу. Там хошь медведи не матерятся. Ага...

А мужики-то... мужики-то, паря, лежат ни живы ни мертвы и пахнут небраво. У их же медвежья болесь приключилась... А я гляжу, Марья Иванна улепетьват. Гляжу, паря, и думаю: «Ладно, беги, моя бравая, беги. А то пришлось бы, как дурочке, на лисапете кататься. Народ смешить. В цирке-то...»

А циркачи-то, паря, что задаток сунули, требуют деньги взад. А кого требовать, когда денюжки уже тью-тью, улетели?! Я на их пороху, дроби купил: вдруг придется тайгу оборонять? Партизанить... Оне же, американцы, зазря-то не будут шариться в тайге. Чо-то измыслили. Шарамыги\* ишо те... Може, тайгу удумали к рукам прибрать... под полигоны. А наш президент... полодырый же... все отдаст — не жалко. Не родно, дак не больно... Но пусть сунутся в тайгу, я, паря, их отпотчую: дробь-то всажу в стегно — век будут помнить...

### Медведь-ухажер

...А вот говорят: дескать, раньше мужики на медведя с рогатиной ходили. Без ружья... А я, паря, ухватом медведя взял... Да... По молодости, помню, прихожу домой, гляжу... мама родная!.. медведь с моей баушкой сидит. Выпиват и закусьват. Как порядошный... Телевизер глядят — вся-аку срамотишшу. А Михайло Иваныч ишо и песню базлат: дескать, трутся медведи задом о земную ось...

\* Шарамыги — здесь: воры, разбойники.





Ну, ладно, трись, хошь затрись, а пошто в моих тапках-то?! А я, паря, шибко не люблю, когда медведи в моих тапках... А возле печки ухват стоял, чугульки вынать. Ну, схватил я тот ухват — и на медведя. Поучил маленько, чтоб чужие тапки не одевал. Ежели ты к порядошной женщине идешь, дак и бери свои тапки. Тебе их там никто не припас...

Обиделся Михаил Иванович, стал в отместку всяки пакости творить: то поленицу дров раскатат, то на крышу залезет и шапку на трубу оденет: печку топишь, весь дым в избу. А тут на Крещенский сочельник дверь водой облил — дверь за ночь-то и примерзла. Я утром выйти не могу. А у меня в деревне как раз бизнес на-вернулся, бодучему козлу рога спилить... А я выйти не могу — дверь приморожена.

Бизнес мой прахом и пошел. Я, конешным делом, смикинул, чьи это проделки. Накатал «телегу» на медведя, милиция и загребла Михайло. Улицы подметал как миленький... Хошь и медведь.

### Любвеобильный глухарь

Третьеводни одно ботало коровье плел по телевизеру: дескать, красиво глядеть, как глухари токуют, как любовные песенки плетут. Ага, красиво... Хвост распушил, песню затянул — браво, а тут охотник — бах, и прощай, любовь... Вот и в жизни такая же петрушка: токо, это, вроде затокуешь, вроде глухаря, жена по башке скалкой, теца сковородником, тесть сосновой орясиной, какой ворота подпирают... Вот и потокуй...

А глухарь, когда поет, он же глухой, паря, глухарь глухарем, ничо не слышит. Но видит. Охотника высмотрит — укрывает, а на собаку, паря, и глазом не ведет. Хошь лай, хошь залайся. Ишо и дразнит, артист...

Случай был... Однажды по зиме махнули мы в тайгу с дружкой. Федя звать. И охотник он, и шишкойой, и ягожник, и черемшатник, и грибы собирать мастак. Помню, в Рождественский сочельник лютые морозы, а мы с Федей бродим в сосняке, рыжики ищем. Версты три отмахали по тайге, гляжу, Федя лапой в сумете\* порыл, рыжик выкопал, потом другой, да так мы с им корзину рыжиков и напластали. Ага... Мы же и рванули в тайгу рыжиков посмекать. Фединой женке страсть как рыжиков захотелось: хошь из-под земли выкопай и на стол выложи.

Ладно, идем по тайге, смотрим: мама родная!.. глухарь на сосне посиживает и токует что есть мочи. Прямо уливатся. От, думаю, бесстыдник-то, а... Тоже мне, ухарь-купец... Порядошные глухари по весне оттоковали, любовь справили, а этому все мало. А уж январь на пороге... И откуль здоровье берется?! Опять же, на свежем воздухе живет, ягодой кормится... Ладно... Послушались мы, послушали глухариную песню, но добыть же, паря, охота — дичь же...

\* Сумет — сугроб.





А как добыть, коли ружья нету?! За ружьишком надо в Ботало бежать... И тут я припомнил: глухари же, паря, любят собак дразнить. Хлебом не корми, дай подразнить.

Припомнил я это дело и говорю напарнику:

— Федя, выручай, побудь собакой.

А я дуну в деревню за ружьишком.

— Не хочу быть собакой, — заерепенился Федя. — Да и не умею, грамотешки мало...

— Ничо, не боги горшки обжигают, освоишь. Слушай: встал на карачки, ползи под лесину и лай. Лай, лай, пока не охрипнешь... Понял?.. Да погромше лай.

Согласился. Встал на четвереньки и давай лаять. Да так браво лает, похлещше собаки. Я ишо подумал: буду на охоту брать заместо собаки... А глухарь низко к Феде спустился. Думат: собака... Сидит на ветке и дразнит Федею, и дразнит...

Ладно... А я в деревню ходом. Пока туды-сюды слетал, напарник мой аж охрип, но мало-мало тявкат. А глухарь-то, глухарь-то, паря, не попустят, дразнит и дразнит. Думат: собака... Тут бы я и добыл глухаря, да Федя лаять перестал. Обезголосел напрочь... Глухарь-то пригляделся: но, паря, дак это же не собака, это же Федя!.. И улетел.

Улетел... Дак оно и ладно, что улетел. Жалко мне стало птицу... Вот я теперичи и не кормлюсь с ружья, больше на ягоды да на кедровый орех налягаю. За черемшой ишо бегаю. Жить-то надо, а жить-то не с кем...

## Росомаха-воровка

Я пошто не охочусь?.. Зверей жалко... Но, паря, росомах не жалею. Не, росомах не жалко. Така пакость!.. така пакость! Прости мя, Господи... Помню, мы с баушкой летовали на Байкале. А молодые были, тока поженились. Обвенчались круг ракитова куста...

И вот, значит, в избе ночевать душно. Ну, мы с баушкой в сенях и спали. Свежей травы постелим... красота... И вот спим себе, никому не мешам, да только чую: что-то темное через нас с баушкой пролетело! А у нас в сенях окошко слуховое, без рамы, без стекла. Вот оттуда и... Ну, пролетело да пролетело, мало ли чо по ночам летат.

Ладно... А в сенях стояла корзина с яйцами... Дак, это, я утром-то глянул: мама родная!.. Все яйца повыпиты. Тут и следы звериные, и кало. Ну, я же охотник — следы посмотрел, кало понюхал: ну, точно, она, подлюга, забралась... росомаха. Дак чо, холера, удумала: гвоздиком проткнет яйцо и выпьет. Так всю корзину за ночь и уговорила... Да... На другу ночь я опять поставил корзину с яйцами. Легли мы с баушкой, приставились, будто спим... Пришла, милая. И тока, это, росомаха за яйца-то взялась, начала их гвоздиком

протыкать да пить, тут я ее и прищучил... Да, паря... Хотел на мясо, да мясо у ей псиной пахнет... На цепь посадил. Похлешше собаки лаяла. Избушку караулила...

Но это уже, паря, друга история. Ежели отпотчнешь винцом с хлебцем, може, и поведаю.

### Наглый кабан

Не-е, я теперичи бросил охоту. Так, иногда, ежели какой зверь шибко досаждат, жить мешат... Но, помню, случай был... У меня избенка на Байкале. Подле самого леса. И вот, паря, кабаны дикие понавадились в огород. Тын разворошили и всю картошку повырыли. Как Мамай прошел... Я уж потом тын починил, а на тычины жестяные банки повесил, чтоб бренчали и пугали...



Потом кабаны и вовсе обнаглели, по крыше стали бегать — всю проломили. Хулиганье, варначье... Пришлось попужать ружьишкой. Ага... А в лес пойдешь по грибы — но, паря, все кругом изрыто кабанами. Все грибицы разорили...

А тут ко мне родня нагрязнула. Неделю гостили... А им же охота в лес сбегать, маслят пособирать. Охота, да кабанов бояться. А с имя девчушка была, отчаянная, кабаном не испужа-

ешь. Ну и пошла. Корзину обабков напластала. Пришла...

Спрашиваю:

— Кабанов-то видела?

— Видела, — говорит, — одного. Из-за дерева вышел и кричит: «Дэушка, иды ко мне!..» Ну, я его и отправила подальше, а сама домой пошла... А больше никого не видела.



## ИЗДАНО В СИБИРИ

### — Алтайский край —

**Буняева, В. С. Выше только небо: хроники алт. альпинизма / В. С. Буняева; [Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова]. — Барнаул: Алт. дом печати, 2015. — 190, [1] с., [8] л. цв. ил.: ил., портр. — (Победители краевого конкурса на издание литературных произведений). (Посвящается 50-летию Алтайской краевой федерации альпинизма).**

В Алтайском доме печати вышла в свет уникальная книга Валентины Буняевой «Выше только небо», посвященная 50-летию Алтайской краевой федерации альпинизма. Автор — член Союза журналистов России, инструктор по альпинизму, за ее плечами почти 20 лет инструкторского стажа в альпинистских лагерях, несколько десятков восхождений на горные вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Алтая.

Эта книга — дань памяти Николаю Михайловичу Бондарчуку. Мастер спорта СССР по альпинизму, опытный спортсмен, инструктор, прекрасный организатор, он возглавлял Алтайскую краевую федерацию альпинизма с начала 80-х гг. прошлого века и до последнего дня своей жизни. Успешно провел множество экспедиций, сборов, альпиниад на Алтае, Тянь-Шане, Юго-Западном

Памире. Большую любовь к горам Алтая Н. М. Бондарчук пронес через всю жизнь. В отдельных главах-очерках книги рассказывается о горных пиках, носящих имена Н. М. Бондарчука и В. С. Балыбердина. Владимир Сергеевич Балыбердин — наш земляк, первый из россиян, взойшедший на три самые высокие вершины мира — Эверест, Канченджангу, Чогори.

В книге подробно описываются горы Алтая, в частности район Белухи, находящейся в зоне повышенной сейсмической активности, где часты землетрясения. Обвалы и лавины постоянно меняют рельеф горы, мощное обледенение и суровый климат ставят Белуху в один ряд с труднодоступными памирскими гигантами. В. С. Буняева обращается и к истории покорения Белухи — от экспедиции братьев Троновых в 1914 г. до юбилейного 100-летнего восхождения в 2014 г. Также представлены материалы о заслуженных альпинистах Алтайского края и молодых спортсменах.

**Костырко, В. В. Старо-Глушинка: из истории / В. В. Костырко. — Бийск: Бия, 2015. Т. 1. — 466 с. Т. 2. — 480 с.**

В двухтомном издании представлена история деревни Старо-Глушинки Зарин-

ского района Алтайского края с момента образования в XVIII в. до 1958 г. Книга выполнена в жанре документальной исторической хроники. По словам автора, книга «будет интересна части населения, которая хочет знать о реальных событиях этого периода в истории страны, показанной через жизнь маленькой сибирской деревни».

Автором была проделана огромная работа по выявлению исторической информации, обработан большой массив документов из фондов Российского государственного архива древних актов, государственных и муниципальных архивов Алтайского края и Томской области, а также материалов периодической печати и воспоминаний. На основе документальных источников автор восстанавливает биографии жителей деревни — как старожилов, так и переселенцев.

В отличие от многих других публикаций по истории населенных пунктов, в книге, подготовленной В. В. Костырко, описываются не только события, происходившие в Старо-Глушинке, но затрагивается и история близлежащих сел Причумышья.

*Подготовила Эльвира Штанько,  
главный библиотекарь отдела краеведения  
Алтайской краевой универсальной научной  
библиотеки им. В. Я. Шишкова*

**Козлова, Л. М. Избранное: стихи / Л. М. Козлова; [Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова]. — Барнаул: Алт. дом печати, 2015. — 238, [1] с.: портр. — (Победители краевого конкурса на издание литературных произведений).**

Людмила Козлова — автор более тридцати книг стихов и прозы, ее поэзию отличает изобретательная звукопись, не-

стандартные образы, глубокое философское содержание.

Редактор сборника Анатолий Кирилин в предисловии отмечает: «Людмила работает с какой-то немислимой энергией и упорством. Она пишет рассказы, повести, не оставляет поэтическое творчество, публикация за публикацией, книга за книгой... Людмила Максимовна — человек с очень тонкой и чуткой душой, щедрый на чувства и на содействие в творческих делах собратьев».

**Пешков, А. В. Ночные журавли: роман, повесть, рассказ / А. В. Пешков; [вступ. ст. Л. Вигандт; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова]. — Барнаул: Алт. дом печати, 2015. — 291, [1] с.: портр. — (Победители краевого конкурса на издание литературных произведений).**

В книгу алтайского прозаика Александра Пешкова вошел новый роман «Ночные журавли», повесть «Зеленая юрта» и рассказ «Привал». В романе «Ночные журавли» автор сделал попытку исследовать детство, отрочество и юность человека, ориентируясь на лучшие традиции русской литературы.

Повесть «Зеленая юрта» — о современной жизни российской деревни. Не просто о быте, но бытии народа, о корнях и истоках его нравственной силы.

Книга адресована широкому кругу читателей.

*Подготовила Юлия Нифонтова,  
заведующая отделом литературных  
и издательских проектов Алтайской  
краевой универсальной научной  
библиотеки им. В. Я. Шишкова*

**Кублицкий, Г. И. Енисей, река сибирская / Г. И. Кублицкий. — Красноярск: Тренд, 2015. — 460, [3] с.**

Автор книги — Георгий Кублицкий, известный советский журналист, писатель, исследователь. Из-под его пера вышло более 40 книг, адресованных самой разной читательской аудитории. Многие из них написаны по результатам путешествий автора по Сибири, России, различным странам мира. Красноярцем по рождению, Георгий Кублицкий немало строк посвятил Сибири, родному Енисею, красноярскому Северу. Неслучайно одной из любимых книг нескольких поколений красноярцев является книга «Енисей, река сибирская». Впервые она была издана в 1949 г., переиздана в 1956 г. и спустя почти шестьдесят лет вновь выходит уже в XXI в. благодаря краевому грантовому конкурсу «Книжное Красноярье».

Вместе с автором читатель совершает захватывающее путешествие по великой сибирской реке от истока до устья, посещает города и селения, узнает о людях, судьбы которых были связаны с этим удивительным краем, восхищается красотой природы. Книга иллюстрирована, насыщена фактами и написана живым и ясным языком.

**Добрые дела, сложные судьбы: репрессированные деятели культуры и искусства в истории Красноярского края: сб. исслед. работ / [М-во культуры Краснояр. края, Краснояр. краев. молодеж. б-ка; авт.-сост. Г. Л. Рукша и др.]. — Красноярск: Класс плюс, 2014. — 359 с.**

Издание книги «Добрые дела, сложные судьбы» стало итогом масштабной поисково-исследовательской акции «Репрессированные деятели культуры и искусства в истории и культуре Красноярского края». Ее основной целью было изучение исторической роли деятелей культуры и искусства, пострадавших от политических репрессий в СССР, и их вклада в историческое и культурное развитие Красноярского края. Эта книга уникальна и по замыслу, и по воплощению. Она содержит десятки исследовательских работ школьников и студентов Красноярского края. В акции приняли участие более 300 человек, была собрана информация о 150 репрессированных деятелях культуры, включающая в себя архивные справки, воспоминания очевидцев и фотографии, сохранившиеся в семейных альбомах. Среди них такие известные имена, как актер театра и кино Георгий Жженов, художник Тойво Ряннель, переводчик и искусствовед Ариадна Эфрон, писатель и журналист Роберт Штильмарк, врач Владимир Крутовский, поэт Игорь Губерман.

В предисловии к книге председатель красноярского общества «Мемориал» А. Бабий написал: «Это были люди из другой жизни, и благодаря им многие узнавали, что эта другая жизнь вообще существует. В этой другой жизни есть творчество, есть музыка и стихи, там иначе говорят и думают. Это было открытием, изменившим многие судьбы. Нередко вокруг ссыльных образовывались музыкальные, драматические и художественные кружки. Создавались хоровые коллективы, ставились спектакли. Надо ли говорить, каким откровением было это для местных жителей, когда в сельском



клубе пела профессиональная оперная певица, когда задники в игарском драмтеатре расписывал потомок Бенуа, когда автор сценария фильмов “Веселые ребята” и “Волга-Волга” в Енисейске участвовал в подготовке спектаклей...»

Вся собранная информация стала основой электронной базы данных, которая представлена на сайте Красноярской краевой молодежной библиотеки.

**Енисейск на рубеже веков: фотоальбом / Правительство Краснояр. края, Служба по гос. охране объектов культ. наследия Краснояр. края, [Краснояр. краев. краевед. музей, Енисей. краевед. музей; сост. В. В. Черкашин]. — Красноярск: Сиб. промышлы, 2015. — 155 с.**

Енисейск занимает особое место среди русских городов. Основанный в 1619 г., он по праву считается «отцом» городов Восточной Сибири, именно отсюда уходили отряды первопроходцев и экспедиции под руководством известных путешественников. В истории возникновения Енисейска и его развития прослеживаются многие этапы становления Российского государства, укрепления его влияния и могущества на восточных рубежах. Дух того времени, устремления жителей до сих пор хранит архитектура города, его улицы, а также лица, запечатленные на старых фотографиях.

В фотоальбоме представлены снимки Енисейска, отразившие его историю от 1870-х гг. до середины XX в. Фотографии отобраны красноярским коллекционером и краеведом Владимиром Черкашиным из фондов Енисейского краеведческого музея им. А. И. Кытманова, Красноярского краевого краевед-

ческого музея. Многие из снимков ранее не публиковались. На страницах альбома представлено более сотни фотографий, открыток, чертежей, карт. Издание посвящено 400-летию Енисейска.

**Замышляев, В. И. На енисейских берегах. История культуры Красноярского края (1934—1991): монография / В. И. Замышляев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. М. Ф. Решетнева. — Красноярск: Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. М. Ф. Решетнева, 2015. — 192, [1] с.**

Монография посвящена истории культурного строительства на территории Красноярского края с момента его образования как самостоятельной административной единицы вплоть до 1991 г. Автор рассказывает о периодах индустриализации, коллективизации, культурной революции, «оттепели» и «развитого социализма» в культуре Красноярского края, о достижениях, взлетах и падениях в отрасли. В работе принята первая попытка систематизации истории красноярской культуры. Рассмотрены изменения в структуре управления культурой края, происходившие с 1934 по 1991 г., показаны этапы создания исторически значимой разветвленной инфраструктуры, материально-технической базы всех учреждений и организаций культуры, которые возникли в годы советского культурного строительства.

*Подготовила Ксения Похабова,  
заведующая сектором отдела  
краеведческой информации  
Государственной универсальной  
научной библиотеки  
Красноярского края*



**Васильев, И. А. Живая память: стихи / И. А. Васильев. — Новосибирск: Ред.-изд. центр «Светоч» правления Новосиб. обл. обществ. орг. «О-во книголюбов», 2015. — (Достойные имена. [Кн. 6]). — 52 с.: ил.**

«Россия — воинская держава. Так сложилась история нашей страны и судьба народа. Но никогда мы не вели войн захватнических, а лишь защищали свою Родину. Это, наверное, и сформировало в поколениях тот особый воинский дух, что всегда поднимал страну на бой и не давал опуститься на колени перед врагом», — пишет автор в предисловии к своей книге, выпущенной Новосибирской областной организацией «Общество книголюбов» в серии «Достойные имена». Стихи в книге «Живая память» — это лишь малая часть поэтического мира, созданного новосибирским историком и поэтом Игорем Васильевым. В миниатюрное издание вошли стихи о войне, подвиге солдат и Победе. Они учат истории, заставляют думать о вечных человеческих ценностях: о добре и зле, о чести, мужестве, справедливости.

**Иванов, В. В. Тайное тайных: рассказы и повести. Письма / В. В. Иванов; [сост. Вяч. Вс. Иванов, Е. А. Папкова]. — Новосибирск: Свинья и сыновья, 2015. — 398 с.: ил.**

В 2015 г. исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Всеволода Иванова, блестящего психолога и стилиста. В новый сборник вошла одна из его лучших книг, ставшая литературным памятником трагической эпохи войн и революций в истории России.

В книге отразилось разочарование в постреволюционной Советской России (особенно усилившееся в период нэпа), переход от политической ангажированности к пристальному вниманию к стихийно-иррациональному началу в человеке.

Книгу рассказов «Тайное тайных» сам Всеволод Иванов считал лучшим своим достижением в этом жанре. Сборник был издан в 1927 г., в том же году переиздан, а позднее был объявлен вредным и ошибочным и уже не переиздавался.

Впервые после 1927 г. рассказы, составившие книгу, печатаются по первому изданию, без поздних редакторских и цензурных искажений текста. Издание иллюстрировано редкими фотографиями.

**Сибирская книга: сб. материалов (по итогам Прогр. «Регион. фестиваля “Сиб. книга”»: комплекс социально значимых мероприятий, направл. на популяризацию книги и чтения в Новосиб. обл.) / Новосиб. библ. о-во; Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд. Рос. акад. наук; Новосиб. гос. обл. науч. б-ка; [сост. О. И. Плотникова, О. Н. Альшевская; ред. А. Н. Юмина; отв. за вып. С. А. Тарасова]. — Новосибирск, 2015. — 127 с.**

В 2015 г., объявленном по инициативе Президента Российской Федерации Годом литературы, в Новосибирской области был реализован крупномасштабный проект — «Региональный фестиваль “Сибирская книга”». Для воплощения проекта в жизнь объединились библиотеки Новосибирской области, журнал «Сибирские огни», издательский дом «Историческое наследие Сибири», Алтайская краевая научная библиотека им. В. Я. Шишкова и другие библиотеки,

издательства, литературные объединения и общественные организации. Итоговым мероприятием фестиваля стала V межрегиональная выставка-ярмарка «Сибирская книга», прошедшая с 1 по 3 сентября 2015 г. в ГПНТБ СО РАН.

Предлагаемый сборник выпущен по итогам реализации программы фестиваля, в него вошли статьи, анализирующие организацию мероприятий, наиболее интересные материалы экспертов программы — деятелей книжной культуры региона.

**Садыров, А. Ж. Сказание о поселщиках села Большое Кривоцеково: ист. сказание с арх. док. XVIII в. / А. Ж. Садыров; [ред. А. Б. Шалин]. — Новосибирск: Ред.-изд. центр «Новосибирск» НПО СП России, 2015. — 257, [2] с.**

В основу «Сказания...» положены события из жизни первых служилых, государевых крестьян, разночинцев, поселившихся на территории нынешнего города Новосибирска с 1700 г. Все представленные архивные документы публикуются впервые.

Книга новосибирского писателя, публициста и историографа издана при

поддержке Новосибирской городской общественной писательской организации Союза писателей России.

**Горшенин, А. В. Вечные рифмы любви: очерк твор. судьбы Нелли Закусиной / А. Горшенин. — Новосибирск: Ред.-изд. центр «Новосибирск» НПО СП России, 2015. — 206, [1] с.: [8] л. портр. — (Литературные имена Сибири).**

Этот критико-биографический очерк посвящен жизни и творчеству замечательной сибирской поэтессы Нелли Михайловны Закусиной, автора многих стихотворных книг, лауреата литературных премий имени Н. М. Гарина-Михайловского и В. Я. Зазубрина. Творчество ее многообразно: стихи для взрослых и детей, поэмы, поэтические переводы. Но широкой публике она больше известна как мастер лирической поэзии. Работ, посвященных ее творчеству, практически нет, этот пробел и пытается восполнить известный литературный критик, прозаик и публицист А. В. Горшенин.

*Подготовила **Нина Глушкова**,  
главный библиотекарь отдела  
краеведения Новосибирской государственной  
областной научной библиотеки*

## — Ханты-Мансийский автономный округ —

**Эринтур (Поющее озеро): окружной лит.-художеств. альм. Вып. 20 / гл. ред. Н. И. Коняев; Ханты-Мансийск. окружная обществ. орг. «Союз писателей России». — Тюмень: Тюмен. издат. дом, 2015. — 328 с.**

Настоящий выпуск литературного альманаха «Эринтур» является юбилей-

ным. 2015 год богат на события — это и Год литературы, и 85-летие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Но главным является юбилей Великой Победы. Именно этому событию в основном посвящены материалы писателей, журналистов, ветеранов, опубликованные в 20-м выпуске альманаха.

**Рябий, М. М. При свете ночника: размышления о публицистике и поэзии Дмитрия Мизгулина / М. М. Рябий. — Тюмень: Тюмен. издат. дом, 2015. — 164 с.**

Новая работа публициста и литературного критика Михаила Рябия, члена Союза писателей России, кандидата филологических наук, является своеобразным диалогом с автором книги «Ночник» Дмитрием Мизгулиным. Отталкиваясь от заметок и писательских наблюдений Дмитрия Мизгулина, автор размышляет над созвучными ему темами российской действительности, часто приглашая себе в помощники русских писателей.

**Енов, В. Е. Обские сказки: мифолог. сказки по мотивам хантыйск. фольклора / В. Е. Енов; ил. Л. А. Лар. — Екатеринбург: Урал. рабочий, 2015. — 128 с.: цв. ил.**

Настоящий сборник — третья книга мифологических сказок Владимира

Енова. Автор соблюдает фольклорные традиции своего народа — ханты, сохраняет архаические сюжеты, связанные с народной мифологией. Книга Владимира Енова поможет юному читателю окунуться в удивительный сказочный мир народа ханты, в котором постоянно идет борьба добра со злом.

**Луцкий, С. А. Избранная проза: в 3 т. / С. А. Луцкий. — Кемерово: Азия-принт, 2015.**

Трехтомник избранной прозы С. А. Луцкого стал не просто подарком округа к 70-летию писателя, но и подарком для читателей, которые вместе с автором будут искать философские принципы в привычных и незначимых вещах окружающего мира и примерять на себя странные одежды ускользающего Времени.

*Подготовила Татьяна Пуртова,  
главный библиограф отдела  
краеведческой литературы  
и библиографии Государственной  
библиотеки Югры*

## — Республика Хакасия —

**Жизнь, отданная науке: (к 75-летию со дня рождения и 55-летию научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности В.К.Савостьянова) / [сост. Л.П.Кравцова, Н. А. Рыбникова; предисл. В.К.Савостьянова]. — Абакан: [б. и.], 2016 (Тип. «Журналист»). — 99 с.: портр.**

Вадим Константинович Савостьянов — кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РФ, заслу-

женный деятель науки Республики Хакасия и Республики Тыва, заслуженный работник сельского хозяйства Монголии, действительный член Международного союза наук о почвах, академик Национальной академии наук Монголии, лауреат Государственной премии Республики Хакасия, кавалер ордена Почета.

Это известный ученый в области изучения и охраны почв засушливых территорий юга Средней Сибири, их комплексной мелиорации, борьбы с опустыниванием, рационального использования в сельско-

хозяйственном производстве. В издании, посвященном 55-летию юбилею деятельности В. К. Савостьянова, приведены основные даты его жизни и деятельности, дается список научных трудов и организованных им научных конференций, перечень книг, изданных под его редакцией.

**Кызласов, Л. Р. Ключевые вопросы истории хакасов: сб. ст. / Л. Р. Кызласов, И. Л. Кызласов; Респ. Совет старейшин хакас. народа; [отв. за вып. В. М. Торосов]. — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2016. — 134, [1] с. — (Да, мы оттуда — из глубин веков) (К XIII Съезду хакасского народа).**

Леонид Романович Кызласов — российский востоковед, исследователь истории Южной Сибири, Средней и Центральной Азии, археолог, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Ломоносовской премии I степени, лауреат Государственной премии Республики Хакасия им. Н. Ф. Катанова, заслуженный деятель науки Тувинской АССР и Республики Хакасия, заслуженный профессор Московского государственного университета.

Совет старейшин и Хакасское книжное издательство начали публикацию книг новой серии под названием «Да, мы оттуда — из глубин веков». В серии планируется рассказывать о наиболее интересных фактах и событиях, связанных с историей хакасского народа, о некоторых утраченных традициях и обычаях, о сакральных местах и объектах, о малоизвестных произведениях народного творчества (былинах, сказах, песнях, тахпахах, по-

говорках и т. п.), о мифических и загадочных явлениях, происходивших на земле Хакасии. В представленную книгу Совет старейшин собрал статьи профессора Л. Р. Кызласова, ставящие и разрешающие ключевые вопросы истории хакасов.

**Кызласов, А. С. Источники формирования лексического строя современного хакасского языка: монография / А. С. Кызласов; Гос. бюджет. науч.-исслед. учреждение Респ. Хакасия «Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории». — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2016. — 122, [1] с.: табл. — Часть текста на хакас. яз.**

Монография посвящена анализу формирования современного хакасского литературного языка. Автор исследования попытался выявить источники становления лексики. На основе общетюркских, межтюркских и диалектных слов, собственно хакасских лексем, иноязычных заимствований дается лексико-семантическая характеристика особенностей хакасского языка. Также рассматриваются проблемы адаптации иноязычных элементов в его лексическом фонде.

Работа предназначена для специалистов в области изучения хакасского языка, а также для тех, кто интересуется вопросами формирования лексики тюркских языков.

*Подготовила Светлана Ходякова,  
заведующая отделом государственной  
библиографии Государственного  
бюджетного учреждения культуры  
Республики Хакасия «Национальная  
библиотека им. Н. Г. Доможакова»*

Юлия ФЕДОРИЦЕВА

## ХУДОЖНИК ДВУХ ДОРОГ

Имя Эдуарда Семёновича Гороховского (1929—2004) — выдающегося мастера, объехавшего практически весь земной шар, выставившегося в Германии, Швейцарии, Франции, Австралии, Америке и без малого двадцать лет жизни отдавшего Новосибирску, — связывается в сознании искушенных ценителей преимущественно со зрелым этапом его творчества, то есть с поисками в области концептуализма, принесшими автору мировую известность и породившими целую волну исследований и интерпретаций. Качественно иной виток судьбы начался для Э. С. Гороховского в Москве, куда художник переехал из Новосибирска в начале 70-х годов. К тому времени он был уже членом Союза художников СССР и имел за плечами (помимо шести лет обучения на архитектурном отделении Одесского инженерно-строительного института) солидный стаж графика, иллюстратора и монументалиста, участника областных и зональных выставок, а кроме того — опыт не всегда простой, но крайне деятельной жизни в суровой сибирской столице, с которой художника, по его собственному признанию, до конца дней связывали и оставшиеся после новосибирского периода работы, и многочисленные воспоминания, и друзья.

Но будущее художника Гороховского принадлежало концептуализму — неформальному и даже полулегальному

для тех лет искусству, ломающему привычные представления о выражении и смысловом наполнении, о диалоге автора и зрителя. Вместо эмоционального воздействия, призыва к сопереживанию концептуалистское произведение предлагало своего рода интеллектуальный поединок, свободный поиск трактовок, конфликт между ожидаемым и данным. Знакомство с принципиально новыми формами художественных решений произвело на Гороховского сильнейшее впечатление. Немалую роль сыграло и его сближение с «группой Сретенского бульвара» — художниками-авангардистами Эриком Булатовым, Ильёй Кабаковым, Эдуардом Штейнбергом, Виктором Пивоваровым, Владимиром Янкилевским. Ступив на новый путь, Э. С. Гороховский довольно скоро занял собственную нишу, избрав для художественного осмысления действительности направление photo-based art (дословно: «искусство, строящееся на основе фотоизображения»), в котором стал фактически первопроходцем и которому оставался верен на протяжении многих лет.

Следует заметить, что, выступая, подобно своим коллегам, идейным оппонентом соцарта, Гороховский не стремился добиться отклика с помощью крамолы, ерничества и скандального разоблачения отживших реалий. Большею частью его эксперименты со старыми выцветшими

снимками, проверка их жизнеспособности, сочетание (вернее, столкновение) их с живым воздействием кисти в плоскости картины носили скорее философский, чем актуально-сиюминутный характер, несмотря на то что сам автор сознательно отстранялся от дидактики и патетики, рассматривая фотографию как инструмент. «Моя забота, — говорил он, — забота мастера-ремесленника: предельно виртуозно при помощи собственного метода сообразно своим эстетическим воззрениям исполнить поставленную пластическую задачу. Я глубоко убежден, что именно эта разделенность художника и человека, где не путаются два начала и каждое из них совершенствуется по отдельности, только она — эта разделенность — приводит к таинственному их соединению где-то в околокартинном пространстве в виде чего-то неосязаемого, но именно того, что делает картину картиной».

И все же признание мирового масштаба, последовавшее за обретением новой почвы и нового видения, ни в коей мере не должно умалять огромного значения сибирского периода в творчестве Эдуарда Семёновича. В 1961 г. он участвовал в коллективной росписи молодежного кафе «Спутник», в 1963-м самостоятельно оформил конференц-зал Новосибирского турбогенераторного завода. Много занимался станковой графикой: создал серии «Французские впечатления» (1962), «Городская окраина» (1962), «Новосибирск строится» (1966—1967), «Алтайская сказка» (1967), «Революционные песни» (1969). Многие работы были представлены на персональной выставке в 1967 г. В Западно-Сибирском книжном издательстве ежегодно выходило по несколько книг, иллюстрированных Э. С. Гороховским.

Всего лишь малая часть наследия Эдуарда Семёновича хранится в фондах Новосибирского государственного художественного музея, но именно потому она представляет для нас особую ценность.

Среди этих произведений выделяются образцы его книжной графики: шесть иллюстраций к сборнику А. Л. Гарф и П. В. Кучияка «Ак-Чечек — Белый Цветок» (Новосибирск, 1967, 1968), выполненных в технике линогравюры, и восемь офортов к «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина (Новосибирск, 1974). Крайне интересно проследить, как различно проявляет себя автор, работая в разных техниках над двумя столь непохожими литературными произведениями.

Стилизованные иллюстрации к алтайским сказкам выполнены в технике гравюры на линолеуме. Емкие, объемные и лаконичные, эти оттиски удивительно точно отражают как национальный колорит, тесную связь сказок с природным миром, так и содержание каждого отдельно взятого сюжета, что порой проявляется в неприметных, на первый взгляд, деталях. Обращает на себя внимание длинный нос лисы на иллюстрации к сказке «Красная лиса и сыгырган-сенокосец» — а длинен он потому, что лиса просунула его в щель между камнями, пытаясь поймать сыгыргана, но потерпела неудачу. Косящие глаза лисы и смешная косолапость как будто намекают на ее промах. Иллюстрация к сказке «Семеро братьев» искусно подчеркивает одновременно физическую мощь, удаль необычных братьев и их родственную спаянность, непреклонную верность друг другу. Совершенно в другом ключе исполнена гравюра к сказке «Обида марала»: с поразительной тонкостью здесь дается изображение марала, признанного самым красивым зверем леса. Он запечатлен в высоком прыжке, как будто в полете, пространство вокруг него наполнено воздухом и светом, крошечные силуэты деревьев внизу подчеркивают легкость, почти невесомость, описанную в тексте: «Ногами он вершину горы попирает, ветвистые рога по дну неба след вели». Вместе с тем автор не забывает о необходимой орнаментальности, смягчая монолитную строгость гравюр декоратив-



ными элементами: узорами на лошадиной сбруе, богатой вышивкой на одежде, прихотливыми изгибами оленьих рогов, затейливым рисунком на колчане охотника.

Офорт традиционно предполагает большую свободу самовыражения и творческой импровизации. Нельзя не заметить, насколько изящно, пользуясь этой техникой, передал художник суть пушкинской сказки, ее глубокую мораль. В иллюстрациях «Старуха у разбитого корыта» и «Старуха, сидящая за прялкой» останавливают внимание покатоности и наклоны, неизменный крен открытого пространства со старухой в центре. Изображенные фигуры даны в динамике, при этом практически не встречаются прямые силуэты: угодливо и подобострастногибаются слуги, беспомощно пытаются уклониться от побоев холопы, в нечеловеческом веселье выворачивает туловище шут, сурово и безрадостно горбится сама старуха. Все говорит о царящей в художественном пространстве дисгармонии,

что подчеркивается густыми черными штрихами, обозначающими небо, землю, предметы интерьера. Примечательно, что море — магическая среда, символ духовной мудрости — присутствует на всех иллюстрациях лишь фрагментарно, а на одной отсутствует совсем. Изобилие мелких деталей в интерьерных сценах отвлекает зрителя от духовной составляющей пушкинского мира. В цветном варианте одного из листов особенно наглядно проявляется стремление автора заслонить море фигурами слуг и как бы перечеркнуть его секирами, демонстрируя этим нравственное падение старухи, все сильнее обуреваемой жадностью и гордыней.

В целом обе серии наглядно свидетельствуют о том, что талант Э. С. Гороховского, несомненно, ярко проявляется и расцветает уже во время сибирского периода, в годы сотрудничества с Западно-Сибирским книжным издательством. Этот важный этап становления художника достоин самого внимательного изучения.



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Байборodin Анатолий Григорьевич** родился в 1950 г. в Забайкалье. Окончил Иркутский государственный университет. Работал в районных и областных газетах Восточной Сибири. Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирские огни» и др. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.

**Васецкий Антон Алексеевич** родился в 1983 г. в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В 2005 г. переехал в Москву. Работал на телевидении, в электронных и печатных СМИ. Публиковался в журналах «Урал», «Волга», «Дружба народов», «Арион» и др. Автор книги стихов «Стежки» (2006). Живет в Москве.

**Донсков Ингвар** (Донсков Игорь Юрьевич) родился в 1962 г. в г. Советская Гавань Хабаровского края. Ветеран боевых действий, награжден медалью «За отвагу». Публиковался в сетевых литературных изданиях и в коллективных сборниках. Живет в Томске.

**Дьячков Александр** родился в 1982 г. в Усть-Каменогорске. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в периодике Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Саратова, Кемерова и др. городов. Автор трех поэтических книг. Работает преподавателем. Живет в Екатеринбурге.

**Иванов Всеволод Вячеславович** (1895—1963) — русский писатель. Юность прошла в Западной Сибири. С 1921 г. жил в Петрограде и Москве. Фронтовой корреспондент «Известий». Автор многих произведений художественной прозы.

**Лихоносков Виктор Иванович** родился в 1936 г. на станции Топки Кемеровской области. Окончил Краснодарский педагогический институт. Известный прозаик, автор многих повестей и романов. Член Союза писателей России. Живет в Краснодаре.

**Ломтев Александр Алексеевич** родился в 1956 г. в Горьковской области. Учредитель и главный редактор региональной газеты «Саров» и всероссийской газеты «Саровская пустынь». Публиковался в журналах «Дальний Восток», «Север», «Луч» и др. Автор двух книг прозы. Член Союза журналистов России и Союза писателей России. Живет в Сарове.

**Махнанова Ирина Алексеевна** — ученый секретарь Омского государственного литературного музея им. Ф. М. Достоевского. Живет в Омске.

**Тарлыкова Ольга Михайловна** родилась в 1959 г. в с. Сугатовка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. Окончила филологический факультет Усть-Каменогорского педагогического института. Старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Областного историко-краеведческого музея. Автор более 150 публикаций в казахстанских и российских газетах и журналах, книги очерков о писателях Восточно-Казахстанской области. Живет в Усть-Каменогорске.

**Федорищева Юлия Владимировна** — специалист по учету музейных предметов Новосибирского государственного художественного музея. Окончила Новосибирский государственный технический университет и Сибирскую академию государственной службы. Живет в Новосибирске.



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19,**

**тел.: (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**



Сдано в набор 6.06.2016 г. Подписано в печать 29.06.2016 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.

Тираж 1500 экз.

**<http://книгосибирск.рф>**

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.